

Н О В Ы Й М И Р

К Н И Г А
С Е Д Ь М А Я

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

ПАНТ. РОМАНОВ
Л. НИКУЛИН.
СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ.
Ж. ЖИРОДУ.

СТИХИ:

И. ДОРНИН.
И. САДОФЬЕВ.
Н. ТИХОНОВ.
В. КАЗИН.
М. СВЕТЛОВ.
С. МАЛАШКИН.
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ:

В. ПОЛОНСКИЙ.
А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ.
Ф. НЬЮМЭН.
С. БУГОСЛАВСКИЙ.
А. ЯКОВЛЕВ.
Н. ВЕЛИКОВ.
АДАЛИС.
И. ЗВАВИЧ.

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ.

М О С К В А
1 . 9 . 2 . 6

СЕЛИВЕРСТОВСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

СРЕТЕНКА, 24 (вход с Селиверстовского пер.). Тел. 4-68-22.

ПРИЕМ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Горлов., ушн., носов.	с 8-8	Нервные	с 8-8
Венерич. и мочепол.	8-8	Туберкулез легких. с 8-12	и 6-8
Женские и акуш.	8-8	Внутренние.	8-8
Хирургические.	8-8	Детские.	8-8
Глазные (подбор очков)	8-8	Конные.	8-8
Желудочные	с 8-10 и с 12-2	Лечение угрей и пятен, леч. волос (выпад., перхоть)	8-8
Болезни сердца.	12-1		
Искривл. позвоночника и туберн. костей (налож. с'емн. корсетов). с 7-8			
Болезни мочевых путей (мочев. пузыря, лоханок и почек). с 8-8			

АНАЛИЗЫ: крови, мочи, мокроты и желудочного сока.

лечение, пломбирование, удаление, искусство. зубы

Зубоврачеб. отд.: с 8-8 ч.; хирург. полости рта (бол. десен) с 3-4 ч.

Рентгеновский каб.: снимки, просвечив., лечение бол. ноги с 10-1 ч.

Электролечебный каб.: все виды электролечения, ванны (солен. и углекисл.), горн. солнце с 8-8 ч.

Вызов врачей на дом по всем специальностям.

По воскр. и празд. прием с 10-4 ч. КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРОФЕССОРОВ.

ЛЕЧЕБНИЦА Т-ва ВРАЧЕЙ

Б. о-ва русских врачей, суц. с 1861 г. Арбат, 25, тел. 3-70-85.

ПРИЕМ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Внутренние	8-8	Нервные	10-12; 3-5; 7-8
Кожно-венер.	8-12; 3 1/2-7	Зубные и искусствен. зубы	8-8
Ухо, горло, нос	8-11 1/2; 2-7	Туберкулез костей и суст.	
Печские	11-7	Ортопедия: вторн., четв. и суб. 7-8	
Мочеполовые	12-3; 7-8	Лечен. угр. и пятен, лече- ние волос (выпад., пер- хоть): понед., пятн., 1-3	
Глазные	10-2; 5-7	среда	7-8
Хирургия	8-12; 2-7		
Женск., акуш.	10-7		

По воскресеньям прием больных 9-2.

Рентгеновский и электро-светолечебный кабинет: снимки, просвечива-
ния (вторн., четв. и суббота от 5-7 ч.), лечение (понед., среда, пят-
ница 5-7 ч., вторн., четв. и суббота 12-2 ч.). Горное солнце (квартир.
лампа). Хирург. пол. рта. Анализы: крови, мочи, мокроты и др. 8 1/2-8 ч.

Прием и консультация профессоров по предварит. записи.

Старо-Триумфальная ЛЕЧЕБНИЦА

Садовая, уг. Тверской, д. 2/70, тел. 5-94-40.

Врачи-специалисты и консультац. професс.

Внутр., детск.	10-8	Хирургия	2-8
Кожн.-в. и мочеп. 9-8		Женск., ак.	9-8
Ухо, нос, горло 10-2;		Нервн.	6-8
Глазные 9-10; 4-5 1/2		Туберкулез	9-10; 4-6
Влив. Сальварс. „914“		Зубные.	9-8

ОБЪЯВЛЕНИЯ ВРАЧЕЙ

и ЛЕЧЕБНИЦ
ПРИНИМАЮТСЯ
НА ЛЬБОТНЫХ
УСЛОВИЯХ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПРИЕМ ПОДПИСКИ

на 1926 год

на БОЛЬШУЮ ЕЖЕ-
ДНЕВНУЮ и самую
распростр. сов. газету—
центральный орган
правит. СССР

ИЗВЕСТИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Союза

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

и

ВСЕРСС. ЦЕНТРАЛЬН.
ИСПОЛНИТЕЛ. КОМИТЕТА

Советов

РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСК.
и КРАСНОАРМ. ДЕПУТ.

(10-й год издания)

Под ред. И. И. СТЕ-
ПАНОВА-СКВОРЦОВА.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

на 6 мес.—5 р. 50 к.

» 3 » —2 » 85 »

» 1 » —1 » — »

Цена отдельного но-
мера—5 коп. За гра-
ницу на 1 мес.—1,5 л.

Подписка при-
мается: в Москве —
Главной Конт. Из-
вестий ЦИК, Твер-
ская, 48, и городски-
ми отделениями.

В провинции—отде-
лениями и контрагент-
тами Главной Кон-
торы «Изв. ЦИК» и
почтово-телеграфны-
ми конторами.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

на 1926 г. „**НОВЫЙ МИР**“ на 1926 г.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

с первого июля до конца года (6 мес.)—3 р. 50 к.,
на 3 мес.—1 р. 80 к.

Цена книги в отдельной продаже—90 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

В МОСКВЕ: Главной Конторой „Известий ЦИК“, Тверская, 48, и город-
скими отделениями.

В ПРОВИНЦИИ: отделениями и контрагентами Главной Конторы „Известий
ЦИК“ и почтово-телеграфн. конторами.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ.

Рукописи, присылаемые в редакцию, должны быть написаны четко. Ни
в какую переписку по поводу непринятых рукописей редакция не входит.
Рукописи менее 1/2 печ. листа и стихи не возвращаются.

Адрес редакци: Тверская, 20.

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

С Е Д Ь М А Я

И Ю Л Ъ

М О С К В А

1 . 9 . 2 . 6

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Пант. РОМАНОВ.—Право на любовь, рассказ	5
2. Иван ДОРОНИН.—Стихотворение.	28
3. Л. НИКУЛИН.—„Матросская Тишина“, повесть.	30
4. Илья САДОФЬЕВ.—Синие глаза, стихотворение.	55
5. Н. ТИХОНОВ.—Общедоступная история стихотворцев, стихотворение.	58
6. Серг. КЛЫЧКОВ. Чертухинский Балакирь, ром. (продолж.)	59
7. Василий КАЗИН.—Стихотворение	80
8. М. СВЕТЛОВ.—Песня, стихотворение.	81
9. Сергей МАЛАШКИН.—Стихотворение	83
10. Жан ЖИРОДУ.—Святая Эстелла, рассказ, перевод с фран- цузского Е. Рафальской с предисл. А. Луначарского. .	84
11. А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.—Рабочий поселок (из поэмы „Гута“)	107
—————	
12. Вяч. ПОЛОНСКИЙ.—Михаил Бакунин	117
13. А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ.—На трудном под'еме.	132

ДОМА и ЗА ГРАНИЦЕЙ.

14. Ф. НЬЮМЕН.—Американский „короткий рассказ“.	159
15. С. БУГОСЛАВСКИЙ.—Музыкальная жизнь Москвы. . .	163
16. А. ЯКОВЛЕВ.—Бабья доля.	165
17. Ник. ВЕЛИКОВ.—Дикий стан	168
18. Г. АДАЛИС.—Чай-Хана Якуба Умедова.	173
19. И. ЗВАВИЧ.—Лондон в дни всеобщей забастовки. . . .	177

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ.

В. ПЕРЕВЕРЗЕВ.—Л. Сейфуллина „Встреча“.	186
К. ЛОКС.—Артем Веселый „Страна родная“.	187
Н. ЗАМОШКИН.—А. Караваяева „Медвежатное“	188

	Стр.
Бор. ГУБЕР.—Я. Коробов „Катя Долга“	189
Ф. ЖИЦ.—Б. Лавренев „Крушение республики Итль“ . . .	190
Е. БРАУДО.—Джозеф Конрад „Лорд Джим“.	191
Я. ФРИД.—Леон Верт „Клавель солдат“.	192

Право на любовь

Рассказ

ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ

I

Что случилось с ней, когда она меньше всего ожидала. Ей было 27 лет, она была уже лектором на рабфаке, и еще ни разу не любила, ни разу не испытала того счастья, которое знали все вокруг нее, начиная с товарищей, кончая юной молодежью рабфака.

И часто,—в особенности весной, когда солнечная сторона тротуаров уже высыхает, на бульварах лужицы ослепляют глаза, и на влажных, мягких дорожках лежат резкие тени от безлистных еще деревьев, а по вечерам весенние небеса над золотыми главами крестов сияют особенной свежей весенней тишиной,—часто в это время думала она о том, почему ни один мужчина не подходил к ней и не добивался ее?

В чем тайна того, что действует на мужчину?

Она некрасива?

Нет, этого нельзя сказать. Она видела девушек гораздо более некрасивых, чем она. А они пользовались успехом и счастьем.

Она чувствовала, что ей, правда, иногда не хватает одного: быть веселой, оживленной, интересно болтать. И она видела иногда, как ее подруги часто выказывают больше оживления, чем у них есть, для того, чтобы быть интересными и своей приподнятостью привлекать к себе внимание.

Но она была умна и не могла бы не видеть в себе со стороны этой неестественной наигранности и приподнятости. Она думала так, что мужчина должен видеть содержание женщины, ее внутреннюю ценность. Это, а не что-нибудь другое должно иметь неоспоримое право на любовь.

Но когда она заводила с кем-нибудь из молодых мужчин на какой-нибудь веселой пирушке спокойный серьезный разговор, по своему обыкновению медленно растягивая фразы и вдумываясь в каждое

слово, — она видела какое-то насильственное, рассеянно-внимательное лицо и вдруг чувствовала, что совсем не нужно было говорить того, что она говорила. И сейчас же это наблюдение высказывала собеседнику, на что тот смущенно и поспешно возражал, что совсем напротив — ему очень интересно и ценно то, что она говорит.

И девушка, поверив, возобновляла прерванную беседу, а когда ее собеседник в перерыве как бы случайно на минуту отходил от нее она потом никак не могла отыскать его.

Она была очень правдива и перед собой и перед людьми. Мужчины часто обвиняют женщин в лживости. Но ложь была совершенно чужда ей.

Она не могла и не хотела даже менять прическу, гладкую простую прическу учительницы. Не хотела красить губ. Все это потому, что ей казалось, как-будто этим она обманывает кого-то.

Она хотела казаться только такою, какою в действительности была, без всяких прикрас.

Она была чиста сердцем и так верила в правдивость людей, что всегда слушала со всем вниманием того, кто говорил, никогда не думая о том, что слова могут иметь какой-нибудь скрытый смысл. И лицо у нее при этом было слегка грустное и серьезное.

Часто подруги шутили над ней, начиная с серьезным видом рассказывать какой-нибудь двусмысленный вздор.

А она серьезно слушала, пока кто-нибудь, не фыркнул сзади, не удержавшись.

Тогда девушка, растерянно оглянувшись, краснела смущенно и, махнув рукой, отходила под дружный хохот.

Но она даже не обижалась на это. Ее сердце не знало таких чувств, как злоба и обида.

Доброта ее была безгранична. Доброта эта тем более была велика, что она сама не подозревала, что это и есть доброта, когда она отдавала последние деньги кому-нибудь из товарищей, а потом сама несколько дней не обедала. Или не спала ночь около больной подруги, а потом с невыспавшимися глазами и горечью в них бежала читать лекцию. И все так привыкли к этому, что смотрели немножко покровительственно, немножко иронически:

— Возьми у Веры... Попроси Веру сходить...

И каждая из подруг считала нужным в тяжелые минуты придти к ней и, не спрашивая, есть ли у нее свободное время, выкладывать свои несчастья.

Она была какою-то сестрой милосердия в чужих сердечных делах.

И она сама, не зная во всю свою жизнь ни одной встречи с мужчиной, была поверенной всех историй. Знала все подробности между знакомыми ей молодыми людьми. И часто щеки ее вспыхивали от целомудренной стыдливости. Но она боялась показать это, чтобы не обидеть собеседника и не получить обычного упрека в излишнем, шоколадном целомудрии.

Ах, это целомудрие!.. Она сделалась из-за него каким-то посмешищем для всех.

А что делать, чтобы не быть целомудренной?

„Не говорите громко таких вещей, вы смутите Верочку“...

„Что вы, что вы, здесь Вера, разве можно при ней говорить такие вещи“?..

Это постоянно приходилось ей слышать, конечно, в насмешливом тоне. И она сама не понимала, в чем здесь дело. Она жила вместе со всеми, видела свободное отношение между собой рабфаковской молодежи, слышала все, что говорится. Но это как-то к ней не приставало: она многого не понимала, говорила часто невпопад вещи, которые вызывали взрывы хохота, а главное она не могла побороть в себе безотчетную целомудренную брезгливость и стыдливость. Часто на лекции, видя, как девушка и молодой человек, сидя вместе, незаметно пожимают друг другу руки, она старалась не смотреть в их сторону, краснела и теряла нить мысли.

Она стала презирать это свое целомудрие, как какую-то печать обделенности. Потому что никогда не могла просто войти в общий круг веселой молодежи, с ее шутками, легким флиртом. И даже в кругу своих близких подруг она часто чувствовала себя благодаря этому целомудрию немножко глупой и смешной: никогда не понимала соли рассказываемых двусмысленных анекдотов, от которых все заливались громким смехом, а она принуждена была только растерянно улыбаться.

О, если бы знали, как она сама хотела освободиться от этого своего недостатка. Это был род конфузливости, которую ничем нельзя было побороть.

Может быть, потому ни один мужчина не подходил к ней, что ее репутация девственницы внушила им уверенность, что она не способна ничего чувствовать, и ей неловко говорить то, что говорится другим женщинам.

Она не способна чувствовать!.. Она в глубине своего существа чувствует так сильно и напряженно, как не чувствует ни одна из ее красивых, все испытывших подруг.

Они свободно обращаются с мужчинами, держатся с ними за-просто, по-товарищески. Для них это что-то обыкновенное, чего они даже не замечают.

Тогда как для нее каждое малейшее внимание мужчины, если оно сопровождалось неожиданной лаской, было событием, которое озаряло всю ее душу светом необычайной радости. Таких мгновений она может насчитать в своей жизни два или три, не больше.

Им неизвестно, что значит после лекций возвращаться в 12 часов ночи домой в одинокую комнату, зажигать керосинку, греть чай и насильно пить и есть.

А в конце концов зачем при таком существовании есть и пить? Ведь жизни у нее нет никакой. И всюду на дороге у нее стоит эта

ее стыдливость, застенчивость. Она возненавидела их. Возненавидела свою неспособность лгать глазами и взглядывать украдкой на мужчин, как это делали ее подруги, чтобы привлечь к себе и завязать близкие отношения.

Вера всегда чувствовала инстинктивное желание отстраниться, если мужчина слишком интимно брал ее за руку.

И когда у него оказывался смущенный вид, она проклинала себя за этот бессознательный инстинкт.

Она пробовала иногда пересилить себя из соображения, что, может быть, нужно перетерпеть, тогда это пройдет. Но всегда ее поражала разница между ее представлениями о любви и тем, что она встречала со стороны мужчин.

Стоило, пересилив свою застенчивость, пойти им навстречу, позволить взять себя за руку или обнять, как они, не дав ей привыкнуть несколько к ним, шли дальше и это заставляло ее, покраснев до корней волос, сказать:

— Оставьте меня...

Сказать это тихо, но так грустно и выразительно, что мужчина в одну минуту откатывался от нее, как облитый холодной водой.

А она опять оставалась одна.

Вера отлично умом своим понимала, что в наше время ломки старых форм жизни такие свободные отношения законны, как протест против прежней связанности, как возвращение к здоровой, может быть, простоте. Она сама была дочь простых, бедных родителей, и ее пугало не отсутствие этикета в обращениях мужчин, а что-то другое, чего она не могла объяснить.

Она часто расспрашивала подруг об их интимной жизни. Они говорили об этом легко и с удовольствием.

— Так что же, ты его любишь?—спрашивала Вера.

— А что значит „любишь“?—спрашивала в свою очередь подруга.

— Ну, как что?..

— Просто мне хорошо с ним, только и всего. А завтра, может быть, с другим еще лучше будет. Я вполне самостоятельна, мужской помощи мне не нужно. Если мне хорошо, буду жить, а, нет,—вернулась да пошла. А за то какое богатство внутренней жизни!

Вере же казалось, что здесь не богатство, а наоборот—бедность.

Ей казалось, что богатство не у них, а у нее, потому что не было ни одного существа, на которого она излила бы всю безмерную нежность женщины, жажду счастья и любви. И сколько в ней накопилось этой скрытой нежности и жажды любви. И если она даст их, то только кому-нибудь одному.

А там какое же богатство, когда сегодня начинается, а завтра кончается. То, с чем так легко расстаются, очевидно, и мало имеет цены.

Но Вера сказала себе, что она теперь все преодолет. Она пойдет на все. Если ей судьба пошлет встречу с человеком, который за-

метит ее, она заставит себя победить свою болезненную брезгливость к теперешней свободной манере отношения мужчин.

Она сделает этот опыт.

Что же делать, значит такое опрощенное время, что они ничего иного не воспринимают в женщине.

Она пройдет через это, и потом они, разглядев ближе, почувствуют ее душу (к чему лукавить, — она знает, что душа у нее не пустая).

А только такая женская душа имеет высшее право на любовь.

II

Встреча произошла неожиданно, когда Вера одним летним вечером возвращалась с дачи от подруги.

Она сидела у открытого окна вагона и смотрела на мелькавшие мимо сосны, сырые лужайки, дачные домики с палисадниками, с гуляющей молодежью, и ей было грустно и больно, что она, как всегда, где-то в стороне от всего.

Приедет в свою комнату и опять будет зажигать керосинку.

На маленькой остановке в вагон вошел молодой мужчина со шляпой на затылке.

— Товарищ Шварц! — окликнул его кто-то в окно с платформы, — телеграмму не забудьте.

Тот, кого называли Шварцем, махнул рукой в окно и окинул вагон таким взглядом, как будто смотрел, нет ли интересной женщины. Скользнул по лицу Веры и, не задержавшись взглядом на ее глазах, прошел в соседнее отделение. Но сейчас же вернулся. Там ехали только две старухи и мальчик.

Он сел напротив Веры у того же окна, хотя в вагоне все места были пустые, так как ехали в этом отделении только они двое. Закинул ногу на ногу и, положив рядом с собой на лавку шляпу, стал смотреть в окно.

Она уже наперед знала, что будет дальше: он или задаст какой-нибудь вопрос или скажет какую-нибудь фразу, чтобы вызвать ее на разговор. Она, не поворачивая головы, видела, что он мимоходом взглядывает на нее.

Ей вспомнилось, как ее подруга рассказывала, что она в вагоне ехала вместе с незнакомым мужчиной и у них началось с флирта, на первый взгляд с самого обыкновенного флирта, а кончилось серьезной близостью и крепкой привязанностью.

Вера, чувствуя его взгляд, сказала себе, что пусть это безнравственно, пусть это нехорошо, но один раз в жизни она пересилит себя и попробует быть, как все.

Ведь в самом деле может случиться так, что мужчина этот посмотрит сначала на нее только как на женщину, в самом примитивном смысле. Да и как же еще иначе он может посмотреть на нее,

когда он не знает ни ума ее, ни души. А если он подойдет хотя бы так, как теперь упрощенно подходят мужчины, в особенности молодежь, он скоро увидит, что она не такая, а более глубокая, могущая стать верным другом на всю жизнь.

Вдруг она вздрогнула и едва не отдернула своей ноги. И сейчас же испугалась, что она опять отпугнет человека своей щепетильностью.

Она почувствовала, что колено ее спутника прикоснулось к ее колену.

Вера с забившимся сердцем, преодолевая инстинктивное отвращение, смотрела в окно и ждала, что́ будет дальше.

Молодой человек стал покачиваться взад и вперед, отчего его колено надавливало на ее колено.

Девушка не убирала ноги, только щеки ее вспыхнули ярким румянцем. И она видела, как он на нее украдкой с интересом посмотрел.

Очевидно, он, судя по ее наружности, в первый момент составил себе о ней определенное представление, как о добродетельном синем чулке. И подсел только потому, что никого другого больше не было. И вдруг оказалось, что он ошибся в своем предположении...

Начинало темнеть. На линии в летних сумерках загорались красные и зеленые огоньки. Пахло сыростью, когда переезжали через речки и лощины.

Молодой человек, как бы для того, чтобы лучше видеть вперед по дороге, пересел со своей скамьи на ее скамью.

Через минуту Вера почувствовала, что его плечо вплотную осторожно прикоснулось к ее плечу.

У нее потемнело в глазах. Но она сжала зубы и продолжала сидеть, изредка взглядывая в окно. Потом его рука тихонько, осторожно легла на ее галию, и этот незнакомый мужчина обнял ее.

Но тут случилось что-то странное. Она не могла отдать себе отчета, что с ней: слезы градом полились у нее из глаз, и она, упав головой на руки и на подоконник, заглушенно зарыдала, вздрагивая всем телом.

Спутник ее, казалось, был озадачен и напуган. У него на лице один момент мелькнул самый определенный испуг, когда мужчина думает:

„Уж не на припадочную ли налетел?..“

Он наклонился к Вере и стал ее успокаивать:

— Ну, что? Ну, в чем дело? Я оскорбил вас?

Она, на секунду справившись с рыданиями, едва выговорила:

— Зачем везде... только... только одна пошлость?..

Спутник ее видимо был озадачен. Если она другого склада, то почему же она с первого его движения не дала понять, что это ей неприятно, а держала себя так, как в таких случаях невинные девушки себя не держат.

— Ну, извините меня, пожалуйста. Я теперь вижу, что вы совсем другой человек. Моя фамилия Шварц. И честное слово, я не думал оскорбить вас.

Девушка немного успокоилась, и у нее прежде всего мелькнула мысль о том, что она опять не выдержала до конца. Но это было что-то сильнее ее.

— Вы простите меня?—робко и виновато сказал Шварц, которому было, очевидно, неловко.

— Ну, как вы можете так... вы видите меня в первый раз, совсем не знаете... без любви, без всего?.. Ну, почему вы сели около меня?

Шварцу неудобно было ответить, что он сел потому, что кроме нее ничего подходящего не было, и он сказал то, что, очевидно, так хотелось ей услышать:

— Потому, что у вас лицо... совсем особенное, не такое, как у других, оно как-то сразу остановило меня... в нем видна мысль, душа...

— Но зачем же было оскорблять... так грубо, так пошло?

— Ну, простите,—сказал Шварц. И так как девушка не сделала скандала, не ушла, а говорила с ним, то ему не хотелось выказать себя перед ней в дурном свете. И он как-то почти против воли взял такой тон, который мог оправдать его перед девушкой такого типа. Он стал жаловаться на среду, на то, что она гасит все возвышенное и приучает просто и грубо подходить ко всему.

— Я так отвык встречать настоящих, т.-е. глубоких женщин и так сам стал в этом смысле мелок и пошл, что иногда становится страшно,—говорил он не потому, чтобы ему действительно когда-нибудь становилось страшно, а потому, что к этой девице иначе не подойдешь.—Что такое теперешняя девушка из комсомола или из интеллигенции? Она смотрит на это, как на физиологический процесс. Сошлись, получили друг от друга удовольствие, и конец. Они нас, мужчин своею легкостью отношения к этому вопросу отучили от всякого серьезного чувства, отучили понимать и чувствовать ценность женской души.

— Взгляд на женщину, как на товарища, перешел из области жизненных, деловых отношений и в область пола. Отсюда уменьшение стыдливости и легкость подхода в любви. Я сейчас делаю глупости, гадости потому, что у меня в том месте души, где должна быть любовь,—полная опустошенность, и это благодаря девушке, с которой я... с которой у меня сейчас такие отношения...

Их столкновение перешло сначала в простой, корректный разговор, а затем и в интимно откровенную беседу, потому что ему приятно было рассказать этой незнакомой девушке, которую он испугал, про свои сердечные дела и показать ей себя несчастным, заслуживающим сочувствия, а не осуждения.

Он рассказал ей, что кончил университет, работал в Саратове по народному образованию, теперь перевелся оттуда и живет в Москве.

Знакомых у него здесь нет никого, а в Саратове у него осталась девушка, с которой у него связь. Она типичная представительница нынешнего поколения. Ему и самому всего 29 лет и он в самом начале жизни видит только вот таких женщин, для которых все просто.

Они сошлись в первый же день знакомства. И первое, что она ему сказала, что она не любит его, и что это совсем не нужно. Что они должны предоставить друг другу полную свободу и чтобы он не вздумал требовать от нее верной любви до гроба. Может быть, она через неделю уйдет от него. Поэтому они даже не записались в ЗАГС'e.

— Ну, зачем же тогда сходитьсь? — спросила Вера, сжав перед грудью руки и повернувшись к Шварцу с выражением страдания и полного непонимания.

Шварц пожал плечами.

— Время такое...

И так как теперь, — когда он заговорил серьезно, откровенно, даже с выражением тоски от неудовлетворенности, Вера говорила с ним просто и доверчиво, — то он взял ее за руку. И когда она руки не отняла, он как-то невольно подумал:

„К каждой женщине нужен особый подход“.

Приходилось только темперамент переменить на нежность. И он теперь не делал попыток бурно ее обнять, а тихонько и ласково гладил ее руку.

А Вера испытывала странное ощущение радости и благодарности от этого прикосновения. Чувство презрения, возмущения и испуга, какие у нее были по отношению к Шварцу в первый момент, когда она увидела с его стороны примитивные попытки легкого сближения, сменились чувством нежности.

И она невольно подумала о том, что она победила. Ее высшее начало, душа, целомудрие взяли над ним верх и пробудили в нем совершенно другие чувства, которых в нем, может быть, никогда бы и не пробудилось, если бы не встреча с ней.

Поезд подошел к Москве.

И когда они выходили из вагона и она на секунду потеряла Шварца в толпе, то сама окликнула его. Окликнула и удивилась самой себе и тому, что с ней случилось.

Когда они вышли из вокзала на площадь и она посмотрела на звезды, по-летнему редко и еще бледно сиявшие в вышине, она в первый раз почувствовала, что душа ее живет. Живет с целым миром этих звезд, со всем живущим на земле. Что-то переполняет ее до краев, и ей хочется улыбаться и плакать.

— Я вас провожу, — сказал Шварц.

Они сели на извозчика. Впервые она почувствовала по-иному мужскую руку, заботливо подсаживавшую ее в пролетку.

III

— Зайдите ко мне,—сказала Вера, когда они под'ехали к высокому дому.

Она своим ключем отперла дверь квартиры. Квартира была пуста, все были на даче.

Они прошли в ее комнату. Вера зажгла электричество и, не снимая шляпы, осмотрелась в комнате, как осматриваются, когда приезжают домой после нескольких дней отсутствия.

— Как странно... как странно,—сказала Вера, сняв шляпу и глядя издали на своего спутника.

Тот почему-то отметил, что она без шляпы стала как-то менее интересной, благодаря простой, без завивки, прическе.

— Что странно?—спросил он.

— Нет, ничего...

Глаза ее были большие, темные от оживления, щеки горели румянцем от свежего воздуха.

Девушка взглянула на себя в зеркало и удивилась: она сейчас была такая красивая, какую не была никогда. Неужели это оттого, что к ней подошел этот чужой, незнакомый мужчина и пробудил ее душу? И душа ее, расцветши, отразилась в глазах, сделала их большими, лучистыми.

Особенностью ее глаз было то, что в них всегда была какая-то печаль. Может быть, печаль большой души.

Сейчас эта печаль соединилась с большой радостью и выражалась тем, что у нее беспричинные слезы боролись с улыбкой.

— Нет, скажи, ты про что?—спросил Шварц, впервые назвав Веру на „ты“, как-будто пустота квартиры, в которую она его сама привела, давала ему право на это.

Вера, услышав это „ты“, посмотрела на него, и в ее взгляде удивление боролось с выражением тихой, нежданной радости.

— Про что?.. — повторила она его вопрос: — вот про что: первое мое чувство к вам было неприязненное, презрительное. Я замечала каждое ваше движение и это мне было глубоко противно. Я думала, что вы один из тех пошлых мужчин, которые на женщину смотрят не как на человека, и на любовь — не как на чудо, делающее двух чужих друг другу людей невероятно, невыразимо близкими, — а как на простое развлечение... Что же я не спросила, может быть, вы хотите чаю?—сказала она вдруг, смущенно покраснев оттого, что, оказалась такой плохой хозяйкой.

— Хорошо,—проговорил Шварц,—только условие: я буду помогать вам.

Он сказал это не потому, что ему хотелось пить, а потому, что хотелось найти другой тон отношений, не такой серьезный и построенный на отвлеченных разговорах. А совместное приготовление чая в этой пустой квартире как раз могло изменить этот тон.

— Прекрасно!—сказала весело Вера.—Зажигайте керосинку.

Подвязав беленький фартучек, отчего стала как-то интереснее, она достала керосинку и подала ему спирт в бутылочке. А сама начала мыть посуду и готовить стол.

И тон отношений, правда, переменялся: они смеялись, когда у них что-нибудь не ладилось, и чувствовали себя давно знакомыми людьми без малейшей натяжки и неловкости.

Потом Вера, мывшая стакан, на минуту остановилась с полотенцем в руках, и со странным чувством, которого она не смогла бы выразить, смотрела на этого незнакомого мужчину, который в ее комнате зажигал керосинку, и сказала:

— Керосинка... моя коросинка...

— Что — керосинка? — спросил удивленно Шварц, не разгибая спины, оглянувшись на девушку с бутылочкой в руке.

— Нет, так... ничего,—ответила Вера, покраснев.

Она отвернулась и, стоя к нему спиной, перетирала стаканы и чашки, а он несколько мгновений смотрел каким-то странным взглядом на ее гладкую прическу, скромное платье с простым отложным воротником. Потом таким же взглядом обвел ее комнату, с ее монашеской пустотой. На туалетном столике, кроме зеркала и гребенки, ничего не было. Потом опять почему-то посмотрел на ее гладкую прическу.

Когда Вера неожиданно оглянулась с улыбкой, Шварц, как бы спохватившись, переменял выражение взгляда и тоже улыбнулся ей.

Минут через десять они сидели на большом диване, служившем ей постелью, придвинув к нему низенький столик с чаем.

— Я скажу откровенно,—проговорила Вера,—потому что совсем не умею лгать: встреча с вами произвела на меня такое впечатление, какого я никогда не испытывала. Я ведь никогда не знала ни одного мужчины.

Шварц как-то невольно подумал при этом, что, значит, она невинна и здорова.

Он привалился удобнее к спинке дивана и обнял девушку одной рукой. Она не отстранилась, не отняла руки, и молодой человек под влиянием этой уединенной беседы в пустой квартире чувствовал, как его покаянное настроение прошло. И ему даже как-то немножко стыдно было вспомнить о нем. Оно заменялось теперь чем-то другим, благодаря чему он может, хотя с оттенком дружбы, держать свою руку на талии этой девушки, которая всего час тому назад разрыдалась от такого же его прикосновения.

Вера продолжала:

— Вы рассказали мне про эту... девушку, Раису, и я тут ничего не понимаю. Мне любовь всегда представлялась, опять повторяю, чудом, как неожиданной радостью соединения двух душ, впервые увидевших, как прекрасен стал мир оттого, что они вместе.

— Вам странно, что я говорю так, а сама позволила вам подойти к себе так близко, как вы подошли, да еще пригласила к себе поздно вечером. Я вам открою все...

Она покраснела, сказав это. А Шварц, как бы поощряя ее смелость, тихонько прижал к себе. Она оглянулась на него с улыбкой. Ее глаза возбужденно темнели, — но это было возбуждение открытой ясной радости чистой души. Дыхание ее если и было повышено, то так, как бывает при неизъяснимом восторге большого душевного, под'ема. Глаза ее, не пряча ничего, что нужно бы прятать, смотрели на него открыто и ясно. А его прикосновения к ней, очевидно, не вызывали тех чувств, которых женщина стыдится обнаруживать или, — если она опытная, — делает вид, что стыдится.

— Я скажу откровенно... — она, вдруг повернувшись к Шварцу улыbnулась своей ясной улыбкой и прибавила: — это моя болезнь — быть во всем откровенной. Надо мной все смеются. Но в чем дело? Я хочу быть правдивой перед самой собой и перед другими. По-моему ценнее видеть человека таким, как он есть. Ведь мы знаем, что все мы не без недостатков. И что такого, что я вам расскажу все так как есть?

Шварц мельком взглянул на часы и, увидев, что они показывают половину двенадцатого, сказал себе, что больше, чем до 12, он не даст ей говорить. И до двенадцати даже много. Десять минут достаточно.

— Вы удивились, когда я, увидев, как вы зажигали керосинку, сказала: „Керосинка... моя керосинка...“ Вы не поняли, почему я так сказала?

— Нет, — ответил Шварц, неуверенно улыбаясь, и, взглянув на ее шею, бывшую так близко от него, не знал, поцеловать ее или сначала дать ей кончить говорить?

Но Вера продолжала, и он не поцеловал.

— Я сказала это потому, что вот уже пять лет, как я изо дня в день прихожу домой усталая в эти пустые стены и зажигаю керосинку. Эта керосинка — символ моего одиночества. Мужчина ведь никогда не может быть так одинок, как женщина. Вы свободно можете подойти к той женщине, которая вам нравится, а мы, несмотря на теперешнюю свободу, не можем этого.

Она говорила это, а сама замечала, что он чуть заметно, ласково перебирает пальцами руки, лежащей на ее талии. И это вызывало в ней необъяснимую радость и ощущение близости к себе этого человека.

Но когда она замолкала, его рука поднималась выше и делала такие движения и попытки, которые пугали ее, были неприятны и уничтожали в ней ощущение радости и близости. И было стыдно и нехорошо.

Поэтому она старалась говорить, не делая перерывов и остановок.

— Я никогда не могла держать себя так с мужчинами, как теперь держат себя почти все девушки,—продолжала Вера.—Это во мне даже не стыдливость, а какая-то обида за человека, который заключен во мне, обида потому, что мужчина, не зная меня, моей души... моих мыслей, которые зреют в одиночестве, подходит ко мне, как к самке, совершенно независимо от ценности или бесценности моей души...

— Ведь нельзя же в самом деле итти к тому, чтобы в сближении современных мужчин и женщин играла главную роль зоология, естественный подбор. А это так теперь и есть.

— Но вам может показаться странным, почему я в первое мгновение позволила вам так держать себя со мной в вагоне. Сказать— почему?—спросила девушка, оглянувшись на Шварца с своей ясной улыбкой.

Тот неловко улыбнулся оттого, что его интерес к рассказу был недостаточно велик, и он боялся, что от такой длительности разговора он станет еще меньше.

— Ну, хорошо. Я сказала себе, что я не хочу одиночества. Не хочу жить от всех в стороне и не чувствовать того, что все, кроме меня, чувствуют. Я решила заставить себя пересилить мое глупое гипертрофированное целомудрие, которое мешало многим подойти ко мне.

— Моей мечтой было сберечь себя для большой любви, большой веры в человека-друга и единения с ним до конца жизни.

„Ведь вот несчастье-то,—подумал молодой человек,—разговорилась так, что удержу нет“.

И он почувствовал, что чем больше она откровенна, чем больше она правдиво открывает ему все про себя, тем меньше остается на ней даже того незначительного покрова чувственной привлекательности, который был в ней, когда он еще не знал, кто она, что она собой представляет.

И когда она рассказала про свое одиночество и про свой возвышенный взгляд на любовь, он почувствовал, что у него пропало все настроение. И когда она оказалась не загадочной, развращенной особой, и даже не истеричной, а правдивой, целомудренной девушкой, то было как-то неловко проявлять к ней такие чувства, на какие настраивает случайная встреча в вагоне и пустота в квартире.

У него у самого вдруг явился скучный серьезный корректный тон, какой бывает, когда говорят в обществе с почтенными дамами.

— В наше время, к сожалению, такой любви нет,—сказал Шварц.—Все вытекает из общих условий жизни, а не из благочестивых соображений отдельной индивидуальности. В старину, когда люди жили в деревнях, в имениях, не видя никого, когда одна пара проживала вместе целую жизнь, не видя других пар, тогда это было возможно. А теперь...

Он вынул портсигар и стал закуривать папиросу. А девушка, повернувшись к нему лицом, смотрела, как он закуривает, и ждала, что он скажет.

Ей было невыразимо приятно, что она сидит ночью в пустой квартире с незнакомым мужчиной и под ее влиянием в их отношениях, кроме самой трогательной невинной близости, ничего нет. Оказалось, что мужчину можно привлечь не только тем, чем теперь только и привлекают.

— ... а теперь,—продолжал Шварц,—когда мы живем в городах, когда около меня проходят сотни женщин, конечно, я не могу всю жизнь чувствовать только одну, потому что к ней привыкаешь. А темп современной жизни начинает противоречить той тишине, какая наступает в это время внутри меня. Он требует под'ема, которого я уже не могу получить от своего спокойного, „верного“ чувства...

— И мы в этом темпе жизни нуждаемся в наркотиках...

— Прежде поэт, деревенский поэт писал под влиянием естественного вдохновения, которое к нему приходило от природы, от тихих полей, а теперь поэт пишет не от вдохновения, а оттого, что он понюхал кокаина или выпил вина.

— Так и любовь. Прежде любили от переполнения естественными соками жизни, а теперь любовь или просто чувство мужчины и женщины просыпается только при особых обстоятельствах: при новизне, необычности. Потому что, во-первых, современный мужчина слишком много сил отдает этому темпу жизни (возьмите большинство партийных работников, которые работают, как загнанные лошади). А во-вторых, он не сдерживает себя, как прежде, во имя долга, морали, религии и не накапливает в себе чувства...

— А ведь чувство тогда только и сильно, когда оно сжато и не удовлетворено. Тогда, кстати, оно переходит в высшую не животную форму—в романтику, в поэзию...

— Теперь же мужчина да и женщина от свободы общения, от простоты взгляда на этот вопрос тратят больше, чем накаплиют. И их едва хватает на простое животное возбуждение, а уж где там что-нибудь высокое, о котором вы говорите!..

— Но ведь это же ужасно! — сказала девушка, на секунду задумавшись. Но сейчас же спохватилась и сказала:—Да, я еще не закончила...

Шварц безнадежно посмотрел на часы и приготовился слушать, уже не глядя на собеседницу.

— И вот я сказала себе... Только я буду совсем откровенна,—прибавила она, покраснев,—и расскажу все, все, что я думала... Вы не будете считать меня глупой?..

— Ну, что вы...—сказал Шварц, это именно и подумав при ее вопросе.

— Ну, так вот: я думала, что я заставлю себя перейти через то, чего моя душа не принимает. Но это, очевидно, в наше время один путь, которым идет мужчина. И я заставила себя сделать это, позволив вам трогать мою ногу... Но не выдержала...—прибавила она, улыбувшись и покраснев.

— Я думала: пусть мужчина подойдет ко мне хоть так, в первое мгновение он может быть будет заинтересован мной, как самкой, как теперь говорят, но потом он не сможет не увидеть, не почувствовать моей души, и он поймет, что я не только самка, а женщина в том смысле этого слова, какой имели в виду великие художники, когда писали женщин...

— Ведь это дорого в женщине, а не... другое.

Когда девушка замолчала, Шварц почему-то подумал о том, что ведь перед ним действительно была девушка большой внутренней ценности, которая под каким-то другим углом зрения воспринималась им, как глуповатость.

Умом он понимал, что была не Раиса, являвшаяся в сущности воплощением развязного полового чувства, беспринципности, огромной чувственности, большого любопытства и большой жестокости.

Это же была чистая, наивная в своей чистоте девушка, которая, раз полюбив, не задумалась бы пойти на смерть, чтобы спасти любимого человека. Вот такие шли за мужьями на каторгу, на что угодно.

В этой простенькой девушке скрыто сокровище той любви, которой оправдана жизнь.

И те, кому дано ее пережить, знают, что жизнь, освещенная такой любовью,—высшее чудо на земле.

У нее сейчас еще не было к нему не только этого, но, вероятно, и никакого чувства. Но было уже предчувствие его, что выразалось в живом блеске глаз, в румянце и том ласковом свете, который как бы исходил от ее лица.

Но почему ему лезла в глаза ее гладкая прическа и прямой ряд? Ну, неужели она не могла сделать косого? Как это не понимает человек таких вещей? И потом еще на переносице, где сходятся брови, у нее торчало несколько черных волосков...

Потом он подумал о том, что если он поцелует ее и выкажет к ней нежность, то она может тогда полюбить его. А как он ответит ей на это, когда его раздражает ее вид с этим прямым рядом и волосками над переносицей?..

Ведь если смотреть на это со стороны логики, со стороны оценки внутренней стоимости, даже просто со стороны здравого смысла, то ведь это редкое сокровище, которое ему судьба так странно, так неожиданно послала.

Это верный друг в горе, в несчастье, друг на всю жизнь. Это не Раиса, у которой никакой души нет и которая может быть не проживет с ним и двух лет. Но вот этот прямой ряд и волоски между бровями!..

— Ну, надо идти, уже поздно,—сказал Шварц.

Вера взглянула на свои часики на руке и, удивленно посмотрев на своего собеседника, воскликнула:

— Да вы знаете, сколько времени? Уже два часа. Скоро рассвет. Они встали с дивана.

Шварц надевал пальто и шляпу, а Вера стояла и смотрела на него. На лице ее остановилась полуулыбка, но глаза ее смотрели на стоявшего перед ней мужчину, как бы из глубины. И это был не просто взгляд, а сосредоточение на том неизъяснимом, что происходило сейчас в ее душе.

А то, что этот человек, начавший так грубо, так нехорошо, уходил от нее, пробыв с ней всю ночь в пустой квартире, и не тронул ее, наполняло ее невыразимой радостью за себя и за него от сознания какой-то большой победы светлого начала, жившего в ней, над темным, низменным и упрощенным.

— Когда же?..—спросила она, взяв Шварца за руку. И почувствовала, что берет его с чистым сердцем, что это рука не того гаденького субъекта, который в вагоне жал ее ногу, ногу незнакомой женщины, а рука близкого существа, отношения к которому очистились и осветились тем светом, который шел от того редкого и чистого, что, как тлеющая искра, есть в каждом человеке, но засорено обыденными, средними, часто пошлыми отношениями.

И только в редкие праздники душевного просветления эти искры вспыхивают и на мгновение зажигаются ярким светом.

Дольше этого мгновения они не горят. Но и это хорошо...

— Я зайду на-днях,—сказал Шварц. И остановился, как бы не зная, в какой форме проститься с девушкой... Поколебавшись секунду, он поцеловал ее руку. Потом притянул к себе, поцеловал в голову и ушел.

IV

Странное дело: Вера почувствовала себя на следующий день совершенно иначе, чем всегда. Это было на рабфаке. У нее прежде всегда было безотчетное желание как-нибудь проскользнуть незаметно, чтобы ее никто не видел, как будто она—лишенная каких-то прав, и если ее остановят, с ней заговорят, то это обнаружится. И в своем обращении со слушателями, молодыми людьми обоюбого пола, чувствовала неуверенность, когда лицом к лицу сталкивалась с их беспечной уверенностью и дерзостью молодости.

Их романы, происходившие у нее на глазах, тоже заставляли ее как-то нравственно сжиматься. Она не могла сделать ни одного замечания, когда видела, как какой-нибудь молодой человек что-то говорил своей соседке и отвлекал внимание других.

Ей точно казалось, что если она сделает замечание, то всем станет понятно, почему она так нетерпимо относится к этому: потому что у самой ничего такого нет и никогда не было в жизни.

И когда она читала лекцию, то всегда избегала встречаться глазами с молодыми людьми, точно боялась прочесть в их взгляде какую-то оценку себя, как женщины.

В этот день — все было иначе. Во-первых, она чувствовала, что у нее совершенно пропало инстинктивное стремление сжаться и по-

скорее проскочить. Она, не торопясь, не сжимая плеч, как у нее это инстинктивно делалось прежде, прошла по коридору и спокойно отстранила рукой налетевшего на нее спиной студента, сказав при этом:

— Тише, тише, мой милый; ходите передом, а не задом.

Тот так удивился ее непривычно-спокойному и твердому тону, что даже растерялся и не нашел, что сказать.

А когда вошла в аудиторию, то начала свою лекцию совершенно не так, как начинала обыкновенно. Прежде она, торопливо вынув записки и робко попросив быть потише, начинала среди неугомонившегося шума читать, не глядя на аудиторию. И все привыкли к тому, что на лекциях можно тихонько переговариваться.

Теперь же она совершенно безотчетно стала впереди кафедры и, ощущая в себе как бы заряд внутренней энергии, молча смотрела на аудиторию. Она почему-то чувствовала, что может сейчас как угодно владеть этой многоголовой массой, не боится ее, не боится, как прежде, упорно посмотреть в глаза тем, кто не успокаивается и продолжает говорить. И от этого ее взгляда, от ее выхода наперед, ее каменной, непривычно твердой неподвижности через минуту восстановилась полная тишина, какой никогда не бывало у нее на лекциях.

Какая-то компания в правом углу аудитории слишком увлеклась и продолжала разговаривать. Но их голоса вдруг прозвучали среди всеобщей тишины, и они, испуганно оглянувшись, сконфуженно примолкли. А светловолосый добродушный толстяк-студент показал себе язык и спрятался за спинку впереди стоявшего стула.

Лекция была обычная, говорила она как-будто то же, что и раньше, но сейчас почему-то все глаза аудитории были перед ней. Все смотрели на нее. Аудитория сейчас была музыкальным инструментом, из которого она извлекала звуки, какие она хотела: снимала ногу с педали — говорила мимоходом какую-нибудь шутку, — лица освещались улыбками, слышался легкий шелест движения всей аудитории. Нажимала педаль — делала паузу и все стихало.

В ней была сейчас сила, — какая, в чем, — она не понимала сама, аудитория бессознательно чувствовала эту силу и подчинялась ей. И ощущение этой силы и полноты было блаженным ощущением, какого она никогда раньше не знала.

Вера невольно подумала о том, что она стала теперь еще более человеком, чем была прежде. Может быть, это как раз потому, что в ней силы не были растрачены, как у какой-нибудь Раисы. И этому человеку, пробудившему в ней эту жизнь, она даст еще большее богатство?...

Когда Вера подходила теперь к своему дому и видела темные окна комнаты, она не чувствовала в них той гнетущей давящей пустоты и одиночества, какие рождались у нее прежде при виде этих окон.

Когда же она входила в комнату, готовила чай и зажигала керосинку, у нее появлялось чувство нежности к этой керосинке, которая теперь стала для нее символом счастья. Его руки держали ее, наливали вот из этой бутылочки бензин.

Да, теперь она впервые поняла, что такое любовь. Право на жизнь получает только тот, кто имеет право на любовь. Она получила это право тем, что почти сама пошла к мужчине, взяла сама свое право на любовь и тем самым получила право на жизнь.

В ней сейчас было ощущение высшей радости. Но самую большую радость и какое-то лучистое цветение она ощутила тогда, когда он поцеловал ее в голову.

Ее целомудренная душа оценила этот поцелуй в голову, как высшее проявление чистоты, бывшей в их отношениях.

От этого поцелуя веяло чем-то необъяснимо-прекрасным, позабытым в наши дни.

Да, право на любовь должен по справедливости иметь тот, кто не дает направо и налево дешевых вещей, а накапливает в себе только редкое и дорогое.

И разве он не почувствует разницу между нею и своей Раисой, в которой человек не вырос еще над полом?

И как много этих Раис в жизни!.. Как все засорено ими, действующими на самое слабое и дешевое в человеке. И в то же время как трудно мужчине сквозь этот сор, дразнящий и щекочащий, разглядеть то, настоящее, что по природе своей всегда скромно и незаметно.

Когда она ложилась теперь спать, она не просто делала это, как всегда, торопливо, устало, — она долго сидела перед зеркалом и все вглядывалась в свое лицо, в глаза. Потом гасила огонь и в темноте раздевалась.

Ей почему-то стыдно было теперь видеть себя при свете в зеркале раздетой. Она при этом чувствовала стыд и волнение, как будто в зеркале она видела себя не наедине с собой.

И когда ложилась в постель, то чувствовала безотчетную нежность даже к подушке, как к живому существу.

У нее теперь было такое чувство, как будто до этого она была неодушевленным предметом: механически изо дня в день ходила на рабфак, потом приходила, усталая и равнодушная, домой и с таким же равнодушием кончала свой день.

К миру она не имела никакого отношения и никак его не чувствовала. Если было солнце, она ощущала только тепло. Если был мороз, она чувствовала только холод.

Теперь вдруг в этот неодушевленный предмет вдунули живую душу. И душа эта, точно после долгого сна раскрыв глаза, сказала:

— Мир прекрасен! Он полон чудес, каких я раньше не видела, потому что глаза мои были мертвы.

Через день она неожиданно встретила его на улице, почти столкнувшись с ним на тротуаре. Он шел как-то рассеянно, точно ничего не видя.

У нее так забилося сердце, так потемнело в глазах, что она их невольно закрыла рукой и на секунду, отвернувшись, почти прислонилась головой к забору.

— Что вы? Что с вами?—спросил Шварц удивленно.

А когда она подняла на него свои глаза, он не повторил вопроса, а только сказал:

— Можно мне к вам сегодня зайти? Вы мне очень, очень нужны...

— Я буду ждать вас...—тихо ответила Вера. И, расставшись с ним, пошла, почти ничего не видя под ногами.

Она только не могла понять, неужели, судя по тому потрясению, какое она испытала, она так скоро и с такой силой могла его полюбить, его, совершенно неизвестного человека. В чем же здесь тайна? Почему один человек вдруг начинает неудержимо стремиться к другому? Очевидно, это закон высшего единства внутреннего содержания, какое заключено в нем и в ней. И чем это содержание сложнее, глубже, тем большее право дает оно на большое чувство.

V

Вечером он пришел.

У него был все тот же рассеянный, беспокойный вид.

— У меня кое-какие осложнения...—сказал Шварц, садясь в кресло и рассеянно оглядываясь по комнате, как будто ему чего-то не доставало.

— Нет, сядем лучше сюда,—сказал он, и пересел на диван.

Вера, притихнув, села около него, как садятся, когда близкий человек, очевидно, переживает что-то тяжелое и хочет поделиться.

— Я рад, что так странно, так нечаянно встретился с тобой. Бывают такие минуты, когда нужно, чтобы кто-то тебя выслушал, что-то сказал. У меня здесь нет даже знакомых, кроме одного приятеля. Но мужчины для этого не годятся. Здесь нужна сестра милосердия.

И он рассказал, что получил от Раисы письмо, в котором она с бесстыдной откровенностью пишет, что в его отсутствие не удержалась и сошлась с другим. Что ей жить с ним приятно. Она просит посмотреть на это так, как он всегда обычно смотрел на этот вопрос.

— В особенности великолепно это приятно!—сказал саркастически Шварц.

Первое, что было у Веры при этом известии—это острая радость. Точно провидение устраивало все так, как нужно. Но эту радость нельзя было теперь обнаружить, так как он еще не переболел неожиданным ударом.

— Я сам не думал, что на меня так это подействует. Ведь это...— я знаю, про кого она пишет:— это пустой пошляк, у которого только и есть, что красивые ляшки, которые он выставляет напоказ, да нахальство. Неужели же она не чувствовала, что во мне содержания побольше, чем у этого шалопада? Не говорю уже о том, что я... э, да что там!..— он махнул рукой и с расстроенным лицом замолчал.

— Это ужасно,— сказала Вера,— любовь обратить только в приятное и неприятное. А где же самоотверженность? Где ощущение души в человеке? Такие люди даже не имеют права произносить слово любовь. Вот это результат того, что теперь все в любви идет по линии наименьшего сопротивления. Я где-то читала,— не помню,— что женщины разделяются на два типа: на матерей и проституток. Если она не мать, то проститутка. Теперь наша молодежь избегает материнства, и, благодаря этому, в теперешних молодых девушках из комсомола и интеллигентской среды развиваются все черты проституток.

— Я сейчас тщетно ищу объяснения,— почему я, собственно, так близко принимаю это к сердцу. И положительно не могу найти никакого объяснения,— продолжал Шварц.— Ума у нее особенного нет. Эгоизм огромный. Она может не задумываясь бросить человека в самом большом несчастии. Просто повернуться и уйти, потому что так ей будет приятнее. Все это я знаю. И знаю, что человек она пустой, а вот как увижу сзади ее волнистую прическу, которую я сразу отличу от тысячи причесок, как вспомню ее манеру поправлять сзади волосы, когда она стоит с закинутыми круглыми локтями и, чуть улыбаясь, смотрит,— то не могу сладить с собой. И этот пошляк обнимает ее, и она на него, наверное, так смотрит, нарочно не опуская локтей, как смотрела на меня. Но это очень хорошо, что она так написала, по крайней мере судьба меня уберегла от большой ошибки...

— Она „не удержалась“!..— сказал желчно Шварц, видимо, не в силах удержать печального течения своих мыслей.— Это меня возмутило больше всего!

Вера на это могла бы сказать, что ему едва ли можно так возмущаться этим, потому что он сам сделал бы то же, если бы она, Вера, допустила до этого. Хотя его нельзя сравнивать с Раисой, потому что у той просто животное чувство, а у него было совсем другое.

— Я сейчас должен собрать все силы для того, чтобы вырвать всякие воспоминания об этой женщине.

Вера смотрела на него и думала: как она ошиблась в первую минуту их встречи, когда представляла себе, что мужчина ищет в женщине прежде всего самки, а вот в нем оказывается скрытая тоска по большой, настоящей любви и боль, когда он увидел, что в женщине, с которой он был близок, не оказалось этого большого и серьезного.

Ей было приятно, невыразимо приятно видеть его расстроенное лицо и сознавать, что он с своим горем пришел к ней, которую всего один раз только и видел. Значит, они уже не чужие. И ее мате-

ринский инстинкт утешительницы как бы нашел для себя пищу. Она сама зажгла керосинку, точно любящая жена, ей прежде всего захотелось накормить его и отвлечь от мрачных мыслей.

Она поставила перед ним стакан, бутерброды, которые купила себе на ужин, и, погладив его по руке, сказала:

— Не надо падать духом. Все станет опять на свое место. Плохо, когда наносится какой-нибудь ущерб нашей сущности. А эта ничтожная связь не могла серьезно отразиться на том, что составляет вашу сущность. Она даже лучше даст вам почувствовать то важное и главное, что нужно искать в людях, в женщине, не останавливаясь на ее чисто внешних, всегда ничтожных чертах. И хорошо то, что вы сейчас не в одиночестве. Хуже всего в жизни это одиночество. Страшнее этого ничего нет. Если бы вы были сейчас одни и некому было бы рассказать, вам было бы тяжелее и труднее оттолкнуть от себя то, что вам не нужно.

Шварц встал, сделал несколько шагов по комнате, шаршавя волосы, потом неожиданно остановился перед Верой, и долго смотрел на нее.

— Что вы так на меня смотрите?—спросила она, невольно встав.

Шварц, не отвечая, положил ей руки на бедра, и, так же глядя ей в глаза, тихонько покачивал ее, потом остановился, как будто ждал с ее стороны какого-то движения.

— Положи вот так руки на голову,—сказал он.

Девушка, не понимая, чего он хочет, положила руки на голову. Ее чистые глаза смотрели открыто и ясно, глаза, в которых была видна большая забота о нем и желание помочь ему. Ее грудь была близко от него, но и от этого у нее не повысилось бурно дыхание, не потемнели глаза и не выступил румянец стыдливо проснувшегося желания.

Шварц почему-то посмотрел еще раз на ее переносицу и, сняв руки с ее бедер, вздохнул и отошел молча к окну. Несколько времени смотрел в него, стоя к девушке спиной.

— Очевидно, на земле так уж устроено, что самое большое часто зависит от самого маленького. Нужно с этим бороться или нет,—никто не знает... и никогда не узнает...—сказал Шварц, очевидно, думая о чем-то своем.

Потом вдруг резко оборвал и сказал:

— Ну, я пошел.

Он стал одеваться. Вера подошла к нему и, держа в руках его шляпу, смотрела на него, пока он застегивал пальто.

Шварц взял из ее рук шляпу и несколько времени опять странно смотрел на девушку, потом в сторону, и, наконец, взяв ее голову, поцеловал так же, как в прошлый раз.

Вера пошла проводить его до двери.

Шварц, взявшись за ручку двери и стоя в шляпе, с палкой в руке, повернулся к ней.

Вера, сама не зная, как это случилось, вдруг с силой прижалась к его груди и слезы градом полились у нее из глаз. Отчего, почему, она не знала и не могла дать себе отчета. Ей только стало невыразимо больно оттого, что он сейчас уйдет и она останется одна в пустой комнате.

— Что это? Чего?—спросил Шварц.

Она хотела ему сказать, что по неисповедимым путям судьбы он стал для нее дороже жизни. Она может сказать это прямо, потому что у нее к нему не темная, нехорошая страсть и чувственность, как у какой-нибудь Раисы, а чувство высшей человечности, чистоты и самоотверженности.

Но она этого не сказала, а только посмотрела на него глазами, полными слез, и опять спрятала свое лицо. Разве ему без слов не понятно?

Шварц подождал, когда она успокоится. Он гладил ее по плечу, по волосам. Потом ушел, сказав, что завтра придет пораньше.

VI

Как это вышло, что она сама первая призналась ему в своей любви? Но ведь в самом деле—любовь ее была так чиста, что в ней не было ничего такого, что нужно было бы скрывать.

Она вспомнила об этой неизвестной ей Раисе и пожалела ее темную душу, которой не суждено никогда испытать всей глубины человеческого счастья, а следовательно, не суждено и дать его тому, кто свяжет с ней свою судьбу.

У нее же есть что принести человеку, выбравшему ее.

И она чувствовала себя невестой, чистой невестой, точно с сиянием вокруг головы.

Шварц не приходил три дня. Она уже начинала беспокоиться и никак не могла себе простить, что на всякий случай не спросила его адреса.

Она даже не может сейчас пойти узнать, в чем дело. Может быть, он попал под трамвай, может быть, он лежит один, болен. И она даже не может подать ему помощь. Это ужасно.

Она уже теперь даже не останавливалась мыслью на странности такого всепоглощающего чувства к человеку, которого она всего два раза видела. Она была полна тревогой. Как вдруг получилось письмо от него.

Вера поспешно вскочила на диван, поджала под себя ноги и начала читать:

„Милая Вера!..“

Эти два слова ослепили ее, сердце совсем замерло и остановилось. Впервые он так хотя бы в письме назвал ее. И она еще раз вслух прочитала:

„Милая Вера!..“

Но через минуту ее глаза расширились, углы рта опустились и она, вся бледная, с дрожащим в руках почтовым листком, дочитывала письмо.

Шварц писал:

„Когда ты третьего дня, провожая меня, вдруг заплакала, я понял, что ты полюбила меня со всей силой, на которую способна твоя правдивая, чистая и целомудренная натура. Это меня, говоря откровенно, испугало.

„И я должен тебе прямо сказать: я убедился, что у нас с тобой ничего не выйдет. Я очень запутанно и нехорошо чувствовал себя с тобой. Точно я из всех сил тянулся подняться на цыпочки, чтобы ответить твоей идеалистической настроенности.

„И от этого у меня было отвратительное чувство. Ты наши отношения поставила на такой путь, который может только оттолкнуть мужчину, не вызвав в нем никакого влечения к тебе.

„Расскажу все по совести: пока ты молчала и сидела в вагоне, как незнакомая мне женщина, у меня шевельнулось к тебе чувственное любопытство. В особенности, когда я тронул твою ногу и думал, судя по твоему добродетельному виду, что ты вскочишь и уйдешь.

„Твоя наружность говорила, что ты принадлежишь к типу женщин, которые ничего такого не чувствуют. Они умны, у них прекрасное сердце, верность, правдивость, самоотверженность, т.-е. все то, что совершенно не нужно для мужчины, т.-е. на него не действует. А твое отношение к моему прикосновению сказало, что ты нетакова, какова твоя наружность.

„И я подумал, что я ошибся. Потом, когда ты расплакалась там же, в вагоне, я подумал, что значит ты не то и не это, а истеричка, и потому поехал с тобой.

„Ты меня позвала наверх, хотя было уже поздно. Это меня взбудоражило, заинтриговало.

„Но когда я увидел твои открытые, необычайно правдивые глаза, когда я почувствовал в тебе хорошего ценного человека, мне стало почему-то стыдно к тебе прикоснуться, как стыдно бывает прикоснуться к родственнице. Стыдно и... неприятно.

„Потом: никогда не говори так откровенно долго и медленно, как ты говоришь.

„И самое главное: я увидел, что ты серьезно и глубоко полюбила меня. Я не знаю, в чем тут дело, но я, повторяю, почувствовал определенный испуг, увидев твои слезы.

„Это уже никуда не годится. Современный мужчина боится таких женщин, как боятся припадочных. Он боится тех, что виснут у него и теряют почву под ногами.

„Наша жизнь груба, но она многообразна. Ни один мужчина не отдаст себя в твое полное владение. А об этом ты и мечтаешь, когда говоришь о своем самопожертвовании. Это самопожертвование палка о двух концах.

„Ведь ты, благодаря своей любви, не сможешь так просто смотреть на вещи и не потерпишь рядом с собой, например, Раису, а, наверное, и от меня потребуешь верности и самопожертвования? Ты сама понимаешь, что это чушь.

„И потом, извини меня, ты своим большим серьезным умом и чистым сердцем производишь раздражающее впечатление глупой женщины, благодаря твоей полной неопытности в отношениях с мужчиной.

„Каждый комсомолец и комсомолка опытнее тебя в этом отношении.

„Заметь, когда мужчина, пробывший наедине с женщиной в пустой квартире, уходя, целует ее в голову, хуже этого, — с нашей, мужской точки зрения, — ничего не может быть. Лучше бы он тебе дал пощечину.

„Вообще, если ты не переменишься, не выбросишь из своего взгляда эту постоянную грусть и правдивость, с какою ты слушаешь, когда с тобой говоришь, да еще будешь говорить о своем одиночестве, то ты никогда ничего не добьешься, так и просидишь весь век с своей керосинкой.

„Мне просто жаль тебя, потому что ты сама не подозреваешь, какой враг для тебя твои прекрасные свойства. У меня к тебе осталось хорошее отношение и мне захотелось дать тебе на прощанье несколько советов, полезных при современном настроении мужчины.

„Кстати о Раисе. Она бросила своего субъекта, прожив с ним всего одну неделю, вчера приехала ко мне, и все стало на место. Мне с ней приятно. Очевидно, все-таки половой подбор...

„Если хочешь, напиши мне. Ты имеешь полное право на мою дружбу и на хорошее к тебе отношение. Впрочем, лучше не пиши. Как хорошо, что у нас с тобой ничего не случилось!.. Иначе я все-таки чувствовал бы себя виноватым перед тобой. Как всегда нужно верить самому примитивному инстинкту, а не каким-то высшим соображениям.

Прощай, твой Шварц.

P.S. Непременно перемени прическу и этот прямой ряд. Целую тебя*.

Вера с сухими глазами и дергающимися губами сошла с дивана, почему-то подошла к керосинке и, упав на нее головой, зарыдала сухими, беззвучными рыданиями.

ИВАН ДОРОНИН

* * *

На улыбку тихую зари
Улыбается и дикий камень.
Я пришел железо примирить
С нежными, степными васильками.

Край ты мой, советский край,
Родина моя — дубы да клены.
Разогнал я песенную рать
По лесам зеленым.

Звонче, звонче, звездный листопад,
За бугор катись, моторик-месяц.
Чуть заметна мятная тропа,
Я иду у синих перелесиц.

За рекой горланит буйный кочет,
Мельница стрекочет за рекой.
Вижу: тополь на опушке хочет
Мне махнуть рукой.

Братец мой, зеленоглазый братец,
Мне понятен твой язык простой.
Я в осиновой родился хате,
На соломе золотой.

Говорят, что мать моя, бывало,
Любливала ельник величать,
В ельнике зеленом укрывалась,
В зелени купалась у ключа.

Над водой склоняются кусты,
Значит голос родника не замер.
Потому-то милый, как и ты,
Я горю зелеными глазами.

Не могу смотреть я равнодушно
На раздумье тихое берез.
В этот мир бурьянов непослушных
Сердце я рабочее принес.

Вам, поля, теперь сказать хочу я:
По утру гоните росы в луг.
На селе, в моем саду ночует
Мой железный друг.

Не косися, филин, боязливо,
Коростель по-прежнему стучи.
Завтра в полдень он пройдет по нивам,
Рукава по локти засучив.

Знаете, мне явь иная снится:
Будет жить орел на корпусах.
Ведь живут же голуби в столице,
Ходят же трамваи по овсам.

На селищах, за плетневой ригой,
Там, где грач садится на пенёк,
В эту ночь от радости запрыгал
Электрический зверёк.

По иному о судьбе гадая
Я узнал, что будет впереди.
Кочурявься, роца молодая,
Черная черемуха, гуди.

На улыбку тихую зари
Улыбается и дикий камень.
Я хочу железо примирить
С нежными, степными васильками.

„Матросская Тишина“

Повесть

Л. НИКУЛИН

1. Родина

У Варны море было мутно-зеленым, у Констанцы—стеклянно-синим. Дальше к северу прозрачная, серо-голубая вода и, когда развернулись невысокие, глинистые берега Бессарабии, Парчевский узнал родное море, родные берега—родину.

Где Босфор, тихая голубая река-пролив, мохнатые чинары, Стамбул и четыре бирюзовых столба, подпирающих купол мечети Ахмеда, где год жизни на берегу Босфора?.. Турки говорят: кто пил „суук-су“, ключевую воду Стамбула—тот вернется в Стамбул. Константинополь—ступенчатые горы азиатского берега, отраженные в сапфировых водах дворцы и прохладный вестибюль российского посольства с мраморными статуями, неровными вдавленными полами и крышей-террасой—над городом и Босфором.

Там—год жизни, а здесь—годы и годы—родина...

Может быть, потому Парчевский беспокойно следил за нарисованной в море линией бухты. Берег покрывался зеленью парков и кубами зданий и медленно надвигался на нос парохода, и Парчевский вдруг повернулся к корме, к открытому морю. Он сидел на перилах над трюмным люком. Поднималась и кренилась линия горизонта. Качало и ветер гулко хлопал концами брезента, который снимали с люка матросы. С грохотом отваливали тяжелые доски и в люк видно нижнюю палубу, палубных пассажиров с чайниками, узлами и пестрыми одеялами.

Тревожно перекликались возвращающиеся с Афона греческие священники. Заложив пальцы за ремни поясов, смотрели вдоль берега крутоусые, стриженные ежом врангелевцы-казаки в выжженных галлипольским солнцем гимнастерках. И молодые евреи из Палестины, которые тоже возвращались в Россию, возбужденно и радостно спорили, перекрикивая лязгающую цепью лебедку. Ровно и бойко стучал

винт, и вдруг справа вынырнули треугольные паруса яликов и мол—гранитная змея с головой яшура.

Парчевский спрыгнул с перил и подошел к борту. В стеклах цейса встал перед ним на высотах город с обращенными к морю фасадами зданий и длинным горбатым зданием оперного театра и греческой колоннадой на обрыве. Пустынный, странно чистый, как бы нарочно прибранный порт, мачты парусных дубков, как голый кустарник, вдоль пристаней, и ржавые корпуса стоящих у стенки на приколе пароходов с желтыми трубами. Когда „Чичерин“, поворачиваясь в порту боком, подтягивался к пристани, в стеклах бинокля косо пробежала корабельная корма старого, ржавого парохода и облезлые буквы „Саратов“ на корме. И вдруг цейс вывалился из рук и повис на ремне на груди Парчевского. И Парчевский шелковым, мягким платком вытер лоб под козырьком кепи.

Щель между „Чичериним“ и пристанью узиалась, скрежетали, наматывая канаты, валы и на борту уже совсем ясно видели машущих платками и фуражками. На нижней палубе пели „Интернационал“ и молодой возбужденный голос, покрывая пение и лязг, выкрикивал:

— Роза, ты здесь, Роза?..

На борт упали сходни и разом вскипела толпа у сходен и на борту. Трое в военной форме, в ремнях и фуражках с зеленым верхом, избежали по сходням на палубу. Родина.

Над городом тягучий, сладкий запах от белого, осыпавшегося с деревьев, цвета. Белые, уже желтеющие, тяжелые сережки свисают с колючих веток акации. Мягкий, легкий, расслабляющий воздух вокруг, и, кажется, нельзя пошевелить рукой и сделать лишний шаг по осыпавшемуся цветку. Однако для Парчевского ничего не изменилось вокруг, обыкновенный весенний воздух, обыкновенная южная городская весна. Только невидимые летающие частицы, запах рождения и смерти растений глушит городской воздух, едкий каменноугольный дым, известковую пыль и запах мазута и чад из котлов с асфальтовой массой.

На главной улице Парчевский долго стоит против обыкновенного, ничем не замечательного дома. Рыжие английские башмаки с тупыми, обрубленными носами плотно стоят на тротуаре, на белом, опавшем цветку акации. Сквозь овальные, правильные, мелкие листики светят осколки солнца и мешают Парчевскому рассмотреть номер скучного, серого, трехэтажного дома. Рассмотрев номер, подумав и решив, он идет в под'езд. Из кожаного конверта-бумажника он вынимает сложенное вдвое письмо и звонит. Ему открывают. После солнца, акаций и известковой, белой улицы трудно рассмотреть, кто открыл дверь.

— Наталья Павловна Зимина,—читает вслух Парчевский адрес на конверте.

— Я,—говорит звонкий голос,—войдите.

Парчевский входит в коридор. Сбоку открывается дверь и косой свет падает на девушку в белой блузе с тонким, лакированным пояском. У девушки тонкие, мягкие русые волосы, плотно прилегающие к голове

и вискам. Мягкий круглый подбородок и розовые, не очень яркие губы. Синие глаза, ресницы и брови гораздо темнее волос. Все это очень быстро и точно запоминает Парчевский.

— У меня письмо от Ольги Борисовны...

— Да, да,— радостно говорит девушка...— Ну, идите же сюда...

Парчевский входит в комнату и пока не находит ничего нового в девушке. Впрочем, опустив глаза, он видит стройные ноги в белых теннисных туфлях без каблуков. Самая обыкновенная комната с низким диваном-тахтой и незатейливой мебелью из мебельного магазина. Парчевский сидит на тахте. Она слишком низка для него и колени Парчевского едва не касаются подбородка. Поэтому он встает, и девушка сразу поднимает глаза от письма.

— Извините, я сейчас.

— Можно курить?

Он достает из замшевого футляра трубку и пока рассматривает ее руки, затем круглое колено под серой, лежащейся мелкими складками юбкой. Затем рассматривает под подбородком уголок розовой кожи в треугольном вырезе.

— Я очень рада...—говорит она.—Мы друзья со времен Владивостока. Муж Оли приехал из ДВР и был уполномоченным у нас во Владивостоке... Он и теперь в Наркоминделе?

— В Генеральном Консульстве СССР в Константинополе,— обстоятельно отвечал Парчевский.

— А вы?

— Я был в агентстве Госпароходства там же. Теперь—здесь.

— Очень хорошо. Вы играете в теннис?

Она подходит к зеркалу, поправляет волосы, смотрит на себя сбоку и опять садится.

— Брат в Москве по разным делам. Мы здесь недавно. Очень мало знакомых.

Все это она говорит очень быстро и весело, должно быть, потому, что долго молчала и теперь приятно поговорить.

— В общем скучно. Провинция. Вы здесь бывали?

— Очень давно. Лет двадцать.

На столе лежит теннисная ракетка в футляре. Парчевский вынимает ракетку, вытягивает руку и смотрит вдоль ракетки, прищурив глаз. Затем пробует большим пальцем туго плетеную сетку.

— Знаете что,— говорит Наталья Павловна,— пойдём в клуб. Там—теннис.

— Ладно,—отвечает Парчевский и встает и идет к двери, где на стене в дешевой рамке фотография. Пока Наталья Павловна надевает белую шляпу-колпачек, он рассматривает фотографию.

— Это кто?—спрашивает Парчевский.

— Брат,—отвечает девушка.— Красивый, правда?..

Парчевский еще некоторое время смотрит на фотографию ласкового брүнета с сединой и подстриженными короткими усами.

— Как будто видел... у Ольги Борисовны...

— Да, у Оли... Любительский снимок, на улице. Здесь он лучше. Но, знаете, вообще Сережа непохож на снимках. Есть такие лица...

— Да. Есть.

И есть что-то в голосе Парчевского, отчего странно и тревожно Наташе.

Затем они на улице. Они идут по мягкому, опавшему цвету. Белые, раздавленные цветы заглушают шаги. Наташа идет справа, ближе к витринам, и смотрит не в витрины, а в стекла, которые отражают ее и Парчевского. Высокий, прямой, в сером, руки в карманах и под мышкой—ракетка в футляре. Должно быть, спокойный и приятный и сильный человек.

— Вы, конечно, моряк?.. Есть что-то общее у настоящих моряков. Повадка, манера говорить с женщиной... И то, как они смотрят. Очень подробно. Как на скалу или мыс. Смотрят, чтобы запомнить. Вот и Сережа тоже...

— Он моряк?

— Да, плавал. Только давно. Теперь здесь, на таможне. Мы недавно вместе. Акации...—говорит девушка и медленно и глубоко дышит и грудь поднимается высоко под блузой.—Скажите, какие цветы в тропиках?

— Пестрые, большие и без запаха.

— Вы всегда так коротко... А можете вы мне длинно рассказать о каких-нибудь островах? Моряки всегда рассказывают—так полагается. Например, Манильские острова, откуда сигары. Вы там были?..

— Прошлой зимой—на „Декабристе“.

— Ну?—нетерпеливо вскрикивает девушка, вскидывает глаза и протягивает руку Парчевскому. Но их разделяют дети с книжками, потом маляры, несущие лестницу.

— Ну?—еще раз умоляюще шепчет Наташа...

— Там кинематограф,—начинает обстоятельно Парчевский.—Картины с Чарли Чаплином. Белые от солнца дома и зеленые ставни. Пальмы на улице, набережная... Ну, что же еще?

— Влюбитесь,—печально говорит Наташа.—Может, научитесь рассказывать. Видеть Манильские острова и рассказывать о Чаплине. Ужасно... Клуб здесь—направо.

Они идут по аллее, и гравий шуршит под ногами девушки. Солнце еще не выжгло зелень в парке и трава—темно-зеленый ковер вокруг желтой площадки. Белые фигуры, раскинув руки, перебрасываются из края в край.

— Это Соколов и Зина. Нет, не Соколов. Это Ройзман. Соколов вот на скамейке.

— Вы знаете Соколова?

— Я здесь третий день.

— Соколов—следователь, коммунист... Я немного боюсь коммунистов... Некоторые очень жуткие. Смотрят и думают про свое. Соко-

лов—простой; кажется, он бывший слесарь. А Ройзман совсем другой... Он пишет в газете.

— Вам сколько лет?..—вдруг спрашивает Парчевский.

— Двадцать. А почему вы спросили? Это нехорошо.

И, подняв руку над головой, она кричит звонко и сердито:

— Товарищ Соколов!

Человек в расстегнутой гимнастерке и белом кепи встает со скамьи и идет навстречу.

— Ройзман проиграл сэт. Скоро—конец.

— Это — Парчевский, познакомьтесь. Он из Константинополя,—говорит Наташа.—Я играю с вами реванш.

— Нет,—говорит Соколов.—У меня в три кружок.

— Тогда я играю с Парчевским.

Парчевский молча садится на скамью и кладет рядом ракетку. Соколов немного низок ростом и широк в плечах. У него рыжие, золотые на солнце, ресницы.

— Давно в наших краях?..

— Третий день.

— В Управлении, у Пашнева?..

— Временно. Жду рейса. Надоело на берегу.

— Вы будете играть Сережиной ракеткой,—говорит Наташа.

— Я не буду играть,—и Парчевский, вытянув ноги, откидывается на скамью.

На площадке девушка в красном платочке кончает игру. Высокий, длинноволосый человек с черной бородкой пришел и присел рядом на скамье.

— Ройзман и Зина... Это — товарищ Парчевский, — знакомит Соколов.

— Слушайте, Наташа, как же вы без братца?..

— Повеселела, чтоб не сглазить...—второпях говорит Ройзман.—

Идем, Соколов.

И все уходят, простившись с Наташей и Парчевским.

Мягкий блекнувший цвет падает на плечи Наташи и на черноволосую голову Парчевского. Парчевский собирает цветы в горсть, прячет губы и нос в цветы и глубоко вдыхает и остается на мгновение без дыхания.

— Не сердитесь...—вдруг говорит Парчевский.—Какой я в сорок лет игрок!

— Ну, ну... Тоже старик выискался... Впрочем, как хотите,—и вдруг радостно.—Чорт, какая здесь удивительная весна... Я выросла в Питере.

— В Питере?

— Да... Слушайте, почему мне сразу с вами очень удобно?.. Кстати скажите, как вас называть?

— Виктор Арсеньевич...

— Сложно... Ну, я потом придумаю... А меня просто—Наташа.

И она внимательно смотрит в черные, блестящие, вроде агата, глаза, загорелое лицо, и нос горбинкой, и тонкие сжатые в ниточку губы.

Из-за деревьев морской, свежий ветер. На земле опавший цвет и ветер намывает и кружит цвет акации, как первый, робкий, ранний снег.

Далеко впереди — красный платочек Зины, белые фуражки Ройзмана и Соколова.

Они идут быстрым и ровным шагом, не сбиваясь с ноги. И Ройзман спрашивает Соколова:

— Это тот самый Парчевский?..

— А что?

— В пятом году—в нелегальном союзе моряков. Вообще дельный парень. С Пашневым был на Волге и Каспии в девятнадцатом...

— Член партии?..

— Теперь, кажется, нет.

— Спец,—коротко говорит Зина, и все трое бегут к трамваю, выкатившемуся из-за угла.

2. Д у п л о

У самого берега мысом входит в море оползень-обвал. Дача стоит на обрыве. Воскресенье, весь день, Парчевский—один. Здесь пустынный, забытый берег. Купальни и пляж за мысом и оттуда ветер приносит голоса и плеск. Пять пустых комнат наверху, над головой Парчевского, и четыре пустых комнаты сбоку. Дом выглядит странно, как изломанная, забытая игрушка. Окна и двери только у двух комнат, там, где угловая терраса. В других комнатах провалы, проломы там, где были окна, и в пролом потолка видно небо. На отставших обоях, на облупившихся стенах надписи углем и битым кирпичем.

„Первой сотни сводно казач. полка казак Икоников Николай“.

„Боже цара...“ „Бей жидов, спаса Россию“.

И просто срамные слова и рисунки—кораблики и скрещенные шашки. Ночью ветер сналету барабанит свернутыми железными листами крыши, шуршит оборванными обоями и с гулом и свистом гуляет по дому из пролома в пролом.

Но в двух угловых комнатах в окнах новые рамы и жалюзи и над террасой натянут тент. Над садовым столом—фонарь.

В саду, у обрыва, когда-то был фруктовый сад и клумбы. Но часть клумб и деревьев скатил в море оползень. Яблони одичали, скучный берег, красная глина и выжженная, редкая трава. С береговых высот полукругом—серо-голубое, стеклянное море. Парчевский сидит на террасе. Спиртовая машинка, чайник, трубка и табак в резиновом мешке на столе, покрытом клеенкой. На коленях у Парчевского старая тетрадка в клеенчатой, черной обложке и в руке толстое автоматическое перо с золотым колечком. И он пишет круглым, разборчивым почерком:

„Видно придется подохнуть одному, как старому, бродячему псу. Никого нет и не будет. Так и жить на разных широтах. Нынче под дырявой крышей, завтра в каюте помощника...

„Товарищи...—пишет Парчевский.—Товарищи,—какой я им товарищ. Вот у каждого есть свое, у того—дочь, у того—баба, а я вот один. Видал и тайфун, и айсберги, и Цейлон, и Нордкап, а вот рассказать, сочинить не могу и вот спрашивает хорошая девушка и смеется. А, спрашивается, чего не было за двадцать с лишним лет и в плавании и на берегу, о чем не хочется думать, а вот лезет опять через двадцать лет и, кажется, подамся я опять на восток. Спокойно и псы не лают, и кипарисы, и запах бальзамический, как, скажем, в Скутари, может, чего и насочиняешь. А заест лихорадка—и пусть закидают твою яму песком и глиной, покамест не раскопают шакалы...

„Ни хрена не вышла жизнь, поздно схватился“...—пишет Парчевский. На дорожке шуршит гравий под быстрым и сильным шагом. За парусиной не видно, кто идет по дорожке. Парчевский поднимает глаза, и вдруг прямо перед ним, у ступенек, как белая статуя, Наташа Зиминая, прямо вплотную между ним и синей стеной моря на горизонте.

— Вот здорово, — говорит Парчевский, бросая на стол тетрадку, и идет навстречу.

Взяла горячий, маленькой рукой руку Парчевского и взбежала по лестнице на террасу.

— Да, от нас не отделаешься...—и сразмаху падает в низкое полотноное, садовое кресло. — Нашла через Пашнева, а то вас не дозовешься...

Затем приподнимает край парусины и смотрит вдоль стены.

— Ну и дупло... Воображаю, ночью... Вы что—совсем один?..

— В сторожке, на соседней даче—сторож...

Парчевский застегивает китель и смущенно глядит на стол:

— Чем же угощать?

— А вы и угостить можете?

— Например, можно, шашлык... Просто по-походному. Винцо кисленькое. Уж извините холостяка.

— Валяйте, если недолго. Я помогу.

Парчевский сердито мотает головой и уходит. Наташа сидит в кресле, заложив ногу за ногу, и, зажмурив глаза, смотрит вперед, в море. Красная, овальная луна на ущербе и медный блеск змеится от горизонта к темнеющему, нависающему над морем берегу. Парчевский возвращается и зажигает фонарь. Девушка сидит, положив голову на руку. Белый колпачек-шляпа лежит у нее на коленях. Ветер играет прядью волос над ухом. Медный, чешуйчатый блеск в море. Замечательно тихо и где-то очень далеко на берегу дребезжит трамвай и от моря ровный приборный плеск.

Наташа как-будто дремлет. Парчевский разжигает хворост на дорожке против террасы и желтые, дымные языки бросают большую, горбатую тень на дорожку. Затем длинный железный прут с нани-

за́нными красными кусочками мяса медленно ворочается на кирпиче. Трещи падают горячие капли жира.

— А ловко,—тихо говорит Наташа и, потягиваясь, встает. Она ходит вокруг столба на террасе и затем, держась за столб, нагибается через перила:—Где у вас тарелки?

— В комнате, под кисеей, на полке...—говорит, не поворачиваясь, Парчевский.

Наташа входит и медленно оглядывает оклеенные белыми, светленькими обоями стены, походную кровать под синим, шелковым китайским покрывалом с летящими птицами и цветами. Высокий, английский чемодан стоя в углу, чемодан, раскрывающийся, как шкаф. Остальное все просто. Некрашенный стол и стулья и полка на стене, дорожный погребец, полированный, желтый, приятно пахнущий кожей. Над столом фотография, какие-то матросы и командиры, группа, на палубе. Наташа возвращается на балкон, и Парчевский бежит по ступенькам на террасу. Он наклоняет книзу железный прут и сдвигает на тарелку дымящиеся, шипящие кусочки мяса.

— Замечательно,—говорит Наташа и придвигает стулья. Парчевский приносит вино и стаканы. Затем они молча едят и смотрят на лунную полосу в море, которая ширится и ближе к берегу кипит крупными, расплавленными завитками.

Чаще плещет прибой внизу, и ветер уже погромыхивает железными листьями на крыше.

Наташа отпивает большой глоток и смотрит мимо Парчевского в черное, разделенное лунной полосой море.

Парчевский, повернувшись, тоже смотрит в море:

— Казацкое солнышко...

— Почему?..

— Луна—казацкое солнышко. Должно быть запорожцы придумали...

— Все здесь чужое,—говорит Наташа,—вот у нас на севере другое море. Серенькое. Маркизова лужа. И цветы слабые, вялые цветики... Уж как дорог нам, северянам, юг. Не оторвешься... Вам все равно, что здесь звезды мохнатые, что звезды лучистые и море по семи раз на день другое. Ночи душевные и теплые и улицы, как зальцы в старом, хорошем доме... Это какая звезда?..

Парчевский встает, пригибает голову и долго глядит:

— Похоже—маяк. Отсюда миль двенадцать, Лысая Коса. Нынче ясно, пожалуй, видать...

— Вам не странно, что я здесь, у вас?

Парчевский молчит. Ветер покачивает фонарь над столом и тени перебегают от фонаря, и Наташа не может разглядеть Парчевского и не может угадать, о чем думает тихий и молчаливый человек.

— В ваше время, конечно, было не так. Должно быть, нехорошо с первой встречи. Но, право же, у нас скучно... Кстати, рассказали бы вы о себе. А то я на распахку, а вы...

— Что ж...—Он подпирает ладонью подбородок, закрывает рот рукой и, кажется, кто-то говорит за него в стороне, а он сидит и глядит на Наташу.—С детства начинать, что ли?.. Прошлял я детство и молодость с рыбаками в море, со шпаной на берегу... Вот и вырос бродяга, чумак...

— Непохоже на то, что вы с юга... Они крикуны, болтушки и глаза сладкие... А вы горькая ягода... Горькая, как рябина...

— Рябина?..—чуть дрогнувшим голосом повторяет Парчевский,— почему рябина?

— Рябина—осенняя, золотая с красным, горькая и твердая... Я так вспомнила осень, знаете наша осень. Зелень, сырая, тугая и рябина в листве. Надкусишь зубом—горький, прохладный, такой терпкий сок...

— За ваше счастье,—покашливая, торопливо говорит Парчевский, и граненый стаканчик звенит о стакан Наташи.

Лунную дорожку разрезает рыбачья лодка. Острый и черный парус против луны и на носу желтый глазок—фонарик. И пока лодка плывет на лунном свете, они молчат и смотрят, и желтый фонарик, как камешек, как топаз в серебре. Затем мрак отрезает нос лодки и тянет к себе корму, но еще долго искрится желтый огонек на носу.

— За ваше счастье.

— Счастье... Где оно, счастье?..—Наташа сидит, лениво покачивая ногой, и лунная тень перебегает по полу.

— В двадцать лет...

— Двадцать, сорок. Годами не меряют.

— Я у вас был вчера вечером,—вдруг говорит Парчевский...— У вас окна—третий этаж, на улицу, угловые...

— Верно.

— Весело у вас. Гости... Послушал и ушел.

— Надо было зайти. Собрались приятели брата, думали приехал... Наташа пьет до дна и, стукнув, ставит стакан на стол.

— А не весело вам, Парчевский...

Ветер шуршит в дикой яблоне и вдруг налетает на дом и вздыхает в пустых комнатах об одиночестве и разной тоске.

— Будет,—Наташа отодвигает бокал. Затем они сидят молча и, пока они молчат, лунная дорожка в море передвигается к мысу вдоль берега.

— Проводите меня, Парчевский.

— Что так скоро?

— С утра приезжает брат. Хлопоты.

Парчевский уходит к себе. В окно Наташа видит, как Парчевский надевает желтую, кожаную, без рукавов, куртку. Ветер шелестит страницами тетрадки на столе. Ночные бабочки мечутся зигзагами вокруг фонаря. Парчевский убирает тарелки со стола и несколько торопливо прячет в карман тетрадку. Затем он запирает дверь на замок и тушит фонарь. Радужный желтый круг карманного электрического фонарика

вспыхивает на гравии. Сильная рука берет руку Наташи выше локтя, и они идут рядом ровным и быстрым шагом.

— Вам тут не страшно?..

— А вам?—глухо говорит Парчевский.

— С вами—нет.

— Ну, стало быть...—и чужой, дрогнувший голос вдруг затихает как бы задохнувшись в темноте. Радужно-желтый круг весело пляшет впереди, хватая из темноты кусты, разрытые клумбы, живую изгородь. Луна осталась за акациями. Белый опавший цвет пахнет тягуче и сладко, принуждая глубоко дышать и заставляя быстро биться сердце. Шаги не шуршат по гравии. Ноги мягко ступают в опавшем цвету. Настойчиво стрекочут цикады, тихо скрежещет камешками дальний прибой. Ветер настигает Наташу и Парчевского и приносит запах соли и иода, мешаясь с запахом акации. Радужно-желтый круг странно пляшет по кустам, по живой изгороди, по гравии и цвету акации и вдруг сразу тухнет и звезды мигают вровень с биением сердца. И вокруг теплая, черная ночь, и звезды, и море, и цикады...

Парчевский возвращается. Морской ветер дышит ему в лицо и встречает сердитым прибоем. Парчевский расстегнул куртку и китель и идет грудью на ветер, глубоко и сильно дыша. За кустарником живой изгороди ему чудятся голоса и красный, вспыхнувший уголек папиросы. Твердо ступая, разбрасывая гравий дорожки, он огибает дом.

— Кто?—спрашивает он негромко.

— Бандиты,—говорит один со смешком.

— Брось,—говорит другой знакомым голосом.—Парень боевой, запалит в лоб, не обрадуешься.

Трое сидят на ступеньках террасы, и Парчевский подходит к ним вплотную: и они поднимаются со ступенек.

— Пашнев...

— Есть. А со мной—Ройзман и Соколов...

Парчевский ощупью в темноте ищет руки.

— Были тут в гостях, поблизости... Трамвай упустили — пешком неохота.

— Принимай гостей.

Парчевский идет на террасу и зажигает фонарь.

Пашнев расстегивает блузу и садится в кресло. Полотно жалостно потрескивает под большим, тяжелым телом. Ройзман и Соколов стоят на ступеньках и молча глядят в море. Луна высоко над морем и лунная дорожка поголубела и передвинулась к маяку за мысом.

— Дом дырявый—живешь как сыч, или, скажем, монах.

— Тоже монах,—говорит Соколов, и показывает на два забытых стакана.

— Гляди, может, спугнули, гости непрошенные.

— А ты наведи следствие, уж такая твоя должность. Кто, и как, и почему?..

— А тебе—зависть...

— А как же. Ему в обед сто лет, а я молодой... Мне бы в аккурат. Парчевский молча возится с замком у дверей в комнаты.

— Иван Тимофеевич,—говорит осторожно Ройзман,—может быть, мы в действительности, как вам сказать, помешали?..

— Деликатный какой... Ничего не помешали... Свой парень.

Парчевский приносит сыр, редиску, хлеб и масло, и стаканы.

— С тарелками—возня. Уж как-нибудь так.

— Не барышня--не обидишь.

Соколов и Ройзман садятся за стол. Парчевский разливает вино в стаканы.

Пашнев курит, вертит папиросу между пальцами и смотрит на огонек.

— Насидишься ты у меня на берегу. Знаем мы вас — вам бы в рейс... Нет, красавчик, ты у нас побудь, нашей каши поешь.

— Ой, не пугай,—говорит Парчевский,—я—пугливый.

— Зачем пугать, разве вас напугаешь? Крути любовь, лунный подотдел!

— Эх, зависть, зависть,—смеется Соколов и жует с треском редиску.

— Товарищ Парчевский,—серьезно спрашивает Ройзман,—вы, кажется, здешний?

— С Черногорской, потомственный почетный...

Затем все молчат. Упрямо трещат цикады и неопределенно, то часто, то редко, плещет прибор.

— На балконе спать будем.

— Жестко—не взыщите. Можно—ковер.

— Валяй, валяй, нам не впервой. Мы походные.

Соколов идет в комнаты за Парчевским. Пока Парчевский скатывает в трубу ковер, Соколов смотрит на корешки книг.

— Английские... Эх, мне бы язык. Чорт, времени нет. Такая служба—беда.

Парчевский легко взваливает ковер на плечо и уносит на террасу. Соколов быстро и по привычке очень внимательно оглядывает комнату. На светлых, дешевеньких обоях—фотография. Командный состав и матросы на верхней палубе. И на спасательном круге довольно разборчиво—„Саратов“. И пока Парчевский берет два пледа и подушки, Соколов рассматривает поблекшую, наивную фотографию, снятую каким-нибудь неопытным портовым фотографом. Испуганные лица матросов на ярком свете, каменные, распаренные лица командира и офицеров, которым было жарко в тугих накрахмаленных воротниках и тесно сидеть в три ряда. Совсем неожиданно Соколов в худом, чернобородом, молодежавом механике узнает бритого черноволосого с проседью человека, который устраивает им постель на террасе.

Затем Парчевский и гости устраиваются на ковре, и Ройзман, приподнявшись на локтях, говорит робко и восторженно:

— Ах, море!.. Знаете, никогда не устаешь смотреть.

— Натопайся за день и устанешь, — разбросавшись на ковре, бормочет Пашнев.—Тоже поет.

На другом краю ковра—Парчевский. Рядом ровно и тихо дышит Соколов.

Прибой и цикады. Соль с моря и акации с берега. Парчевский вытягивается, хватает раскрытым ртом воздух, упирается затылком в край подушки и вытягивается, как струна. Повернувшись на бок, он закрывает глаза и видит Наташу, не верит, и ее нет. Затем опять видит ее, и верит. И это уже сон.

3. Вечер воспоминаний

Дом строился в начале прошлого века эмигрантом-маркизом, которому отдали в наместничество южную губернию. Трехэтажный, сумрачный дом над портовым спуском с башней и сигнальной мачтой на башне. Отсюда в Крымскую кампанию высматривали английскую эскадру. В недавние годы здесь были мореходные классы—школа торгового мореплавания, вкратце называемая „Мореходка“. Сюда принимали крепких и складных парней и приучали к морю на трехмачтовом паруснике „Великая княгиня Ксения Николаевна“; в „Мореходке“ подбирались парни один к одному—бойкие, со смекалкой и в грош не ставили начальство. И поэтому с пятого года училище было на дурном счету. Всю революцию здесь было пусто и только недавно в обветшавшем нескладном доме, должно быть, в память прежних бесстрашных и складных ребят, открыли клуб—Дом Моряка. Зал тесноват, мешают модели парусных и паровых судов и гипсовый памятник. Вдоль стен были когда-то доски из мрамора и на досках итальянские и греческие фамилии судовладельцев-негоциантов, почетных попечителей училища. Потомки левантинских и генуэзских пиратов заботились о торговом флоте, о штурманах и капитанах, которых их деды обычно бросали за борт. Теперь в пустых гнездах от мраморных досок на красном кумаче написаны лозунги в память пятого года. В узкий зал набивалось до шестисот человек, а в этот вечер набилось больше.

С эстрады Соколову казалось, что весь зал ходит ходуном. Было жарко и в воздухе двигались фуражки, платки, газеты. В раскрытые настежь окна влетал лягз и звон дальних трамваев и хлопанье копыт по мостовой и шуршанье шагов и голоса на улице. Сидели тесными рядами, в белых форменных рубашках, в кителях, обмахиваясь бескозырками, вытирая пот, и в белую колыхающуюся массу сливались форменки, кителя и светлые незатейливые платьица и красные платочки девушек. В задних рядах тяжело переступали с ноги на ногу старики с давним загаром на лице и с нехитрой китайской татуировкой якорями, драконами, вензелями на раскрытой груди. Хотя не заживаются на этом свете моряки, но некоторым было за пятьдесят, и таких сразу можно было узнать по смуглой, дубленой коже обветренного

лица, по острым обтянутым кожей скулам, по раз'еденным солью шрамам на руках и маленькой, серебряной серьге в ухе. Так и нороят не в клуб, а в пивную „Морской уголок“, где на полу влажные от пролитого пива опилки, где сыр-брынза, рыба-шама и скрипач, играющий „Дойну“. Но сегодня не такой день.

Под знаменем, за столом, крытым красным сукном, сидел, разбросав по столу локти, Пашнев. Упираясь подбородками в кулаки, сидели еще двое из культотдела и из райкома и, обдергивая блузу, теребя пояс над медными трубами музыкантов, ходил Соколов.

— Итак, товарищи, сегодняшний день есть памятный для нас день, товарищи...

В задних рядах все еще ходили, топтались на месте и спорили пониженными, сдавленными голосами. Упершись кулаками в стол, чуть привстал Пашнев и мрачно сказал:

— А ну, потише, товарищи... Каждому хочется послушать.

Соколов говорил, как все, которым за восемь лет пришлось вдоволь наговориться на площадях, на вокзалах, с крыш теплушек и с сидения грузовиков на заводских дворах, где надо драть глотку по случаю бузы из-за денег и прозодежды, и в клубах, где все честь честью—президиум, и регламент, и записки. Но сегодня не доклад с цифирью, а жаркая привычная митинговая речь:

— Сегодняшний день минуло двадцать лет, товарищи... Двадцать лет, как царскими палачами на Холодном поле удушены пять наших товарищей. Другие из вас помнят их, товарищи... Другим из вас многое говорят фамилии, золотыми буквами написанные на памятной этой новой доске...

В первых рядах слушали солидно, обмахиваясь фуражками состава с штыми золотом якорями в лавровых, золотых веночках. В задних рядах старики зоркими, блестящими глазами смотрели на новую, вставленную в старое гнездо, памятную, мраморную доску. Горело золото букв в венке с красными лентами.

— Подобными золотыми буквами в сердце трудящихся и каждого моряка записаны имена пятого года революционных матросов: Шаповала Кузьмы Антоновича, Лаврентьева Ивана Семеновича, Веретенко Михайло Михайловича...

Имя за именем падали в зал, и старики наклоняют головы, как бы кланяясь каждому имени.

— ...Базилюка Иосифа Адамовича и Попова Василия... А кто помнит их, товарищи, надо крепко запомнить и тех гадов, ту гадюку, которая с ними из одного котла хлебала, один хлеб ела и за понюшку табаку, за рубь серебром продала своих братьев и довела до петли на Холодном поле, что за тюрьмой. Может, он жив еще, этот называемый охранник, может, дожил до наших дней и дождетс своей смерти от первой революционной руки. А пяти матросам, всем им, вечная память за дело революции в такие несознательные, тяжелые годы, когда каждая голова была на счету.

Медные вздохи марша ударились в свод потолка и рванулись в жаркодышащий зал, заглушая скрежет отодвигающихся стульев и топот встающей массы людей.

— Объявляется перерыв,—зычно сказал Пашнев,—а после для желающих кино „В тылу у белых“.—Затем, заложив руки за спину, осторожно спустился в зал по ступенькам. Толпа подтягивалась к двум раскрытым настежь дверям. Поглаживая размякший воротничок, сидел на подоконнике Парчевский.

— Хоть рубаху выжми...—сказал Соколов.—Здоров...—и наотмашь хлопнул по плечу Парчевского.

За Соколовым шел Пашнев и ткнул Соколова в плечо:

— Хорошо... Откуда берется... Положим, не зазнавайся, и я мог бы, да отдышка.

Они вместе пошли по проходу, но Пашнев скоро отстал и присел у окна. В арках белого вестибюля горели все лампы. Толпа медленно оседала вниз по ступеням. Парчевский, вытянув шею, смотрел по сторонам. У колонны стояла Наташа и кивнула ему и Соколову. Они подошли.

— С приездом, — вдруг сказал Соколов, обращаясь к кому-то за колонной. Парчевский открыл рот, собираясь поздороваться, но вдруг закрыл рот и повернул голову. Боком к Наташе стоял человек в светло-сером пиджаке, в галифе и желтых крагах. Бледное, немного припухшее лицо, подстриженные ровные усы и влажная, блестящая голова, разделенная пробором.

— Познакомьтесь,—сказала Наташа.—Это—Парчевский.

— Зимин. Наташа говорила про вас...

Он говорил, слегка покашливая, мягким и тихим голосом, подумал и повторил „Парчевский“, как бы припоминая, как человек, уже однажды слышавший эту фамилию.

— Ну, как Москва?—приглаживая волосы и натягивая назад, на затылок фуражку, спросил Соколов.

— Что Москва! В двух словах не расскажешь...

— Я в третьем году был и то...

— Виктор Арсеньевич, вы о чем?..—Парчевский вздрогнул и повернулся к Наташе.

Все четверо спустились вниз. На улице мигнув погас фонарь над подездом клуба, и они пошли по тротуару—Зимин и Соколов впереди.

— Ну-с, как же вы?..—очень серьезно спросила Наташа. Парчевский взял ее за руку. Наташа отняла руку, и они молча пошли рядом. Зимин и Соколов повернули к парку. Розовые, расплавленные огни змеились в далекой, черной воде. Жар шел от теплых, нагретых городских стен. Надсаживаясь, долго засвистал пароход и созвездие цветных огней поплыло из темноты к маяку.

— ...движенье, суета. С непривычки теряешься... Ответственная командировка, знаете, в две недели всюду не поспеешь...

— Сережа,—сказала Наташа.—Виктор Арсеньевич предлагает...

Парчевский пошевелился и рука Наташи вдруг нашла его руку.

— ...предлагает ехать к нему на дачу...

— Далеко...—Нерешительно сказал Соколов...— Зато больно хорошо живет.

— Да, ничего, жить можно,—как-то глухо сказал Парчевский.

— Едем, Сережа?

— Я как все. Едем,—решил Зимин и подумал: „надо же убить вечер“.

Они пошли к выходу. Зимин рассказывал о Москве. Он шел, слегка приседая и волоча ноги. Соколов держал руки за спиной и молча слушал. В раскрытых настежь окнах клуба стрекотал аппарат и однообразно переливались похожие на гаммы аккорды, которые можно было продолжать без конца и когда угодно оборвать.

4. Убитый вечер

Трамвай грохотал, играя косыми углами света на стенах чистеньких, выбеленных дач. Тени бежали между тополями, замирая и останавливаясь вместе с вагоном, и опять бежали за ним, догоняя вагон. Соколов и Зимин, Наташа и Парчевский стояли на площадке. Теперь Соколову было странно, зачем он едет к Парчевскому. В парке сразу решил ехать, потому что очень хорошо вспоминалась терраса и рассвет над морем, прозрачное аметистовое небо и золотая полоса зари на горизонте и утренний, воробьиный гомон в пустом жилье.

— Да, растет, все растет, дорогой товарищ,—радостно удивлялся Зимин.—Вот слышал вас сегодня на митинге... Раньше и теперь... Никакого сравнения—небо и земля. Настоящий оратор...

— Чудак-человек... Ну, какой я оратор. Тема живая, публика своя...

Соколов наклонился и посмотрел вдоль рельс.

— Мальчишкой, бывало, до ночи болтаюсь здесь с рогаткой, в пустырях, на Холодном поле. И вот, вы представьте себе, иду раз по шоссе, свишу. И вдруг цап меня за ворот стражник—„ты куда?“... „Домой“—говорю. Он меня по заливку. „Не лазай, байструк, не лазай. Здесь тебе не гулянка“. Глянул я—фонари над землей, аккурат светляки. И конных и пеших—цепь. С чего-то страх меня взял, бежал без памяти. И что бы вы думали... Вешалка. Ох же жуть, двенадцать годов мне было, и по сей день помню.

Затем, вспомнив, повернулся к Парчевскому:

— Вот кому бы сегодня доклад читать. Живой свидетель. Хотели мы вас втянуть, да суета... Вы ж на „Саратове“ плавали?..

Трамвай круто поворачивал и вдруг встал, крепко встряхнувшись на остановке.

— На „Саратове“,—повторил Парчевский.—Нет, не плавал...

— Да ну?..

Подвигаясь вперед, любопытно смотрел Зимин.

— Не плавал на „Саратове“, — твердо сказал Парчевский и отодвинулся, пропуская Наташу, которую теснили пассажиры. — Может, однофамилец...

— Здесь можно выходить, — заторопился Парчевский и спрыгнул первым.

За ним сошел Соколов и молча пошел рядом, стараясь поймать ускользнувшую мысль. И как будто эта мысль связывалась с „Саратовом“ и словами Парчевского.

— Да, интересное время, — мечтательно вздыхал Зимин. — Растет Россия. Строится новая Россия. В Москве, в провинции... Знаете, как ни относиться к вам, большевикам, но, право, надо удивляться... Инициатива, размах... Как будто даже не в характере русских.

Далеко впереди шли Наташа и Парчевский, вскидывая едкую, белую пыль.

— Знаете, Соколов работал в чеке, — сказала Наташа. — Вот не могу поверить, чтобы Петя Соколов и вдруг сам, своими руками...

— Ну?..

— ...расстреливал... Я понимаю в бою, сгоряча, а так...

— Смотря за что...

Наташа повернулась к Парчевскому. Темень и рядом высокая серая тень и чужой голос.

— Разве есть такое, за что можно?..

— Есть... — И опять чужая серая тень шагала рядом с Наташей, мягко ступая по пласту пыли и не поворачивая к ней лица.

— Вы странный сегодня. Очень странный... И странный у нас разговор.

Была поздняя, тяжелая луна. Почти не слышно прибое, за обрывом точно не было моря. Пустая, гулкая, чужая тишина.

Зимин, Соколов и Наташа остались на террасе. За кисейной занавеской возился с консервами Парчевский.

— Помочь вам?..

— Готово. — Он поспешно пошел ей навстречу и поставил на стол сыр и варенье в жестянках. Затем сигареты и трубочный табак. Соколов сидел на перилах, а Зимин ходил по террасе, с наслаждением затягиваясь английской сигаретой и вдыхая сладкий медовый дым.

— „Командор“... Откуда это у вас, Виктор Арсеньевич?..

— Из Пирея. От приятеля.

Парчевский возился с самоваром у лесенки. Наташа стояла над ним, упирая сжатые кулаки в карманы серенького костюма, наклонив голову на бок.

— Ну, так как же нам с вами быть?..

Парчевский поднял голову и оглянулся на террасу. Трещина разгоралась лучины и отблеск играл на неподвижном лице.

— Как же быть? — беззвучно, не разжимая губ, повторила Наташа. Он не ответил и поднялся с колен.

Соколов спрыгнул с перил, разминая ноги, потягиваясь, остановился в дверях комнаты Парчевского. Черный, шелковый с летящими птицами китайский платок над походной кроватью, книги на столе и высокий английский чемодан стоймя в углу. Но какое-то неуловимое изменение в расположении вещей, на столе или по стенам. Какая перемена, и в чем... За спиной Соколова мягкие шуршащие шаги.

— Скажите, товарищ Соколов,—говорит Зимин...—Кто собственно наш хозяин? Признаюсь, я смущен. Наташа всегда так... Удивительно общительное существо.

— Хозяин,—повторяет Соколов и вдруг, обрадовавшись, угадывает в чем перемена. На светлых чуть выгоревших обоях, над столом более темный прямоугольник. „Фотография“,—упрямо думает Соколов.

— Сережа, идите пить чай,—зовет Наташа. Соколов идет за Зиминим. И когда Парчевский передает ему стакан, он уже совсем ясно помнит группу офицеров и матросов в три ряда, спасательный круг и надпись „Саратов“ и молодого, чернобородого механика во втором ряду.

Все четверо молча пьют чай.

— Откровенно сказать,—говорит Зимин,—сейчас только чувствуешь усталость. Как-никак две ночи в вагоне...

Соколов смотрит в облака, где скупно мерцают звезды. Ветра нет, упругий, душный воздух и тяжкая тишина.

— Будет гроза.

Парчевский глядит в небо.

— Пожалуй, к ночи... или к утру... Как барометр...

Он идет в комнату и глядит на барометр.

— Давайте поедем,—шепчет Наташа и смотрит на брата и Соколова.

— Неудобно... Сама затеяла...

— Слушайте, Парчевский,—говорит Наташа вернувшемуся,—вы не обидитесь... Сережа устал. Притом гроза... Мы поедем.

Парчевский пожимает плечами, и все, сразу повеселев, встают из-за стола. Парчевский провожает гостей до калитки. Прощаясь, он хочет удержать в своей руке руку Наташи, но она быстро отнимает руку. Хлопает калитка, и в душной тишине голос Зимина и скрип гравия. Внезапный ветер и облако пыли настигают троих свернувших на дорогу, и они ускоряют шаг. Из темноты и пыли, гремя и лязгая, весело выбегает трамвай. Зимин входит в вагон, садится в угол и старается не дремать. Наташа и Соколов остаются на площадке.

— Наташа...—играя ременным пояском, говорит Соколов.—Видали у Парчевского фотографию?.. Ну, раньше, небось видали...

— Когда ж это раньше?

Она глядит в серые, маленькие глазки с золотыми ресницами.

— Когда ж это раньше?

Серые, маленькие глазки шурются и рыжие, золотые ресницы дрожат.

— Ну—видела. А вам зачем?.. Впрочем, если вам интересно...

— Ну?..—усмехается, как будто совсем пустой разговор и покоился на Зимина в вагоне.

— Значит нужно, значит важно. — Почему-то у Наташи злость против Соколова и еще больше против Парчевского. Дурак, в молчанку играет.

— Что вас, собственно, интересует...—Голос сорвался, и сказала почти шопотом: — По поводу фотографии могу вам сказать, — оставилась и вдруг сразу одним духом: — Как мы приехали — снял со стены и спрятал в стол... Видела в окно с террасы... А вам на что?..

Соколов вздохнул и опять заиграл ремешком. Затем поймал руку Наташи и широко улыбнулся.

— Сойду у вокзала. Мне ближе.—И, махнув рукой Зимину, прыгнул в темноту.

Очень далеким, глухим раскатом настигал первый гром, мешаясь с грохотом и лязгом летевшего в темноту вагона. Уже был город, влажная и душная ночь. Но Наташа вдруг вздрогнула. Она вошла в вагон и села в угол. Слегка дрожали колени. Усталость или испуг? Было очень обыкновенно, но вместе с тем страшно, как будто случилось непоправимое.

5. Воробьиная ночь

В городе слабый косой дождь на окраине. Дождь стучит по листьям парка, сечет развалины старых крепостных бастионов, но здесь на дальнем берегу за мысом ливень грохочет по железным листам в пустом доме и ветер рвет облепившиеся обои. В окне комнаты Парчевского то мигает, то светит затяжным бело-лиловым светом молния, и небо с треском и грохотом разламывается на-двое над морем.

Плавным и долгим гулом шуршит вокруг дома ливень, играя разворачивается в небе тугой, громовой раскат и затихает, заглушаемый новым. Ветер гуляет в проломах дверей и окон в пустых комнатах. Пустой дом дрожит, дребезжат стекла в окнах Парчевского и сквозь жалюзи дышит гроза, ливень влажный, парный, живительный ливень. Грохочет железо на крыше и певуче шумит молодая листва и носятся спугнутые воробьи и слабый писк и свист глушат грохот и гул ливня. Парчевский, зажмурясь, сидит у окна и видит сквозь сжатые веки, как долго и разное светят в небе бело-лиловые молнии. И так же зажмурившись, сквозь зеленые жалюзи глядит угол дома, но белый, слепящий свет и тугой ветер проникают в комнату и ветер шелестит и играет разбросанными на столе бумагами, катает по бумагам автоматическое перо и сворачивает в трубку синие листики из блокнота.

Быстрые, густые, мохнатые облака бегут над домом-дуплом, над кровлями дач, над берегом и мысом. Облака уже над самым

городом; и мощный, тяжелый ливень бьет в крыши, в асфальт, и над крышами и мостовой—радужная, водяная пыль. И вот уже ливень над домом Наташи и, может быть, тот же шелестевший бумагами Парчевского ветер теперь вдувает внутрь комнаты Наташи прозрачную занавеску. Наташа сидит на постели и ветер развеивает свисающие до полу русые, тяжелые волосы. Наташа сидит, подпирая кулаком подбородок. Из-под волос виден только круглый мягкий локоть, а иногда угол рта, один угол сжатых, вздрагивающих губ.

По пустынным улицам, убегая от ливня, бежит мотоцикл, его заносит на мокрому и он юлит и грохочет, но не бежит от ливня, а нагоняет его, и косой ливень бешено пляшет в желто-зеленом конусе проектора. Затем, забежав за угол, мотоцикл пробегает квартал за кварталом и долго и визгливо лает у запертых чугунных ворот. Сторож в дождевике, гремя цепью замка, открывает ворота, мотоцикл в'езжает во двор. Из-под кожаного верха корзинки вылезает человек и, с'ежившись, вбегает в под'езд. У него мокрые колени и локти, он бежит, оставляя мокрые следы на паркете, и хлопает тяжелой дверью, на которой указан номер комнаты. Там, не обращая внимания на лужи, которые растекаются по паркету, он расстегивает пиджак и вынимает из-за пазухи толстую папку со старыми пыльными бумагами. Он сразмаху бросает их на стол и пыль летит облачком, вверх от старых бумаг. Глуше шуршит ливень и реже раскаты, но белые и лиловые молнии еще играют за окном. Мокрый человек срывает трубку с рычага и говорит отсыревшим, охрипшим голосом — Дежурного сотрудника к Соколову.

Мутные, широкие потоки бегут по асфальту и смывают сырой цвет акации, окурки, мусор и грязь по порговым спускам в порт, в гавань. Неукротимая, свежая зелень бурно стряхивает тяжелые капли на асфальт. Над застывшей бухтой мигают потухающие молнии. Ливень уходит, шагая через бухту, на дальний, степной берег.

Тихий рассвет над высоким берегом и над обрывом, где пустая дача, дом, дупло, жильё Виктора Парчевского. И он сидит, откинувшись в легкое, камышевое кресло, и кусает зубами потухшую трубку. Сквозной ветер разогнал по углам синий разорванный в клочья листок из блокнота. Парчевский встает и открывает дверь настежь. Очень далеко и тускло играют молнии и слабо мерцают звезды в уносящихся, разорванных тучах. Полированные, мокрые камешки гравия отблескивают металлом. Над крышей все еще носятся потревоженные, напуганные грозой воробьи. Мигают огни дальних дач и ровно и тихо светит большая, утренняя звезда или дальний маяк. Затем Парчевскому чудится что-то похожее на стук мотора и легкий шорох и треск шин по мокрому гравия. Он слушает и решает, что это только шорох листьев и водяных капель и закрывает дверь на задвижку. Потом расстегивает воротник и идет к рукомойнику. И вдруг явственно слышит треск гравия и шаги под окном на террасе. И видит две тени, осторожно поднимающиеся по лестнице на террасу, и окликает их.

— Гражданин Парчевский,—помедлив, говорит один и берется за ручку двери.

— Погодите, я открою...

Парчевский открывает дверь. На пороге стоит человек в военной форме с парусиновым портфелем в руке. Затем входят еще двое. Один открывает портфель и дает Парчевскому сложенный вчетверо лист бумаги. Парчевский идет к двери и читает.

Это ордер на обыск и арест гражданина Виктора Арсеньевича Парчевского. И, когда Парчевский поднимает глаза и смотрит на человека с портфелем, он видит у него в правой руке черный вороненый наган дулом книзу.

6. День и вечер

Листья каштанов, и песок, и выбеленные известкой заборы крепко вымыты ливнем и утреннее серо-голубое море зацветает огненными лепестками на гребнях легкой волны. На золотом берегу, на пляже больно глазам от белых, как мел, заборов, от белых, и смуглых, и мокрых тел на песке, и пестрых и всех цветов коротеньких купальных костюмов. Море кипит у берега от плавающих, ныряющих, плещущих в воде тел, от плеска, смеха и визга. На горизонте ловят треугольными парусами ветер ялики и медленно плывет оседая дым, память об утреннем, ушедшем в крымский рейс пароходе. И далеко от кипящей телами береговой воды плавает по-мужски, разрезая ладонями воду и выбрасываясь из волны, Наташа Зимина. Если глядеть сверху, вода желто-зеленая, мутно-прозрачная, но, чем глубже, тем темнее, тем сумрачнее холодноватое море. В золотых лепестках против солнца качается буюк, ржавое железное кольцо на ржавом конусе, и Наташа плывет к буйку, к мокрому кольцу, поднимающемуся и падающему в золотые огни на гребешках мелкой волны. Как большой, нелепый плод, ворочается на воде у буйка круглая голова в зеленом колпаке. Всплескивают, как большие рыбы, белые, мокрые руки и круглые, точно женские плечи. Мотая головой, легко и быстро плывет толстяк в зеленом колпачке, сплевывая горькую воду, и первый хватается мягкой и пухлой рукой за ржавое кольцо буйка. Золотая полоска обручального кольца, звякнув, ударяет о железо. Наташа тоже подплывает к буйку и протягивает руку.

— Доброе утро,—пыхтя и отплевываясь, кричит толстяк.

— Здравствуйте, Аркадий Павлыч,—кричит Наташа. В море тихо и сюда не долетают голоса с берега, но от моря, солнца и утра хочется кричать и делать сильные движения.

— Холодновато?..

— Ну, что вы, пятнадцать!..

— Потеплело после ливня.

С зеленого, мокрого колпачка вода течет в маленькие, мясистые уши, в короткие мокрые усы и в рот и толстяк сильно трясет головой. Затем, закрывшись ладонью от солнца, он смотрит на круглые

плечи девушки и золотистый загар северянки. Косое солнце светит поверх волны и в глубине в мутно-зеленой воде толстяк видит только мягкие, расплывающиеся контуры. Наташа ловит быстрый и лукавый взгляд и ударяет ладонью по воде, и золотые брызги попадают в полуоткрытый рот и зажмуренные глаза толстяка, затем она отпускает тяжелое, ржавое кольцо и соскальзывает в воду и, легко всплеснув, ныряет. Мокрая, точно остриженная золотая голова показывается сбоку буйка, и толстяк кричит, размахивая короткой и пухлой рукой:

— Буду ждать в буфете... Поболтаем.

Наташа плывет к берегу, и плывут смех, и визг, и плеск, и загорелые тела на песке. Она уже касается дна. Земля, мокрый песок щекочет ей ноги и вода отдает ее земле, соленая, прохладная стихия отдает ее сухой и горячей земле. Плоские, нагретые солнцем камешки обжигают ноги, и Наташа входит в мягкий ветерок и теплый воздух и содрогается от тепла приливающей к коже крови. Вместе с тем какая прохлада и усталость, и радость от того, что так чувствуешь жизнь.

Потом уже одетая она поднимается по дорожке, ноги вязнут в песке и солнце светит в глаза и снова жарко, но от купания, от холодной волны все еще осталась убывающая прохлада и тихая и радостная усталость. В буфете, в необъятном белом кителе машет короткими ручками Аркадий Павлович Султанов и показывает на стул рядом с собой. Солнце светится в правильном кружке лысины, мокрые волосики над мясистыми ушками, он весь влажный, пахнущий солью от испарины.

— Пивка или нарзану?..

— Вы почему не в правлении?..

— Я—начальство,—говорит, отдуваясь, Султанов и подмигивает Наташе.—За меня и Сережка посидит.

И весело жмурится на девушку в легком платье на свету.

— Хороша Маша...

— Ну, ладно, ладно—слыхали...

— Был бы холостой—враз женился...

— Кто за вас пойдет?..

— Затеяли мы в воскресенье пикничек по случаю приезда Сережи... Слышите?

Но Наташа смотрит туда, где будка, где толпа у кассы.

— Кого ждете?..

— Никого.

— Ой, не темните.

Быстро перебирая ногами, бежит с полотенцем в руке Ройзман, и Султанов машет ему рукой.

— Ну, здравствуйте,—торопливо говорит Ройзман и, прикрывая ладонью глаза, смотрит вниз, на берег, на тела на песке.—На полчасика вырвался и назад в редакцию...

— Эй,—окликает Султанов и хватает его за локоть,—насчет Парчевского есть новости?..

— Какие новости?—торопливо и не совсем твердо говорит Наташа...—Почему новости?..

— Милая,—радостно вскрикивает Султанов,—вы газет не читаете?.. Сенсация...—и он роется в карманах кителя.

— Ничего нового,—наскоро говорит Ройзман,—то-есть, вероятно, есть, но нельзя оглашать материалы следствия... Хотя в общем дело ясно.

— Что ясно?.. Послушайте, что же ясно?—настойчиво говорит Наташа...

— Вот,—с удовольствием восклицает Султанов и разглаживает мятую газету.—Молодчина Соколов—раскрыл. Парчевский—охранник...

Почему так тихо? Почему солнце, и море, и берег, как сквозь частую, дрожащую сетку, и Наташа одна на страшной высоте и уже чуть слышно море, и крики, и плеск?..

Ройзман перекидывает полотенце через плечо...

— Мало ли что бывает... Я сам не мог подумать... Вполне приличный товарищ...

— Милочка, бутерброд с сыром,—кричит девушке из буфета Султанов,—и получите... Я его лично не знал и, признаюсь, очень рад... Неприятное знакомство. Ройзман, когда его взяли?

— Ночью,—говорит Ройзман и, махнув полотенцем, сбегает вниз.

Строки, буквы, столбцы газеты троятся и пляшут в глазах Наташи и все-таки образуют слова „Саратов“... нелегальный союз... пять матросов... казнь... Холодное поле... Охранник „Рябина“... Парчевский. „Рябина“! „Рябина“! Горькая ягода.

— Да нет же!.. Невозможно,—очень тихо говорит Наташа и смотрит и ждет.

— Все возможно,—отвечает с довольным видом Султанов, надкусывая бутерброд.—Люди, понимаете ли, милая моя... надо уметь разбираться...

Но вдруг он умолкает и странно смотрит на Наташу.

— Слушайте,—говорит она.—Мне очень... плохо... домой.

В пять часов возвращается Зимин. Он ходит, сердито покашливая, в своей комнате, шуршит газетой и швыряет стулья. Затем подходит к дверям Наташиной комнаты и трогает ручку двери. Дверь заперта на задвижку.

— Вот,—говорит назидательно Зимин.—Вот что значит неразборчивые знакомства.

Голос его звучит не совсем уверенно. Но за дверями тихо. Тихо скрипят пружины дивана.

— Кончится тем, что придется отсюда уехать. Чорт знает что... Толки и сплетни. И все из-за тебя.

— Отстань! Отстань! — вскрикивает Наташа и звенит разбитое стекло и за дверью всхлипывания и тихий плач.

Закат, и солнце падает по вертикали на горизонт, и день гаснет сразу в коротких сумерках. Раньше здесь был зал барского особняка,

зал с карнизом в пышных завитках, похожих на сливочные завитки торта. Из зала ход в зимний сад. Теперь там приемная, но в полутемной комнате навсегда остался запах сырости, влажной земли и комнатных растений. Что же изменилось в самом зале? На месте белого Эраровского рояля стоит стол с красной до пола скатертью и стулья вдоль стен. Тяжелые, высокие стулья с высокими спинками. По одну сторону стола кресло, два стула по другую сторону. Но в золотом багете двери, в золотом прямоугольнике печатный № 2 и надпись „губпрокурор“. И прокурор Семен Семеныч Узлов, коренастый седенький с остроконечной бородкой, сидит в кресле так, как сидит на портрете над ним коренастый человек с бородкой. По другую сторону стола ворочается на стуле потный распаренный Пашнев и с трудом находит слова:

— Ну, в девятнадцатом... Не первый год знаю... Свой парень...

— Ручаешься?—спросил прокурор и усмехнулся.—Ну, ежели сам ручаешься...

— А что... Ну и поручусь!.. И подпишу...

Против Пашнева на другом стуле сидел Соколов и, подперев кулаком голову, смотрел вверх.

— Ой, повремени, Ваня,—сказал Соколов, глядя вверх.—Больно охочи вы на подписи.

— А что ж, и дам,—падающим голосом повторил Пашнев и потянул носом.—Говорю—свой парень. Я ж у него на анкете значусь.

— Об этом особый разговор,—сказал прокурор.—За это тебе намылят холку по партийной линии.

Пашнев поднял руку с растопыренными пальцами и потряс в воздухе.

— Я за человека как стена... Не пугай. Прошлый год припаяли Брунту три с изоляцией, я слова не сказал... Потому—арап. А этому что приплели. Ты сам должен понимать, Соколов. Одни вши ели, на одной шинели спали под Царицыном. Такое возвести. Это ж—стенка.

— Стало быть, не веришь?—хрипло сказал Соколов.

— Ни в какую.

Соколов посмотрел на прокурора. Тот подумал и кивнул головой.

— А ежели своими глазами.

— Ну, тогда...

— Гляди.—Соколов вынул из портфеля плотно подшитое дело в новенькой зеленой обложке. Затем открыл дело, отогнул страницу, хлопнул по ней рукой и показал Пашневу отчеркнутую в углу цветным карандашом. Синие, подклеенные клочки на белом листе.

Потрескивал нагретый солнцем паркет. Тихо.

— Июда...—сказал Пашнев и встал. Затем вытер влажный лоб и пошел к двери. У порога он поскользнулся на паркете и схватился за стену. Соколов спрятал дело в портфель и вышел в другую дверь.

Из комнаты с деревянной скамьей и решетками в окнах Парчевского ведут длинным полутемным коридором мимо многих дверей

с наклеенными номерами и мимо фанерной перегородки, оклеенной плакатами. Опять поворот и опять коридор и в конце его длинное окно с цветными стеклышками. Против света от окна прямо на Парчевского идет странно знакомый большой человек, и шаг за шагом сближаются Парчевский, конвоиры и этот человек. И вдруг он отшатывается к стене, припадает к стене и глядит. Парчевский лицом к лицу видит Пашнева. Вз'ерошенные, влажные, прилипшие ко лбу волосы и выкатившиеся, изумленные и страшные глаза, которые как будто впервые видят Парчевского. Рот Пашнева полуоткрыт и видны белые, ровные зубы, закусившие нижнюю губу, и голова уходит в плечи.

— Ваня,—хочет позвать Парчевский, но у него мертвеют губы, и он проходит меж двух конвоиров, не смея оглянуться в эти белые, выкатившиеся, изумленные глаза. Тяжелое, надорванное дыхание за спиной Парчевского.

Впереди конвоир открывает дверь и входит в комнату, другой ждет, пока войдет Парчевский. Против света за столом сидит Соколов. У Соколова красные веки и линии щек и подбородка не мягкие и круглые, как всегда, а острые, сухие, обтянутые кожей. И глаза не серо-голубые, а пустые, прозрачные, ввалившиеся глаза. Глаза смотрят по сторонам, но они, конечно, видят только—Парчевского.

— Садитесь,—говорит Соколов, и звонко щелкает застёжка портфеля.

Парчевский садится и видит под портфелем Соколова плоский браунинг, обращенный дулом к нему.

— Садитесь, гражданин...—покашливая, говорит Соколов.—Парчевский настоящая ваша фамилия?..

Затем он спрашивает о годе и месте рождения, о родителях, роде занятий.

Парчевский отвечает, но вдруг спрашивает устало и сердито:

— Послушайте, в чем дело?..

Соколов открывает портфель, и Парчевский видит уголок фотографии и тетрадку в клеенчатом переплете и зеленую обертку дела.

— Вот оно какое дело,—растягивая слова, говорит Соколов,—вот оно какое... Вы плавали на „Саратове“...

Он ждет, но Парчевский молчит и продолжает Соколов:

— Вы плавали на „Саратове“ с тысяча девятьсот третьего по тысяча девятьсот девятой. Дело ясное. Вот судовая роль,—и он раскрывает дело в зеленой обложке.—Затем вот... Можно было вчера не прятать,—и он показывает фотографию.

Матросы и командный состав и Парчевский во втором ряду. Спасательный круг и на нем надпись „Саратов“.

— Ну, что ж...—глухо говорит Парчевский, и это не вопрос, а признание.

— Затем,—говорит, сдвинувшись с места и подавшись вперед, Соколов,—может, об'ясните, что означает...—и он открывает клеенчатую тетрадку на загнутой странице и читает:

„... Чего не было за двадцать с лишним лет, о чем не хочется думать, а вот лезет через двадцать лет, и кажется, подамся я опять на восток“...

Парчевский молча смотрит на Соколова и на клеенчатую тетрадку.

— И еще что,—говорит Соколов и открывает дело и показывает на чистом листе подклеенные синие клочки листка из блокнота: „...Сегодня случилось такое, что поле старое полезло наружу и зовет через двадцать лет к расчету и, надо прямо сказать, не ко времени. Лучше вам меня не знать и не видеть, очень уж на мне большая вина и очень вас жалко“... Достаточно с вас? а?.. Так вот, гражданин Парчевский,—сквозь сжатые зубы говорит Соколов,—не знаю, как вас называть, так вот, гражданин, выходит из вами писанных слов, вы и есть двадцать лет назад...—и вдруг, не сдержавшись, ударив кулаком по столу, весь дрожа и скрипя зубами:—Охранник! что глядишь? охранник „Рябина“! Понял?..

(Окончание следует)



Синие глаза

Неумирающей памяти
любимого сына,
Леонида.

ИЛЬЯ САДОФЬЕВ

Чтоб не припомнил—все не то,
Слова сгорают на весу;
И верные не принесут —
Живого воздуха глоток...

Уж коль земля так не добра:
Гостеприимством поскупилась, —
Была ль ему охота брать
Неласковую жизнь как милость!?

Желанным весело гостить
И наливаться зрелым плодом,
А он зашел к нам мимоходом —
Последнее сказать прости...

И только синие глаза
Встревоженной не скрыли грусти.
Тогда лишь вспомнилось сказать, —
Побудь... останься... не отпустим...

Но поздно ласку расточать
И листопад багряных слов,
Когда земля не горяча —
Как человечье ремесло.

Непостижим любви запас,
Когда устало сердце биться
И закрываются ресницы
В последний раз...

.....

Тюрьмы печальной дом
И хлеб горчей полыни,
Затмилось, не пойдем —
Его ли тело стынет?..

Так жизнь еще свежа, —
Быть может, и проснется...
Как будто рот разжат,
Иль это смерть смеется?..

Так значит в просинь глаз
Нам больше не глядеть!?
Иль это день погас,
Осенний синий день...

Смесился сумрак гуще
И чаянья в запрете,
Где гроб спокойный грузчик —
Немой свидетель смерти...

А кто же завтра скажет
Так ласково и мудро:
«Я первым встал на стражу,
Светает, — с добрым утром»?

И медленная память,
Как древний звездочет,
Недолгой жизни знамя
Над гробом развернет...

И завтра ж, у могилы,
Страданья укрощать...
— Желанный, кроткий, милый!
Прощай... Прощай... Прощай...
.....

...Зови не зови — назад
Не придет, не раскроет глаза...

Ночь напролет, грусти не грусти, —
На земле ему никогда не гостить...

Потому любовь и печаль горячи,
И мать от слез нельзя отучить.

Недаром так часто видит во сне —
Синь незабудок в полях по весне...

И будто на мать незабудки глядят —
Сотнями глаз вихрастых ребят...

Проснется и плачет: «Ласковый сын,
Не выпало во-время теплой росы...»

Ее не заставишь поверить словам:
Могла ль не поблекнуть глаз синева?

Знает одно—земля не добра,
На влагу скупа была по утрам.

Еще скупей человечья любовь,
Потому и остыла сыновняя кровь.

Желанным и сытым гостить хорошо,
А он необласканным мимо прошел...

Слез не осушит простой рассказ—
В какие дни он наведал нас.

Не эту ли землю ночью и днем—
Пытали железом, жгли огнем!

И было так мало радостных ветрен,
И живые живых разучились беречь...



Общедоступная история стихотворцев

Н. ТИХОНОВ

Пора проверить окрестности,
Кончая с неточными толками,
В любой населенной местности
Стихотворцы пасутся толпами.

Они одинаковы как торцы,
У каждого есть однако
Клей — для особых услуг щипцы,
Ведро разведенного лака.

Ножницы рядом под рукой,
Таков арсенал победы,
Размеры и рифмы находят легко
Щипцами в карманах соседа.

Затем из газет имена вождей
Стригут и спутав старательно
С метафорой жиденькой — вместо дрожжей
Разводят ряд прилагательных.

Встряхнув остыть немного дают
И, клеем соединивши,
Ставят вариться похлебку свою
От бедности — не посоливши —

Красного лака пускают тут
Застыть на словесной массе —
Блестит лакированный пресный пруд,
И вот тебе новый классик.

Похлебка в журнальный котел на приход
Записана между прочим:
Читатель читает (читатель растет),
Читатель читать не хочет.

Товарищи! Вывод отсюда какой...
Ведь надо по чести взвесить —
Не стоит делать приемный покой
Из самой веселой профессии...

Чертухинский Балакирь

Р о м а н

СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ

(Продолжение ¹)

Недотепин армяк

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Лед и вода

Теперь если вспомнить, что приключилось с Петром Кирилычем, да все уложить по порядку, так, правда, будет чудно: что в самом-то деле был этот Антютик аль нет?.. Али им совсем и не пахло и каким-то боком тут ко всему прислонился хитрый мужик Спиридон Емельяныч?..

Время—большая квашня, за такой срок так все перемутится, что и концов нигде не найдешь!..

Только и сам Петр Кирилыч, когда он вошел за Спиридоном в переднюю избу и у него в глазах мельком проголубело крыльцо и надвходной голубок крылышком махнул на него, сам Петр Кирилыч, засевши в красный угол, куда его Спиридон посадил, долго, не моргнув, смотрел на Спиридона, на его чуть поседевшую не по летам пышную скобку с кольцеватым загривком, на длинную поддевку ниже колен, глядел на всю эту непривычную мужицкому глазу чистоту и зажиток, которые так и кидались из каждого угла на глаза: лавки покрыты полотенцами, хоть и не праздник, на иконах дорогие оклады, стекла на них—не заметишь, по божнице идут из разноцветной бумаги кремли и по всем стенам картинки, каких и на чагодуйском базаре не сыщешь, на полу ширинки лежат, печка стоит в уголке, а не по середке, как у брата Акима, в глаз так и бьет белизной от нее,—словом, не мог сперва Петр Кирилыч хорошенько решить: что это перед ним сидит и в самом деле мельник Спиридон Емельяныч, али все тот же... Антютик: увел Петра Кирилыча на темный глаз поутру в заплотинное царство и теперь смеется его удивленью: Спиридон и в самом деле слегка улыбался..

¹) См. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 «Нового Мира».

— Что это такое с тобой, Петр Кирилыч, творится?..—спросил Спиридон, рассеившись на лавку и показавши Маше на угол, где не на что было присесть.

Ласково смотрит Спиридон на Петра Кирилыча, а у самого глаза так и бегают по всему, словно спрятать что от Петра Кирилыча хочут, и Маша в сторонке стоит, на Петра Кирилыча пугливо озирается, во всем чудится Петру Кирилычу опаска перед ним и тревога, видно он что-то нарушил и что-то узнал, чего знать бы ему не доводилось.

— Что это с тобой, Петр Кирилыч? Ты ведь такой дурниной кричал.

Послышалось Петру Кирилычу в этом вопросе большое участие к нему и так хорошо у Спиридона при этом засветились не по-стариковски под пушистыми бровями глаза, что сразу язык у него развязался и Петр Кирилыч понес обо всем: как в лесу Анютютика встретил, как ходили они с ним сватать дубенскую девку, что видел и слышал от этого Анютютика... как ставил на сома возле плеса—одним словом, до самой коряги дошел... но ни об ней ничего, ни про Феклушу не промолвился словом, потому что теперь и сам думал, что коряга была как коряга, занесло ее-де в половодье в овраг весенней водой, а... Феклуша?.. Какая же это Феклуша, коли это была самая настоящая... дубенская девка... только Петр Кирилыч не сумел взять свое счастье, потому что хотя и складный из себя мужик, а... нерасторопен.

Слушает его Спиридон, широко расставивши ноги и полбороды заправивши в рот, оперся о стол широкой ладонью и пальцами по нему слегка барабанит. Кажется Петру Кирилычу, что Спиридон в бороду немного смеется, но не так это заметно, чтобы можно было на эту усмешку обидеться, потому что, конечно, и вправду ведь в неудаче Петра Кирилыча все же мало смешного.

„Говорить ему али нет что, больно он на Анютютика всхож?“— думает про себя Петр Кирилыч, путая все больше в своем рассказе и сам сбиваясь с толку от этой близости и похожести Спиридона,— пожалуй, чего доброго обидится старик... он ведь по слухам: духовой! ...не гляди на него, что сидит перед тобой и, как молодой месяц, светит... через минуту может случиться... бровью только моргнет и... от тебя звания никакого не останется...

Петр Кирилыч, думая так, не к слову замолчал, глядя Спиридону прямо в глаза. Спиридон прожевал бороду, отвернулся от Петра Кирилыча и принялся ее спокойно разглаживать широкой, как заслонка, ладонью.

Маша, глядя на это поглаживанье, еще пуще побледнела в углу и руки, опущенные вниз, у нее задрожали: в сердцах отец али и в самом деле Петр Кирилыч ему пришелся по духу и что Маше будет за то, что она Петру Кирилычу проболталась с дура да радости обо всем, о чем раньше бы из нее клещами слова не вырвать, потому что и сама она свыклась с отцовской верой, кажется, в огонь бы и в воду пошла и скорей удавилась бы на тонкой веревке от мутовки в кор-

чаге, чем ни с того, ни с сего обмолвиться словом чужому человеку и на отца, может, накликать беду.

„Знать уж... быть такому греху!“—не раз подумала Маша со вздохом, еще не понимая и не разгадав, как обо всем этом думает сам Спиридон и как он поступит с Петром Кирилычем, который знает теперь, куда Спиридон Емельяныч убирает на зиму картохлю?..

Но по лицу Спиридона никогда ничего не поймешь...

— Так, Петр Кирилыч... так... друг сердешный...—говорит спокойно Спиридон Емельяныч, видя, что Петр Кирилыч на самом нужном месте осекся и глядит на него, не сморгнет,—так... не даром тебя люди прозвали балакирь—ни лошадь, ни кобыла... не было вроде, а... было!.. так... ну а... хочу я спросить... о боге как ты понимаешь? о боге... как ты?..—повернулся быстро Спиридон, словно ветром каким на него дунуло, опять по столу забарабанили пальцы, бороду еще больше заправил в рот и так смотрит на Петра Кирилыча, будто только это и интересно ему от него услышать, а что там дальше с ним было да приключилось, этого Спиридону знать нет особой нужды...

Петр Кирилыч поднялся с лавки, полотенце на пол свалил, и руки расставил:

— Я... Спиридон Емельяныч, человек не божественный... живу, как бог на душу положит!

— Да-а... Петр Кирилыч... так оно, пожалуй, и лучше... потому, что то же на то же выходит... а все же... ежели такое дело случилось: ты ведь, сколько я пойму, сватаешь... Машку (так и огрел глазами Спиридон бледную Машу!..) сколько пойму... так нам, Петр Кирилыч, подумать бы вместе!?

— Дык что ж, Спиридон Емельяныч...—подался Петр Кирилыч весь к Спиридону,—разве я отпираюсь... только я говорю, что по этой самой части слабенею... в церковь редко хожу... люди к заутрени, а я... по грибы... али забор подпирать в огороде: надо же правду сказать!..

— Правду говорить вот как надо... соврать всякий сумеет!..

— ...Так и я же про то же... что сказать?.. я не... поп!..

— И не дьякон!—засмеялся Спиридон во всю бороду, встал с лавки и не торопясь положил за Петром Кирилычем полотенце на место, расширился во все свои непомерные плечи и, все еще улыбаясь, потрепал Петра Кирилыча по загривку, — денежки на кон!.. Не отдал бы я тебе свою Машку, Петр Кирилыч, за деньги, а... теперь, брат...

Маша закрылась рукой, Петр же Кирилыч еще шире руки расставил.

— ...бери, Петр Кирилыч, задаром!..

— Батюшка!—всполохнулась Маша из угла, словно курица оттуда прокудахтала, протянула она руки к отцу и то ли просила простить ее и пощадить, то ли благодарила за такое быстрое решение отца, которое было ей, судя по всему, по душе...

— Молчи! — грозно топнул Спиридон, обернувшись к Маше, инда под ногой половица погнулась и звонко отдалось в стекле, — молчи! — занес было руку, потом опустил, с минуту подумав, снова поднял и, сложивши крест высоко над головой, как будто крестом хотел Машу ударить, подошел к ней и... благословил:

— Поди нарядись... полудурье... Чего ты на сговор вышла... фефелой, иль за ночь сестрин сарафан износила?..

Грохнулась Маша Спиридон Емельянычу в ноги, схватила его за сапоги и стукнулась громко в них лбом, потом поднялась с опухшими глазами и с большой слезой на левой щеке, поклонилась снова в пояс сначала отцу, потом Петру Кирилычу и, не разгибаясь от поклона, бросилась к двери... Петр Кирилыч не знал как ответить и потому неловко только мотнул головой на Машин поклон.

* * *

— Что ж, Петр Кирилыч... дело оно не плохое, — начал Спиридон совсем другим голосом, как будто ничего не случилось и на Машу он совсем не кричал, а так уж это и нужно: отцовский обычай, только брови лежали над глазами, словно волчьи хвосты, на которые Петр Кирилыч не мог глянуть без страха, — ты садись, Петр Кирилыч: в ногах правды нету... что ж... говорю, вместе небось мельничать будем: не все же тебе молоть языком!..

— Да разве я прочь от дела, Спиридон Емельяныч? — оживился Петр Кирилыч...

— Пора!

— И Маше хорошо будет со мной, — прибавил Петр Кирилыч, не зная, что дальше сказать Спиридону, когда у него над глазами от каждого слова волчьи хвосты так и растут... и из-под них зелень идет...

— Доброе слово... только вот с тобой нам как будет обоим?

Петр Кирилыч не сразу нашелся ответить... раздумался, что про него сторонкой судачат в деревне и тихо ответил:

— Я не разбойник, Спиридон Емельяныч!..

— Разбойников я... не боюсь, — вскинул голову Спиридон Емельяныч, — чего я боюсь, сказать тебе, так не поверишь, пожалуй! — хитро сморгнул Спиридон и улыбнулся.

...С водонос непомерные плечи, руки, — говорили, — Спиридон ими безо всего выворачивал пни и таскал из земли молодые деревья, как ребят за вихры, да еще то, чего Спиридону с такою силищей бояться...

— Боюсь я пуще всего, Петр Кирилыч, знаешь кого?.. Отца Микалая!..

С этим словом Петр Кирилыч припомнил странный звон, который он слышал с обрыва, когда они с Машей шли по берегу недалеко от моста и Маша обмолвилась о Спиридоновой вере, вспомнил

все, что болтали в свое время про брата Спиридона, Андрея, и без дальних слов обо всем догадался.

„Так вот оно что!“—подумал Петр Кирилыч и, немного думая, выпалил, как из ружья, в Спиридона:

— Спиридон Емельяныч... возьми меня в свою веру!

Спиридон даже немного шатнулся:

— Человек—не кулек, под мышку его не ухватишь, а вера в человеке: вот здесь!

Спиридон Емельяныч показал на пупок:

— В самой середке!..

— Ну, так тогда: научи!.. богу молиться и верить... сделай милость такую!.. Я еще хорошо-то ни в одну веру... не верил...

— Молись, Петр Кирилыч, так же, как и живи, а живи так, будто... читаешь молитву... вот и вся недолга!..

— Молитвы я знаю, Спиридон Емельяныч...

— Знаю, что знаешь... небось не татарин... не то: надо вызнать в человеке самое главное!

— Ну вот и скажи: что же в человеке по-твоему выходит главнее... всего?

— Всего главнее, Петр Кирилыч: плоть в человеке!

— А ведь и верно... пожалуй, — простодушно согласился Петр Кирилыч.

— Плотен мир, Петр Кирилыч... во-вторых же, самое главное — дух!.. Только: что есть плоть в человеке и что в человеке есть дух?..

Петр Кирилыч так и уперся в Спиридона, Спиридон же в плечах будто еще шире раздался, на лицо весь просветлел, словно невидимые руки зажгли большую лампаду, у которой стоял Спиридон, опираясь в оконный косяк, борода заходила волной и как у молодого от широкой улыбки в бороде сверкнули белизной крепкие зубы:

— Сказано-бо в Книге „Златые Уста“: Плоть в человеке крепка и упорна, как зимний лед на реке, дух же прозрачен и чист, как вода речная под ним, бегущая по золотому песку чисел, сроков и лет!.. Растает лед на реке и сольется в виде стоялой и отяжелевшей за зиму воды с весенней веселой водою, тогда придет на землю весна и поднимет над головой высокую чашу, до края налитую светом, и из чаши вечный жених отопьет только глоток!.. Сотлеет упорная плоть и сольется с духом текучим, рассыпавшись прахом, смерть с дороги под окно завернет и подаянья попросит и никто ей в куске не откажет и даст самый лучший кусок!.. Вот что плоть в человеке и что в человеке есть дух!

— Ду-у-у-х! — зачарованно передохнул Петр Кирилыч, схватившись рукой за глаза, будто больно им было от света, идущего от Спиридоновых слов и от самого Спиридона...

— Сказано-бо было и то: человек в землю уходит, чтоб сбросить в земле истлевшую плоть и жить в плоти плоти... Сиречь речь говорится—в неокончаемом духе, ибо дух есть нетленная плоть... но человеку не легко расставаться с землей и с земною любовью, как и змее вылезать из старой обшарпанной кожи... Значит: дух в человеке и плоть, лед и вода, суть два закона одного естества и оба их надо исполнить и ни одним нельзя пренебречь...

Спиридон обмахнул лоб рукавом и замолчал.

— Поэтому... по этой книге выходит: монахи стараются... зря?—спрашивает Петр Кирилыч...

— Здря... потому: лед и... вода!..

— То-есть как, Спиридон Емельяныч?—переспросил Петр Кирилыч.

— Да так... Так на так: выходит эдак!

Хотел Спиридон Емельяныч еще что-то прибавить, но за спиной у него чуть скрипнула дверь, Спиридон на слове запнулся и опять замолчал... замолчал и Петр Кирилыч: в двери показалась Маша в голубом сарафане, который ей подарила Феклуша, в белой шелковой косынке на голове, на которой цвели чуть заметным рисунком цветочки.

Петр Кирилыч уставился на Машу и сначала глазам не поверил: уж то ли срядя на человеке такую силу имеет, то ли еще совсем-то не пришел в себя Петр Кирилыч, только таких девок Петр Кирилыч не видел с роду родов... разве вот, когда в первую ночь Анютютик показал ему дубенское дно и у плотины ворота раскрылись... только там было все ночью в луну, да и... было ли в самом-то деле?.. уго-раздился же сказать Спиридон: не было вроде, а... было!— а тут: белый день, Машу можно за руку взять... колокольчики по подолу и спереди падают вниз по каемке... белый платок из чистого шелку, индо хрустит от него на зубах... на плечах расфуфырка, а в расфуфырках известно: девку можно понять и этак, и так, а какая она на самом-то деле?..

— Девка вроде как ничего?!—шутит Спиридон Емельяныч, оглядывая Машу и подводя к ней Петра Кирилыча за руку,—только что же это ты сама-то нарядилась, а жених так и будет в рубахе?.. Поди... принеси-ка... армяк!.. свечи поправь, да... вздуй поярче лампы!

— Слушаю, батюшка,—пропела Маша тонким голоском и неторопливо пошла за печку... прозвенели с нее колокольчики на всю избу... и вот теперь уж чуть слышно, как из самой земли золотым звоном звенят они под ногами, а под ногами в этом месте по всему должно быть заплотинное царство, где хоть все и так же, как и у нас, но живут там не по-нашенски, а... совсем по-другому!.. не хотелось Петру Кирилычу больше ни о чем говорить со Спиридоном, хитрый он все же мужик, да и сам Спиридон, видно, любил больше молчать: стоят они возле печки и смотрят под ноги... Не скоро Маша вернулась...

— Прими, батюшка!—поклонилась Маша отцу.

Спиридон осенился широким крестом и развязал узелок.

— Крестись, Петр Кирилыч, только крестись уж по-нашему, а... не шепотью... так будешь нюхать табак... Вот как,—сложил он Петру Кирилычу пальцы, как благословляют попы, в двуперстие, — крестись на одёжу. вишь какой армячок... в ем один мужик на тот свет было собрался, да... его непустили.

Петр Кирилыч принял слова Спиридона за шутку:

— Скажешь еще, Спиридон Емельяныч!..

— Право слово... что ты такой за... Фома: срядили монахом и вместо Ивана... назвали... Петром!..

— Диковина!—усмехнулся Петр Кирилыч и неловко полез в рукава.

Пришелся ему армяк в самую пору, словно стеган по мерке, Спиридон перекрестился, глядя на Петра Кирилыча, перекрестилась и Маша, и Петр Кирилыч почувал в своей руке ее холодную руку.

— С богом!—сказал Спиридон и, откинув полог у печки, на глазах у Петра Кирилыча стал... опускаться... оттуда заголубело, крепко ударил в нос Петру Кирилычу ладанный дух, и дневной свет смешался с подпольным меркотным светом.

Седьмое небо

Петр Кирилыч сходил за Машей по крутым ступенькам наощупь, зажмуря глаза и держась за сердце, и в самом деле немного ослепши от этой быстрой смены тусклого непогожего света на призрачный, больно бьющий в воспаленные глазницы свет от разноцветных лампад.

Сквозь дрожащие от полыханья огней ресницы видятся они Петру Кирилычу везде в памерках подполицы в великом множестве, голубые и синие, желтые и розовые, все на золотых витых цепочках, тонких с широкими бантами из разноцветных лент, какими девки в Троицу себе повязывают косы перед хороводом. Чувствовалась в этих лентах тоскующая, причудливая девичья рука, отведенная от Машиного сердца строгой отцовской рукой.

Мерцают лампы с обоих боков на Петра Кирилыча, уходя в самую глубь под'избицы, и там синь густеет и мглился, как в глубокой плотине вода. Проморгались у Петра Кирилыча изумленные глаза, только когда Маша остановилась и больно зажала в погорячевших пальцах его правую руку:

— Сложи, Петр Кирилыч, руки... на сердце,—слышит он Машин шепоток,—сейчас тятюшка службу служить будет!..

Петр Кирилыч улыбнулся, взглянув на Машу, с какой строгой важностью она это сказала, и по-столоверски сложил на груди руки. Радостно и необычно было для него это меркотное лампадное сиянье,

мельканье и подмигиванье изо всех уголков, куда ни взглянешь, спереди и с боков играют огоньки, словно в гулючки, и сама под'избица кажется такая большая:

„Должно, что во весь дом хватит“, — хозяйственно прикинул Петр Кирилыч, еле различивши в темноте заднюю стену.

В глазах скопилась густая и неподвижная синь, то ли от ладанного дыму, которому никакого выхода отсюда не было, кроме как в землю и он оседал синезеленым чадом, собираясь в неподвижные клубы,—то ли от синего света лампад, только в сини этой уходили стены перед глазами, шатаясь, и над головой летел потолок.

Над головой раскинута вышитое сусальными звездами, засиненное в корыте простой синькой домотканное небо и по середине его катится, как взаправдашнее, золотым канительным колесом солнце мира и у самого солнца, держась за него рукою, с блаженной и скорбной улыбкой смотрит вниз на землю пречистая мати, сокрушенно она склонила в синем плате голову и вся тонет в стрельчатых лучах головного венца—то ли образ, то ли картина, то ли просто бесплотное видение на проясненный смертный взгляд Петра Кирилыча,—хорошо он и сам не разберет... видно, что в свое время не жалел Спиридон ничего для этого благолепия...

По стенам угодники разные из каждой, кажется, щелки глядят, большие и маленькие, в окладах и голенькие, в одной власянице и рясе, одни сугорбившиеся на иконной доске с поджатыми старостью кверху плечами, другие во весь рост и силу, с крепкими и молодыми ликами, с усиками, как у чертухинских парней в жениховую пору, и с такими же игривыми колечками и завитушками надо лбом... Уставились они пристально на Петра Кирилыча и будто пристально его разглядывают...

„Ишь тут как все вроде как по-другому, чем у попа Микалая,— думает Петр Кирилыч, оглядывая вокруг темные, торжественно-прокоптелые лики,—святые-то у него, как родня какая!..“

Стоят рукой подать от Петра Кирилыча четыре евангелиста с большими книгами в руках, во весь рост, глаза светом исходят, венцы огнем пышат, справа от алтаря Микола, оклад на Миколе толстенный и весь в камушках, как в заводине дубенский берег усыпан, вроде как с лика смахивает немного на чертухинского старосту Никиту Родионова, строг тоже по всему, а мужик ничего себе, не вредный и веселый, рядом с ним то ли Иван-воин стоит, то ли Павел безрукий с рогатиной, лик заспанный, ленивый и дремный, как весь наш чертухинский лес... Куда ни посмотришь, куда ни поглядишь, отовсюду глянет святой и то ли кольчугой разузоренной блеснет в синем полумраке, спадающей с плеч до самых коленок, то ли ризой в глаза ударит, инда посыпятся от цветов и красок из глаз тоже разноцветные искры. Видится Петру Кирилычу в этой иконной толпе вытянутая, как на мирской сходке, через плечи мироедов и заправил чертухинских робкая голова брата Акима и, поглядеть если пристально, благоверная

Анна, в памерках свечей и лампад привставшая боком к другим, как часто на иконах рисуют малоискусные богомазы, думая на одной доске побольше святых уместить,—исподлобья смотрит на Петра Кирилыча и ни-дать ни-взять совсем как невестка Мавра...

...Да и сам Спиридон Емельяныч похож теперь в своей неподвижности перед алтарным входом на какую-то большую икону, вроде тех чудотворных, которые в коровий мор годов десять тому назад возили по нашей округе, лик у него обращен прямо в седьмое небо и человеку незрим, к земле же—одна спина и затылок, на котором четко лежит масляным кружком мужицкая скобка.

Только у какого святого были такие широкие плечи, уж больно был Спиридон Емельяныч широк, кажись, не писал еще ни один богомаз такой иконы, на которой бы мог при искусстве уместить всю эту силищу!..

— Миром с миром... осподу помолимся!—вдруг прогудело по моленной и в разных углах отдалось:—оспу помомся, оспу помомся! ...Петр Кирилыч одернулся в своей задумчивости и положил за Машей вслед прямо Спиридон Емельянычу в спину первый столоверский поклон: риза на Спиридоне широченная, цветами с луга райского вышита, лучами с зари утренней унизана, так золотым колесом и обкатилась вокруг всей его грузной фигуры, розданной далеко в стороны, нарукавники золоченые, передник золотой до полу, кисточками лежит на половице, как и у настоящего попа вся сряда и не дешевого сорту, и все от этого ризного золота зноится вокруг еще больше и еще быстрее плывет, как недовиденный сон, растекаясь в призрачное, еле различимое марево.

„Миром с... миром!—думает Петр Кирилыч про себя,—мир первое дело... потому вера—мир!“..

— Оспу помомся!—протекло опять из-под ризы, Спиридон вместе с возглашением тихо, неторопливо склонялся в поклон перед алтарем и последние звуки шли откуда-то сбоку его растопыренной в стороны ризы,—словно столетний дуб по осени на бурном непрерывающем запредельном ветру склонялся тяжелой спиной, пока ветки не достанут земли, также медленно потом разгибаясь и уходя кудлатой головой в седьмое, самое синее небо.

Каждый раз Спиридон в поясном поклоне рукой касался земли, как это делают от важности молодые соборные протопопы, когда надо бы по чину земно бухнуть на оба колена, Спиридон же думал лучше переложить в молитве, чем не доложить! Не долг соседу плотишь, когда молишься богу,—...хорошо он разглядел за свою странничью жизнь с братом Андреем церковную богопоставность и чин, как и где надо перед образом встать и как повернуться и теперь ото всей неутолимой и жадной на бога души вершит свою мужицкую потребу.

Маша тоже не спустит глаз с отца, руки у нее сложены крест-накрест на чаклой груди, у столоверов нельзя во время молитвы в карманах щупать, губы чуть приоткрыты, видно, что повторяет за отцом

неслышно каждое слово, и на лбу чуть заметными бисеринками выступил пот, должно быть, от жаркой молитвы и от непрошедшего еще страха перед отцом.

Кажется Маша Петру Кирилычу в этом сиянии лампад и свечей с каждой минутой все ближе и роднее, словно сколько уж годов вот так он с ней простоял здесь за широкой спиной Спиридона, изредка взглянет он на нее в бочек в полглаза и диву сам дастся:

„За что, спрашивается, после этого... захаяли девку?..“

Кажется она ему теперь в белом своем платочке на небольшой аккуратной головке и в этом синем Феклушином сарафане столь прекрасной и какой-то незримой, на глаз не легко дающейся красотой, тонко под матовой бледностью разлит у Маши по щекам еле уловимый румянец, и даже ямки, кажется, тоже проступили 'чуть-чуть как и у Феклуши около шепчущих губ... если бы не Спиридон Емельяныч и не эти святые, которые изо всех углов усталились на Петра Кирилыча и Машу, сгреб бы ее Петр Кирилыч опять в охапку, как у оврага, и впился в горячие воспаленные губы. Правда, что девка не больно товарна, грудь попрежнему падает бессильная вниз, без малого какого овала и круглости у подбородка, опущенного перед поклоном.

„Ништо, на костях мясо слаще... и меньше ситцу пойдет“... Зато так сини, так светлы у Маши глаза за большими ресницами, поволочными и влажными, и если взглянуть в них сбоку, то горит у Маши в глазах еще больше лампад, чем сейчас в молельне перед образами.

„Как ангелка стоит!“—улыбается Петр Кирилыч на Машу.

Кланяется он усердно за Машей и Спиридоном и украдкой пробует во время земного поклона на палец подол Машина сарафана, и шелк хрустит у него в пальцах и отдается этот шелковый хруст и шелест где-то глубоко в сердце, должно быть в том самом месте, где живет и человечья молитва и то самое чувство, которое на мужичьем наречьи обозначается неопределенным словом: страданье!..

Сиречь—речь говорится: любовь!..

* * *

Но вот Спиридон Емельяныч качнулся на месте и ступил два шага вперед и половицы под его ногой звонко хрястнули на всю молельню. Евангелист Лука посторонился перед Спиридоном, отошел в сторону на алтарной дверке и Спиридон, шурша ризой о косяки, боком пролез куда-то в золотистую мглу... Отлегло у Петра Кирилыча на сердце, он глубоко передохнул, переменял руки на груди и чуть заметно ослабил ноги в коленях.

В молельне стало тихо, Маша недвижно стоит и не отрываясь смотрит на евангелиста, за которым скрылся Спиридон Емельяныч, даже

святые все, кажется, на иконах чуть смежили веки, отдыхая минуту от Спиридоновой требы, еще ниже склонив прокоптелые лики. Долго так стоял Петр Кирилыч, оглядываясь кругом и не смея проронить ни слова, по обоим бокам вдоль стены березовые и еловые пеньки, обрезанные в пуп человеку, на пеньках наверху коловоротом бесчисленные дырки для домодельных свечей и везде на пеньках мигают согнувшиеся от жары на бок вощанки, красными своими язычками смешавшись с пламенными языками духа, сошедшими на головы двенадцати апостолов на иконе „тайной вечери“.

Вдруг не на земле и не над землей, а на самом синем седьмом небе раздался торжественный мутовочный звон, Спиридон шуршит ризой об алтарную стену, видимо, во всю дергая в углу за веревку и выдыхая из груди большие дышки. Из алтаря из-под самых ног евангелистов густо повалил ладанный дым, Маша засияла под белым платочком и еще гуще зарозовели у нее щеки, еще пуще прошла по румянцу ее смертная бледность.

— Вот она... вера христовская!—сияет и Петр Кирилыч.

Долго звонил Спиридон Емельяныч, потом звон стих, конец веревки слышно ботнулся об пол, Иоанн и Марк разошлись на стороны друг от друга, царские врата скрипнули в петлях и во всю их ширину предстал Спиридон Емельяныч на пороге алтаря с чашей на голове, немного покривленной на бок и риза на нем вся вздулась к плечам и сам он стал еще на целую голову выше:

— Со страхом бо...жи...им,—прогремело из-под чаши и на Петра Кирилыча грозно метнулись волчьи хвосты, и Петр Кирилыч, не глядя на Машу, зачастил не к стати в drobные поясные поклоны вместо того, чтобы стоять, как Маша, неподвижно, потихоньку все ниже и ниже склоняя голову перед Спиридоновой чашей.

Но на Спиридона Петр Кирилыч и взглянуть не посмел:

„Со... страхом,—думает он,— первое дело выходит у Спиридона страх!.. у страха глаза велики, на большой же глаз и бог виднее“...

— ...И верую приступити!—дотянул Спиридон, подошел к Петру Кирилычу, снял чашу, и, полуоткрывши краешек золотого воздуха на нем, достал ложечкой кровь и тело и сунул в его полуоткрытый рот.

Маша в это время держала у него на груди парчевый плат и в полуголос пела после каждой ложечки причастный стих:

— Тела Христа-слова примите, источника нетленного вкусите!

На вкус Петр Кирилыч мало что разобрал, но показалось ему, что это было хорошее домашнее сусло.

Причастил Спиридон Петра Кирилыча и Машу и, отвернувшись от них, сам после трех крестов допил всю чашу до дна.

Странное прошло по телу Петра Кирилыча тепло, и в глазах словно стало чище, видит он впереди Спиридона, не затворившего двери за собою в алтарь, стоят там простые дворовые ясли, в яслях душистое зеленое сено и на сене вроде как младенец спеленатый под золотым антимином лежит:

— Христос рождающийся!..

...и по обоим бокам яслей на мочальных ниточках свисают с потолка мохнатые, нахохленные из канители шитые звезды, путеводные звезды, указующие путь мужицкому глазу в новый мужичий Вифлеем.

Плывет ладанный туман, все гуще и гуще напирая в нос Петру Кирилычу и связывая ему губы душистой еловой смолкой, хитро подмаргивает в нем уголек при каждом взмахе кадила над яслями своим золотистым глазком, моргнет и тут же потонет в гущенном облаке дыма, юркнув снова в широкую полу Спиридоновой ризы... плывет, плывет ладанный туман, как утренний туман на весенней заре, и в глазах Петра Кирилыча под ногами рябит, словно тесовый пол поплыл под ногами, и стены молельни отходят все дальше вглубь и лежат теперь, как далекие берега Тигр-реки, за которыми уже не чертухинский лес и не село Чертухино в этом лесу, а душистые кущи райского сада, под которыми луговина никогда не вянет и с цветов не опадают листья... если и есть там мужики, так и на мужиков они мало похожи, а похожи больше на князей да протопопов, такие ризы на них горят и блестят кольчуги, и глядят они сейчас с этого берега на Петра Кирилыча и манют тихо занесенной для молитвы и сложенной в благословенный крест рукой.

„Хороша же вера у Спиридона“,—думает Петр Кирилыч, а Спиридон снова вышел из алтаря и перед самым носом кадит на Петра Кирилыча, вот-вот зацепит кадило, но видно не учить этому делу Спиридона, только большими колесами так и валит из кадила еловый дух, смешанный для-ради с ливанским ладаном. Загородил теперь Спиридон своей ризой, кажется, весь мир перед Петром Кирилычем,—такая у Спиридона широкая риза и столько золотого света льется в глаза с ее райских цветов!.. Слышит только Петр Кирилыч, как по лбу у него катится к носу маленькими дождинками вода с березового веничка, машет им Спиридон на него со всего размаху, словно ухлестнуть им хочет, и в бороду себе шепчет, как заклинанье:

— В свете и силе крещается раб божий... в свете и силе!.. в свете и силе!..

Жмурится Петр Кирилыч от веничка и от Спиридоновых слов.

— Да кланяйся ты, чуня, по-нашенски... —вдруг разобрал Петр Кирилыч негромкий, но строгий Спиридонов голос, — чего ты в самделе пуговицы чистишь?.. клади крест: не бойся себя ушибти!..

Спиридон положил веничек на алтарный приступок в хлебную чашку с водой и показал Петру Кирилычу, как надо по-столоверски креститься.

— Во как!..

— Слушаю, батюшка!..

— А то крестишься, сынок, словно пробить дырку во лбу боишься.

— Слушаю, батюшка!—еще раз покорился Петр Кирилыч, хорошо зная стариковскую слабость: лишний раз поклонись и дело с концом!

Потом во все плечо вытянул руку, сморгнул туман с глаз и прочертил перед Спиридоном широкий круг для креста.

— Во!.. Это по-нашему, а... не по-монашьему!..

— Слушаю, батюшка!..

Маша в это время незаметно подставила Спиридону подставку с толстой книгой, и он отвернулся от Петра Кирилыча и запел вместе с нею таким утробным из самой глубины сердечной идущим голосом, что Петру Кирилычу хотелось бы им подтянуть, но ни на голос, ни на слова, как он ни старался попасть, ничего у него не выходило.

Долго Спиридон с Машею пели, голос у нее сейчас стал хрустальный и веселый, смотрит она в книгу не отрываясь и в книге, раскрытой на самой середине, разными хитрыми загогулинами и финтиклюшками выписаны столоверские крюки, по которым столоверы поют свои протяжные и, на голос если взять, очень хитрые духовные напевы. Только Петру Кирилычу на его неискушенный глаз показались они похожими на загогулины и завитухи, которые так ловко Петр Кирилыч откалывал у Феклуши на свадьбе.

Спиридон тыкал в них, перескакивая с одного на другой обгоревшей свечкой. Понимала Маша или нет, Петр Кирилыч не мог разобрать, только заметно было, как зорко она следила за черным хвостиком огарка, опасливо покашивая на самого Спиридона.

Как ни старался Петр Кирилыч, но так и не разобрал, о чем поют Маша со Спиридоном. Да и как тут разобрать, не знаячи дела, поют, словно жуки жужжат к теплой погоде: все слова в этом пении сливаются в одно какое-то, должно быть самое важное слово, в котором сразу сказано обо всем: о земном и небесном... в нем весь мир, может, раскрывается до самой последней его подноготной, все разрешающей сути. Но что это за слово такое, так Петр Кирилыч и не уловил, хоть и усердно следил за Машиными сложенными в бантик губами и за буйно скачущей свечей Спиридона.

„Это, должно, то самое слово, от которого мир пошел!“—подумал Петр Кирилыч в тот самый миг, когда Спиридон ткнул куда-то в угол книги и оборвал сразу голос. Маша испуганно взметнулась на отца глазами, еще продолжая в одиночку тянуть, потом схватила подставку и отнесла ее в глубину моленной. Спиридон зачистил на алтарной ступеньке, быстро и про себя шепча молитвы—клат концевый начал. Два раза поклонился в землю, потом обернулся и с поклоном в пояс сказал Петру Кирилычу и Маше:

— Богу молясь, христославные!..

— Спаси Христос, батюшка!—тихо ответила Маша, а Петр Кирилыч неловко мотнул головой.

Словно сама порхнула на гвоздь со Спиридона тяжелая риза и завился в свиток золоченый передник, замотавши в середку золотые нарукавники. Стоит Спиридон перед Петром Кирилычем в той самой поддевке, в которой он видел Анютюка в памятную ночь весеннего полнолуныя.

— Ну, как, сынок?... как?—говорит весело Спиридон Емельяныч, хлопая по плечу Петра Кирилыча,—уразумел?..

Маша оглянулась из угла на них и довольно затаила улыбку. Петр Кирилыч однако не нашелся ответить, смутился и сначала долго глядел на сапоги Спиридона, потом что-то надумал, но ничего опять не сказал, а только бухнулся Спиридон Емельянычу в ноги.

Птица-кукушка

Поехал как-то Аким на Боровую мельницу жито молотить—и по дороге, от нечего делать, стал перебирать в памяти, у кого и где есть на выданьи девки...

Думает Аким об этом предмете, сидя верхом на мешке с прошлогодним зерном, и за недолгую дорогу додумался он до того, что набилось ему этих девок в башку больше, чем на поседки...

Такая пала мечта!..

То сидят они в глазах у него все, как на смотринах, то как на чертухинской горке в Троицын день ведут перед Акимом девичий круг, и Аким стоит посередине их голосистого круга и выбирает брату жену; девки все как на подбор, одна другой лучше, веселей и нарядней,—словом, никогда еще такой блажи с ним не приключалось, инда плюнул!..

Смотрит Аким: лошадь стоит на одном месте и щиплет с хомутом у самых ушей с канавки траву...

— Ну, ты!..—крикнул на нее Аким и хлестнул хворостиной,—девки стали ноне фыркуньи... в женихах роются, как поп в кадилах!...—начал Аким рассуждать сам с собой, зная хорошо, что без из'янца и не вековуху им за Петра Кирилыча теперь не дадут...

„Потому,—поздыш...—думает Аким...—а поздыш хуже в сто раз вековухи... да, уж, Петр Кирилыч, не спрашивай теперь: сколько те лет, а спрашивай лучше: велик ли подклет!.. жар упустил!..“

В это время телега свернула под горку, которая, как зеленая подушка, лежала на выезде из большого елового леса, на горке стоял молодняк, такой частый, что сквозь него на аршин, кажись, ничего не увидишь, за молодняком пошли береговые кусты, на кустах первые листочки, недавно еще только пробившиеся, от чего и за Дубной березовый мельничный бор стоит, как в зеленом дыму..

Повеселел Аким на лицо, когда на повороте гулко ему ударил в уши шум от падающей за плотину воды и за этим шумом из березовой рощи вдруг громко закуковала кукушка...

— Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку-кух-кух-ку!

„Должно это она мне считает года!—подумал Аким про кукушку,—а может... кому и другому: любят кукушки возле мельницы жить!“

Думает так Аким, и с его широкого, обросшего густой щетиной, лица не сходит добрая улыбка, отчего мужичье лицо всегда делается словно умнее: чтит мужик птицу-кукушку и мельницу чтит, потому

что птица-кукушка знает хорошо, сколько мужик проживет, а мельница кормит его, мелет зерно на муку, а может еще и потому, что под мельничным колесом живут водяные русые девки, и, когда эти девки выходят на свет, они обращаются в птицу-кукушку!

Присвистнул Аким и, чтобы проворней бежала, хлестнул кобылу под ляжку в пахы...

Скоро кусты на берегу Дубны поредели, сошли поближе к воде, чтоб прополоскать в ней свои заолодевшие за зиму руки, и на другом берегу, тут же около моста, горбато согнувшего спину, Аким увидал Боровую мельницу, крытую в щетку соломой, по соломе зеленела по скату мелкая травка, на князьке покосившийся на бок шпиль с вырезанным из железки коньком и тут же большой открытый сарай с коновязью по боку...

Звонко запела вода в ушах у Акима, когда вкатил он на горбатый мост через реку: у мельницы жерновое колесо, нехотя и лоснясь ободом, вертелось со скрипом, и водянистая пыль столбом поднималась под крышу...

* * *

Вот если долго глядеть на то колесо и слушать в нем пенье дубенской прозрачной воды, то и земля поплывет у тебя из-под ног, и мельница сама стронется с места, и за мельницей березовый бор, да и ты сам и все вместе с тобою поплывет неизвестно куда вслед за Дубной: такая уж эта река и таких-то зевак и любят ее водяные русые девки!..

Только одна здесь беда: нельзя за мужика этих девок по-сватать!..

Добро, как такая дубенская девка приглянет тебя средь белого дня, тогда ничего: где-нибудь неподалеку ты увидишь березу с расставленными на бок ветвями или осину, на которой ни один листочек не будет покоен в эту минуту, а на самой верхушке будет куковать во весь голос кукушка:

— Ку-ку, ку-ку, ку-ку!..

... ты только стой да считай, тогда будешь знать без ошибки, сколько лет еще проживешь, а вот если ночью, да к тому же в луну, ну, тогда берегись: на утро кукушка не будут сидеть на березе и куковать тебе на дорогу не будет, да тебе и самому это уж будет не нужно—тебя на дне у самой плотины будут сторожить две дубенские щуки, а они зубами перекусят в воде корабельный канат... или самый большой сом, научившийся не хуже баб доить ошалевших коров, когда они от слепня набьются по ворот в воду,—сом этот, милый, в воде может хвостом убить человека, вот у него какая силища!..

Так и будешь, значит, до скончания века сидеть!..

Такая уж эта птица-кукушка: она и в настоящем-то своем виде, то-есть когда она не дубенская девка, которая обернулась, выйдя из воды, в птицу-кукушку, а самая что ни на есть и на самом-то деле

серая лесная кукуха, так и тогда она свои яйца кладет не как все птицы-домовницы, а в чужое гнездо!..

Значит так и выходит: не каждому и не всякая кукушка верно кукует, надо их уметь различать!..

Верно кукушка кукует только тому, кого полюбит дубенская девка, потому что у этих девок тоже есть свой закон и над ними есть набольшая, самая, значит, главная, девка, на манер как бы царицы..

Петр Кирилыч даже и звать, как ее, потом говорил, потому что он сам ее видел своими глазами... Конечно, теперь вот сказать, что была на Дубне-де такая царица, жила она под плотиной и звали эту царевну Дубравна, так едва ли... едва ль кто будет слушать и, наверно, уже не поверит...

Еще в те поры один Петр Кирилыч про все это знал и кукушек умел хорошо отличать, потому что Петра любили дубенские девки, а любили должно быть за то, что наши деревенские дуры брезговали им и называли: балакирь!..

* * *

Аким подкатил к коновязи, как к крыльцу хорошие ямщики под'езжают, несмотря что лошаденка—хвост да грива;—стоя в возу на ногах и протянувши руки с вожжами далеко вперед, тпрукнул и, как молодчик, спрыгнул с телеги на землю...

Неподалеку схоронился в старых березах, с потресканной корой на стволах, небольшой дом, обитый по лицу широким тесом и крашенный по тесу в голубую бледно-небесную краску, с окошками в белых налишинах высоко над землей, только достать человеку, с небольшим сбоку крылечком, у которого крутая тесовая крышка была похожа издали на две широкие ладони, сложенные на груди во время молитвы, как их рисуют на столоверских иконах...

... На застрехе сидели белые голуби по самому краю, выщипывая перья под крыльями, на теплую погоду хохлились и только один голубок, сердито надувши зоб, громко ворковал, кружась на одном месте рядом с белой голубкой...

„Столоверский скит!“—подумал Аким, глядя на мельничий дом.

В это время на голубом крыльце скрипнула дверь и в двери показался приземистый старик в длинной поддевке ниже колен, в дверной косяк уперлась еле поседевшая скобка волос и плечи, казалось, в двери были во весь их приступок... видно по всему, что была у этого человека, несмотря на преклонные годы, силенка и в характере—твердость!..

Человек, разглядывая, кто это вкатил так на мельничий двор, приставил широкую, как заслон, руку к глазам и только, когда ему первый крикнул Аким:

— Спиридон Емельянычу... все наше почтение... Как здоровее хонек?...

... он нехотя и неторопливо ответил:

— Доброго добра: там смелют!..

... постоял чуть, глядя внимательно на Акима, словно что хотел сказать, но потом, видно, раздумал и, повернувшись, громко хлопнул за собой обитой войлоком дверью...

— Медведина эдакий!.. лишнее слово боится уронить!..—сказал недовольно Аким, когда зачернела широкая спина Спиридон Емельяныча и весь он на минуту задержался в двери, словно ему назад в эту широкую дверь пролезть было трудно...

Аким взвалил на спину мешок, согнулся по пояс, чтоб легче было нести, и направился, переступая большими шагами, в дощатый приделок у мельницы, куда мужики сваливают зерно, подчас дожидаясь очереди на жернова...

Когда Аким заглянул в приделок, приоткрыв наглухо захлопнутую дверку в него, мешок сам у него выпал из рук и повалился на землю... Аким, не разгибаясь и не поднимая мешка, стоял в самой двери, потирая вспотевший лоб: в приделке на мешках с немолотым зерном, белый от мучной пыли.

„Словно ангел божий“,—подумал Аким...

... сидел ножка на ножку Петр Кирилыч и рядом с ним к Акиму спиной, тоже вся в муке с головы до ног,—какая-то девка...

„Не... кукушка ли... это!“ — подумал Аким, так и не решившись первый окликнуть Петра Кирилыча и дожидаясь, когда он сам к нему повернется...

Долго так стоял Аким и щупал на себе рубашку...

Жених во полунощи

С мельницы Аким только к вечеру вернулся вместе с Петром Кирилычем...

Прокатил Аким по Чертухину, стоя на коленках в возу и с поднятым над кобылой кнутом, без особой надобности дергая в обе вожжи: не мало дивились чертухинцы, глядя на братьев, никто не знал еще причины такой поспешности и веселости, с которой Аким глядел на всех, попадавшихся встречу... Аким снимал то-и-дело картуз, выкланивался, словно богатый, а мужики горделивы друг к другу, так большей частью подержится за козырек и... довольно...

Только, когда на галдарейке показалась Мавра с ребенком у груди, издалека еще увидавши Акима с помолом, Аким не мог уж больше стерпеть и на все село крикнул с телеги:

— Эва я, Мавра: женишка везу!..

— Что-й-то ты, Аким... поди все сразу узнают!..

— А что, разве не правда? — опасливо обернулся Аким к Петру Кирилычу. Все Чертухино шевельнулось от этого крика, створки на окнах захлопали кверху, бабы и девки, высунувшись, смотрят на улицу, волосы в растрепку и в глазах у всех с невиданной прытью скачет Акимова телега, семена колесами...

— Аким... с помолу едет, — решили они нетрудную задачу.

— Эй ты... була-аная! — опять зашелся Аким, похлопывая по мешкам с солодом, который отпустил Спиридон Емельяныч на свадьбу, и заворачивая с дороги к крыльцу, — теперь шалишь-мамонишь!..

— Срахнулся! — тихо говорит Петр Кирилыч.

Аким подкатил к крыльцу, соскочил с телеги и снял перед Петром Кирилычем шапку:

— Ну, Мавра-лавра... сучи рукава: парь бочки!..

Мавра разинула рот, солодовый свежий дух так и пер с телеги под нос, решила, что дело видно и впрямь не за шутку..

— Добро пожаловать, братец родимый, — запела она у телеги, — где-то это ты пропадал столько... мы уж заявку с Акимом хотели подавать.

— Ваш атлас: куды от вас, — говорит ей Петр Кирилыч, слезая с телеги, — высватал!..

— Где? — так и уставилась Мавра...

— На мельнице... мельничью дочку засватал!..

— Непромы-ыху?.. — протянула было сначала Мавра, переложивши в волнении ребенка на другую грудь...

— Промоется: нам с лица не квас пить! — говорит Аким, — эко дело прозвание: зовут да кличут, не в зубы тычут!..

— Казак, а не девка, Петр Кирилыч! — мигнула Мавра, переглянувшись с Акимом.

— В дом иду, сестрица... теперь вам без меня посвободнее будет!..

— Нам и с тобой, братец, не тесно... — обиделась было Мавра на правду, но стерпела: уж больно негаданно да неожиданно все это вышло, и хоть Непромыха не страсть какая находка, но ведь и Дурнуха то же рыло в мыле, нос в песке!

— Ставь-ка, Мавра, самовар на такой радости поскорее! — говорит весело Аким, взваливая с телеги мешок, мотнул на избу посеревшей от муки бородой и, немного ссутулившись, поволок его в амбарушку.

* * *

В избе так и уставились все на Петра Кирилыча, ребятишки мал-мала-меньше присмирели, разглядывая невиданный армяк на Петре Кирилыче: пошел-то Петр Кирилыч в рубахе!..

— Ишь ты, — думает Мавра, сложивши руки на животе, — таких у нас и не носят!..

Петр Кирилыч стоит посередине избы и смотрит себе под ноги: чужой ему теперь кажется братнина изба!

— Ну, братец родимый, Петр Кирилыч, садись-ка... садись... под бога садись!..

Мавра скользнула за печку, загрохала самоварной трубой, в избе понемногу начинало темнеть... за околицей пастух играл на рожке, созывая сельское стадо...

Петр Кирилыч перекрестился на образ и сел под иконы, Аким рядом, немного поодаль.

— На той неделе значит свадьбу будем играть, — в который раз повторил Мавре Аким, — ты уж пиво-то, Мавра... пиво-то вари!..

— Да что ты наладил одно и то же тридцать раз... сварить не штука... только вот смотрю я на Петра-то Кирилыча и в толк никак не возьму: как это у него и по какому порядку все вышло?..

— А и в сам-деле... Ты бы, Петр Кирилыч, оповестил бы маленько.

— Да что ж тут много говорить... — неохотно отвечает Петр Кирилыч.

— Вот еще... теперь у воды без хлеба сидеть не будешь: легко сказать: мельник!..

— Был бездельник, стал... мельник... не диво ли, Петр Кирилыч, — хитро закинула Мавра, высунувшись из-за печки.

— Долго рассказывать... как-нибудь опосля... да и мало кто поверит...

— Чему ж тут не верить: ведь хватк! — говорит Аким, расставивши руки.

— Да не то, чтобы что, а... так, ежели рассказать все по порядку...

— Расскажи, Петр Кирилыч, — пропела Мавра.

— Ка-бы не леший... ничего бы не вышло!..

— Ле-еший! — протянул удивленно Аким, — вон оно что...

— Только ты, Аким, до поры не болтай... а то, говорит... попадешься на Светлом, враз утоплю!..

— Как был балакирь, так и остался! — говорит Мавра, вынося самовар из-за печки, — у всех людей, как у людей, а у тебя все, как в прибаутке...

— Плюнь, Петр Кирилыч, у них все так всегда... что-нибудь да не ладно... пос есть: соплей нету... сопли есть: нос не хорош!..

— Ну ты: складный!..

— Известно: недовольная порода!.. а ты вот что, Петр Кирилыч, скажи... как же это старик-то согласился... в нем ведь дурости этой накачено: на всю волость хватит!..

— Спиридон Емельяныч хороший мужик!..

— Куды ж еще лучше: ничего не видя, а уж архалук на плечи... да еще какой... таких в нашей округе кажись и не носят!..

— Рукавок вот подплатать только!.. — говорит заботливо Мавра, щупая на Петре Кирилыче обновку.

Уставила Мавра с самого краю к себе большой самовар, рассидела ребят по лавке кругом себя, вынула из стола блюдца и чашки и первому Петру Кирилычу нацедила покрепче...

— Кушай, братец родимый!..

— Ну, Мавра, — говорит Петр Кирилыч, первый раз за все время улыбнувшись, — приедешь, смелю мучку, будешь целовать ручку...

— Ох, не оставь, Петр Кирилыч, — ссурьезилась Мавра, — Спиридон всегда наметет наполовину с песком... решето не берет!..

Едва успели выпить по чашке, как по всем окнам забарабанили пальцы, словно град пошел... в стекла уставились тесно любопытные лица чертухинских девок и парней: неизвестно откуда вдруг разнеслась по всему Чертухину весть, что Петр Кирилыч невесту нашел...

Кто говорил, что берет он, де, у гусенского дьякона, а кто даже и у самого попа Гавриила в тех же Гусенках, у того и у другого был на руках подмоченный товар:

Вот теперь, дескать, Петр Кирилыч и будет мужичить с этой поповской лежалой кутьей.

Про Машу пока и помину никакого не было, видно и за девку ее никто не считал.

Мавра заметила дозорщиков в окнах, поджала строго губы, встала, словно ее шкнули и, выпятив слегка выпиравший живот, заспешила к двери. Аким с Петром Кирилычем не шевельнулись.

* * *

Мавра вышла на крыльцо и громко на все село крикнула на холостых:

— Что вам тут, хаплюги, — посадки, что ли? чего прилипли?..

Из-за угла вывалили парни, впереди косоротый Максяха, за ними, закрываясь передниками и смущенно улыбаясь, девки, глаза завистливо горят, по щекам жар пышет, видно слухи о женитьбе Петра Кирилыча сильно всех разобрали.

— Ну что, голопятники, пострел вас не возьмет? — еще раз стрельнула Мавра, держась за перильцы.

— Говори, Мавра Силантьевна, кого Петр Кирилыч засватал?.. — крикнул Максяха...

— Да вам-то что за напасть такая?..

— Да у нас тут большой спор зашел из-за этого: кто говорит на дьяконовой рупь-с-четвертачком, кто на поповой родихе, — голосисто зазвонила из-за девок Дурнуха, вся так в стороны и расплывшись скуластым, засыпанным частыми веснушками лицом.

— Сделай милость, Мавра Силантьевна... у нас так, гляди, до кольев дойдет, — пожимаясь, вторят парни, — антиресс большой имеем?..

— Ишь ты... уж знамо не на тебе, дурная харя, — огрызнулась Мавра на Дуньку.

— Как бы не так... а сама на выгоне проходу не давала... тьфу! — доплюнула Дурнуха к самому крыльцу.

— Из сопли не вырастет конопля!..

— Чего собачишься? — заступился Максяха.

— Не плюй у ворот, где ходит народ: чего ей, дурному чорту, надобно?..

— Ладно, ладно, Мавра Силантьевна... ты уж беспрерывно нам только изложи, кого Петр Кирилыч берет... а то...

— Что: а то?...

— ...весь дом разнесем!..

— Разнесем, Мавра! — кричат за Максяхой холостые, — что вы украли, что ли?.. Эй разнесем!

— Хаплужники! — снизила голос Мавра... — разнесут ведь, — думает она, — косточки не оставят!..

Подперла она щеку рукой и нехотя будто ответила:

→ Спиридон Емельяныча дочку берет!..

— Непро-о-мы-ыху! — раскатилось в толпе вместе со смехом, — а мы-то сдура чуть не передрались!..

— Грош да полушка, базарная цена! — пропела Дунька и низко поклонилась Мавре.

— Фуня! — отпалила ей Мавра.

— Ну, коли что, Мавра Силантьевна, — подошел к самому крыльцу Максяха, держа шапку в руках и отводя Дурнуху, в сторону, — придем песни петь...

— Не оставьте, милости просим!

Мавра поклонилась в пояс с широкой улыбкой.

— Хмель в пизо, в постель крапива!.. — визгнула Дурнуха, прячась за девок...

— Милости просим... милости просим! — еще раз Мавра поклонилась и, просиявши во все лицо, вернулась к мужикам в избу.

Холостежь разобрала девок по рукам, всем гуртом тронулись на середку и скоро оттуда под коровий мык и лошадиный топот — настух гнал по выгону стадо — донеслась до Петра Кирилыча смешливая песенка:

— У балакиря есть сани
Без кобылы едут сами!

— Ой уедет наш жених
Из Чертухина на них!

* * *

В эту ночь не взошел уж, как потемнело, над Чертухиным месяц: посветил да и будет! Избы стояли словно черные монахи возле дороги и за селом по полю и к лесу вплотную грудилась непогожая темь. В одной только избе у Акима в окне горел огонек: Мавра ради такого случая зажгла перед образом Миколы лампаду и оставила ее на полном свету во всю ночь...

Под лампадой сидел Петр Кирилыч, облокотившись на руку, и о чем-то видно крепко думал, Бог его знает о чем, Петр Кирилыч был на простой взгляд: чудной человек. Только должно все о том же! Никто ведь его не видал и никто в этот час с ним не говорил, а он сам с той поры стал неразговорчив...

Только если взглянуть бы в окошко в ту ночь, так можно было бы подивиться: уж то ли так Петра Кирилыча облила светом лампада, то ли еще почему, только весь армяк на нем каждой ниткой горямя горел и то ли кудри это у него так золотились в лампадном свете, то ли с иконы упал ему на голову венчик, — едва ли бы кто разобрал: у Мавры с делами да с ребятей, на стеклах висит паутина и похожи они на мутные спросонья глаза. — Сами - то они уперлись в дорогу, в землю глядят, хотя едва ли что видят, а в них... хоть всю ночь просмотри, припавши к стеклу, а едва ли... едва ль что взаправду увидишь...

(Окончание следует)

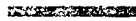
ВАСИЛИЙ КАЗИН.

* * *

Пусть другим Тверские приглянулись,
Ну, а мне, какись, милей Кремля,
Скромница из тьмы московских улиц,
Улица Покровская моя.

Будь любой: иль поздний час, иль ранний —
Стоит этой улицей пойти:
Сколько самых бережных признаний
Я встречаю на своем пути.

Почеломкаться теснятся крыши,
Подбодрить стремятся этажи:
Ведь отсюда в шумный мир я вышел
Биться жизнью о чужую жизнь!..



Песня

М. СВЕТЛОВ

Товарищи, быстрее шаг —
Опасность за спиною:
За нами матери спешат
Разбросанной толпою.

Они направились левой,
Чтоб пересечь дорогу,
Но только спины сыновей
Они увидеть смогут.

Когда же от погонь спастись
Не сможет наша рота,—
Тогда, товарищ, обернись
И стань вполоборота.

В такие дни таков закон:
Со мной, товарищ, рядом
Родную мать встречай штыком,
Глуши ее прикладом.

Нам баловаться сотни лет
Любовью надоело,
Пусть штык проложит свежий след
Сквозь маленькое тело...

Бегут в раскрытое окно
Слова веселой песни,
И мать моя давным-давно
Заснула в старом кресле.

Как хорошо уснула ты....
И я гляжу с волнением
На тихие твои черты,
На ласковое выраженье.

Прислушайся: услышишь вновь —
Во мне звучит порою
За равнодушием любовь,
Как скрипка за стеною.

А помнишь: много лет назад,
Бывало, пред походом
Я посылаю тебе денег
Почтовым переводом.

И ты не бойся страшных слов,
Сквозь дым и пламя песни
Я пронести тебя готов
На пальцах в этом кресле.

И то, что в час вечеровой
В кошмаре мне явилось,
Я написал лишь для того,
Чтоб песня получилась.

СЕРГЕЙ МАЛАШКИН

* * *

Русь моя, прозрачная и голубая,
В дом свой сына блудного прими,
Под березами, что ветер нагибает,
Ты его покрепче обними.

Он пришел к тебе от фабрик и заводов,
Он за пазуху не прятал нож,
Только растревожил сонную природу,
Пролил электрическую дрожь.

Разве ты не видишь: по деревням, селам,
На околиц грубую ладонь
Льется с песней, и разбойной и веселой,
До сего неслышанный огонь.

Разве ты не видишь: на-ветру гуляют,
Вместо немошной сохи, с утра,
Горы и поля, поля твои взрывают
Жеребьчьим ржаньем трактора...

А мужик стоит, почесывая спину:
— Эдак ничего не проглядим,
Перельем на золото навоз и глину,
Землю чахлую омолодим.

Русь моя, прозрачная и голубая,
В дом свой сына блудного прими,
Под березами, что ветер нагибает,
Ты, как мать, покрепче обойми.

Святая Эстелла

Рассказ

ЖАН ЖИРОДУ

Предисловие

Ж. Жироду — самый модный и самый прославленный писатель из молодых писателей Франции, и в некоторых своих вещах он действительно превосходит.

Прежде всего, он необыкновенно совершенный стилист. Вот кого можно без натяжки назвать имажинистом. Каждая из его страниц, — целый град подарков в виде блестящих сравнений и сверкающих парадоксов.

Но Жироду не только стилист, он в сущности пустой малый и может писать иногда ровно ни о чем, возводя свои узоры вокруг какой-нибудь совершенной ерунды, хотя может время от времени напасть на какую-нибудь дикую идею, оказаться во власти бошефобства, но вместе с тем он не лишен чисто французской грациозной иронии. Он не даром много читал Анатоля Франса, хотя, несомненно, Жироду бесконечно более манерный писатель. Но все-таки запах Франса в нем есть, и как раз „Святая Эстелла“ сильна именно этим, так сказать, франсизмом. Это не только великолепное упражнение на словесном рояле, но и очень неплохой антирелигиозный этюдик. Правда, по-французски он значительно ароматнее, но и в русском переводе доставит удовольствие читателям.

Переводчица в общем хорошо справилась со своей задачей, потому что переводить Жироду очень трудно.

А. Луначарский.

I.

Я закашлялся. Она не опустила глаз. Ее очки запотели. Тусклый свет плохо пробивался сквозь стекла, словно застилая их слюдой. Но она нисколько не удивлялась тому, что не видит. Я подошел к окну и перестал кашлять.

На уровне горизонта тянулась дорога, выструганная заново, но плохо натянутые луга коробились. Ветер дул прямо вперед, и все травы, камыши, кресс-салат на грядках показывали мне лишь свою вз'ерошенную изнанку стального цвета; но подобно тому, как, глядя

в небо, вы открываете звезды, я, мало-по-малу, обнаруживал в траве всех своих старых знакомцев. Прогуливался кот, задерживаясь у зарослей, чтобы уверить птиц, будто он щиплет траву. Гуси спали, стоя на одной ноге. Конец другой небрежно висел у них из-под мышки, словно поношенная перчатка. Но вот они внезапно вскрикивают, вытягивая шеи и подбирая их обратно, как раздвижные тромбоны: они делают это недружно и неравномерно, так как это только репетиция. Кот шевелит ушами и рассматривает гусей глазами рыболова, следящего за гребцами лодки, направляющейся к его берегу; он делает вид, что не в силах достаточно выразить им свое презрение; потом продолжает путь развязным шагом и завязывает узлом хвост, чтобы не забыть о своем негодовании; хвост его волочится по клеверу, пока в него не впился репейник. Тут он прыгнул и исчез. Я смеюсь.

— Бедняжка, — спрашивает Эстелла, — ты кашляешь?

Звуки скопились в ее ушах, и теперь до сознания дошел лишь прибывший первым. Но остальные последовали за ним вереницей.

— Глупые гуси, — говорит она, — и чему ты, дурачек, смеешься?

Так я и знал. Она склоняется, обнимает меня; быть может, ей кажется, что она только подняла свое вязание, потому что ее пальцы движутся взад и вперед между моими волосами и подбородком, сплетая вокруг меня какую-то сеть. Невозможно отбиваться, невозможно не затихнуть. Я себя чувствую слишком усталым даже для того, чтобы хорошенько к ней привалиться. Какой-то ребенок на улице насвистывает все ту же песенку. Непрочный солнечный свет блекнет на плетеных стульях, и эхо ангелуса — такое заглушенное, словно звон колокола в самом дальнем приходе, в том, где уже восходит завтра — забывает, что он только эхо, и плывет, как настоящий звук. Затем — вороны, летящие в небо, забывают шевелить крыльями, и кажется, что полоса лазури вертится. Затем полдень, проходящий в ливнях, тени стекают с кустов струйками, потом лужами, и земля пьет их: поднимается вечер. Затем, хлопая дверью, врывается ветер, он тушит и подталкивает солнце, сдувая его с выбеленных стен, наполняя комнату, которая округляется, покачивая цветы в вазах.

Эстелла спрашивает себя, откуда сквозняк, от двери или от окна, и, так как я остаюсь серьезным, она мне улыбается; потом она вздыхает про себя.

— Никогда, никогда, — говорит она, — я не пойду в их монастырь.

К чему отвечать ей? Она должна была бы поторопиться и постричься сегодня же вечером в присутствии полутора тысяч богомольцев, прибывающих для ее чествования, так как завтра будет шестнадцать лет с тех пор, как ей явилась пресвятая дева.

История эта такова:

Она была горничной в доме управляющего герцогини Мартэн и умирала от тифа. В присутствии самой герцогини, доктора утверждали, что она обречена на смерть. Однажды вечером, когда весь вопрос был в том, наступила ли уже агония или еще нет, Эстелла

увидела пресвятую деву, появившуюся около ее постели и защищавшую ее против дьявола; и весь остаток недели, каждый вечер, богоматерь возвращалась для этой борьбы. Никто никогда не узнал, за кого противники принимали больную, ни того, дочь какого из владельцев окрестных замков умерла в округе, являясь жертвой недоразумения, спасшего горничную. В день, когда дьявол был повержен, Эстелла пришла в себя. Она выздоровела. Как только она смогла выходить, герцогиня поселила ее в маленьком домике, стала выдавать ей определенную сумму на содержание и с помощью священника организовала богомолье. На десятый год был основан монастырь доминиканок, и в его ограду была включена священная комната.

Завтра, в день пятнадцатилетия, продефилируют иностранцы из всех государств Европы и из Канады. Но по мере того, как слава Эстеллы достигает дальних городов, ее собственный городок начинает ее презирать.

Что касается меня, то я, пожалуй, уже не люблю ее. Я провожу у нее дни, потому что она наша соседка, потому что ее сестра была у нас кухаркой и осталась нам преданной после смерти моей матери. Но я не восхищаюсь ею более и не горжусь уже тем, что сижу у нее на коленях, когда проходит процессия. Я не люблю, когда она спрашивает конфеты у всех бакалейщиков; я не люблю этой облезлой собаки, которая ее сопровождает всюду, словно ей явился Св. Рок¹⁾. Я не люблю этих глаз, которые отражают свет всех светочей, и которые при малейшем мерцании начинают искать. Зажгите спичку — и она посмотрит на вас. Иногда мы отправляемся вместе через поле разорять гнезда. Маленькие кучки удобрения и мергеля расположились рядами и спят — точно стада с дымящимися ноздрями. Борозды разбегаются от горизонта веером, в воздухе свежо. Коровы приподнимаются вдоль нашего пути, им не по себе, словно трава под ними в складках; в тех местах, куда попало слишком много удобрения, хлеба сгрудились пятнами, более густыми и темными, и кажется, что это упали тени от облаков, пролетающих где-то выше безоблачного неба.

Я иду, но Эстелла шарит в стогах, отстаёт, чтобы затворять калитки, и потихоньку рвет фрукты, которые она потом шумно грызет. Никто в ней больше не сомневается: чудо прошло над ней, как дождь над оконным стеклом. Она так и осталась горничной, видевшей Марию и встретившей ее, как недогадливая привратница, принявшая посещение на свой счет. Когда она занята делом, то кажется поденщицей у себя же в доме. Когда она сидит, то кажется, что она присела, чтобы отдохнуть. Она никогда не сроднится со спокойствием, таким естественным для избранных, и она так же далека от безмятежности, как муха, бьющаяся о стекло. Это она средь бела дня в воскресенье, когда проезжает разве что экипажа два, ухитряется быть задетой автомобилем; это ее куры опустошают грядки нашего маленького

¹⁾ Св. Рок считался покровителем собак. Прим. перев.

общественного садика. Сын Миллэ — большой бабник — как раз ее двоюродный брат. Поэтому, с того самого дня, как один разносчик вынужден был дать ей оплеуху, собрав вокруг себя весь базар, — священник и герцогиня сговорились убрать ее из Бома. Нельзя же было позволять так компрометировать священное дело.

В прежнее время они довольствовались тем, что запирали ее в комнате в дни паломничества, но за последние годы некоторые разбогатевшие коммерсанты, которых стремился завербовать комитет пропаганды, выстроили виллы и поселились в Боме. Эта святая на свободе приводит их в негодование. Вот почему, Эстелла, ты пойдешь в их монастырь.

* * *

Это Нини Рева, Парижанка, стучит и входит. Она улыбается, но надо об этом знать, чтобы догадаться, — так тонки ее губы. А между тем, только они и видны в ее лице. Одно слово, одно малейшее слово делает их круглыми, и, так как Нини заикается немного, то кажется, что перед тем, как заговорить, она разгоняет из своего рта весь запас поцелуев, которые его загромождают. Какое необычайное происшествие собирается она рассказать, раз она так тискает и целует меня?

— Вот так, — кричит нам Эстелла. — Не стесняйтесь больше! Вот чертенок! Он не верит, что я видела богоматерь.

Парижанка меня берет на колени и снова целует. Потом она произносит своим матовым и восхитительным выговором, оставляющим слова неспаянными друг с другом:

— Вот невыносимый ребенок! На прошлой неделе он обрезал себе ресницы моими ножницами.

Кто же виноват? Она увела меня к себе в комнату и, роясь в шкафах и сундуках, стала для забавы примерять мне свои токи, болеро, воротники. Она также надушила меня до одурения. Не знаю зачем, я снял чулки и одел на свои голые ноги ее горностаевые туфельки. Потом, увидев в зеркальном шкафу мои мигающие ресницы, я их обрезал. К тому же Эстелла и не заметила этого, потому что ее собственные ресницы ей совершенно не нужны. Идет ли дождь, плачет ли она — она всегда вытирает глаза рукой.

Я хотел объяснить все это, но Парижанка положила пальцы мне на губы — и я не знаю, лепетал ли я что-то, или целовал их.

— Вот в чем дело, — заявила она, — господин Рейан донес на вас сборщику податей. Он настаивает на том, что для продажи ваших медалей и наплечников нужен патент, и он считает долгом обложить их налогом.

Изо всех радикалов округа с господином Рейаном, содержателем гостиницы, приходилось всего более считаться. Рассказывали, что он заставил графа Делярош, писавшего свое имя в одно слово для снижения популярности, снова разделить его на три части, как делали его предки. Накануне выборов у него собралось человек двадцать

неизвестных рабочих, потом они разошлись, дергая звонки и разбивая окна: подобного страха не знал город с 1870 года, когда все боялись проходивших вольных стрелков.

— Тогда я повидалась с вашим священником,—продолжала Нини,— он пожал плечами. В сущности, он не хочет себя компрометировать из-за ста су, и он надеется, что все эти неприятности заставят вас уйти в монастырь.

Эстелла воспользовалась своими ресницами: я видел, как она моргала. Она повернулась на своем кресле.

— О, Нини!— сказала она умоляющим голосом:— неужели вы хотите, чтобы я себя заживо похоронила, — вы, знающая, как я счастлива? Где еще найду я то, что имею здесь? В восемь часов я пью шоколад, или варю себе кофе, если мне еще хочется подремать. Потом приходит почталион, потом садовница, потом приходят одиннадцать часов, и я завтракаю. После обеда тоже всегда найдется, что делать. Нет никого другого, кто был бы занят, как я. И меня заставляют отказаться от всего этого... Пойдите, Нини, дайте-ка я надену шляпу. Пойдем и подадим заявление сборщику податей.

Она волнуясь завязывает крест-на-крест свою шаль, так, чтобы сердце было прикрыто вдвое против остального. Мы выходим.

* * *

Каждый раз, когда некрасивые женщины замечают Парижанку, они выходят на порог, с плохо протертыми глазами, словно они нарочно для этого только что проснулись, пряча кулаки в карманы передников, как в ножны. Иногда вспугнутый голубь парит над ними, как святая голубица над апостолами в день пятидесятницы, и тогда кажется, что они клеветают на вас на всех языках. Они говорят без передышки, деловито, но рты у них так широки, что каждая фраза заставляет опадать их щеки; их зубы показывают лишь свой авангард.

Их зрачки расширяются и сжимаются как головы пиявок, уши принимают форму раковин, и, должно быть, они непрерывно слышат грохот океана, ибо их черты искажены в такой же мере негодованием, как и ужасом. Сердце их однажды возмутилось, но они ввергли его в грудь, взгромождая на него Оссу и Пелион. Кажется, что если хорошенько наступить на ноги тем из [них, кто мал ростом, то они вдруг с треском вытянутся в высоту, и у вас появляется также желание налечь на головы высоких, чтобы заставить их принять их настоящие размеры. Они задирают и ругают все вокруг, но, в отместку, все стремятся раз'ярить их, и они это знают: если идет дождь, то они верят, что это им на зло.

Они спрашивают себя, почему блуза Нини завязывается изнутри голубыми ленточками, и они приходят в ярость при виде того, как она, не спеша и не колеблясь, ориентируется на главной улице. Дело в том, что она сегодня здесь у себя. Сегодня сквозь этот городок

просвечивает Париж — канва всякого города. Старый господин на правой стороне дороги приценивается к жестяным изделиям. За женой ад'ютанта спешат двое мужчин с усами — чиновники в штатской форме, и другой старик, выходя из дому, кланяется ей, словно уступая ей свое место в доме; затем он остается на крыльце и закуривает. В конце улицы расположилась триумфальная арка.

Проезжает порожнем коляска, ища седоков, потом возвращается, не отвечая на ваш окрик. Если бы с базара вышел рабочий, чтобы обнять Парижанку и бешено ее расцеловать, а потом спокойно ее задушить — никто бы не удивился.

Нам приходится ждать у входа к сборщику податей. К счастью, в комнате для посетителей мы были одни. За перегородкой был виден лишь конторщик, линевавший бумагу с таким остервенением словно стремился вычеркнуть на ней какое-то неуловимое слово Сборщик податей и уполномоченный, невидимые для нас, вслух сверяли счета. Казалось, они не хотели забыть ни одного сочетания из десяти цифр. [Время от времени конторщик подсказывал им новую и они с досадой начинали сызнава. Дойдя до сотен тысяч, они перевели дух, и один из них подошел к окошечку.

— Господин сборщик, — пробормотала Эстелла, — я с обжалованием...

Сборщик податей раздраженно пожал плечами и обратился к своим помощникам.

— Это удивительно, — сказал он: — вот и эта тоже воображает, что обжалование производится у сборщика.

— Но... — начала Эстелла.

Он перебил ее.

— Значит, — спросил он, — вы на этом настаиваете. Это я назначаю налоги? Директор контроля, министр финансов, агенты — ничего этого не существует?

— Все-таки... — пробормотала она.

— Никаких „все-таки“, — возразил он: — так же, как и никаких „но“... Есть мои деловые счета, и мне их вполне достаточно. Если они мне говорят, что надо обложить налогом ренту, — я облагаю; двери и окна — я их облагаю. Вам придет в голову замуровать все ваши окна и все ваши двери, как это делают арабы — я не смогу вам сбросить ни одного су.

Дело шло к посрамлению Эстеллы. Тех, кто за это время явился вносить налог, она заставляла ждать, и они не скрывали своего неодобрения.

— Это не ее вина, — сказал один, — это — у нее от рождения.

Она не понимала своего смешного положения, но постепенно теряла равновесие. Она мне напоминала глупую овцу, которая мечется среди кустов и, не чувствуя колючек, оставляет на каждой из них клочок шерсти.

— Ну, что же, — сказала она, — я заплачу.

Сборщик улыбнулся.

— Что вы хотите платить, — спросил он, — у вас есть ваш розовый листок?

— Я хочу оплатить патент, — ответила она. — Господин Рейан вчера донес на меня.

Тогда сборщик податей, его уполномоченный, конторщик не смогли более сдерживаться. Они разразились смехом, и хохотали до упаду. Один из них страдал одышкой, и, когда он затихал, то казалось, что смех в нем нагнетается раздувальными мехами.

Начальник наконец собрался с силами, чтобы сказать:

— Приходите в будущем году, — посоветовал он. — Тогда, может быть, ваше имя и будет в списках. Пока агент справится у священника и осмотрит ваши вещи, деньги могут вам принести проценты.

Обыск! Эстелла, приведенная в ужас новой оглаской, которую она вызвала, не трогалась от окошечка. Сосед грубо ее оттолкнул. Я улыбнулся, чтобы никто не подумал, что я с ней заодно. С другой стороны, я не хотел показывать сборщику податей, что его сотни тысяч франков меня поразили. Потому, что я богат. Я живу в единственном доме городка, где ковры по коридорам доходят до самых дверей. Незнакомые женщины, одетые в бархат, иногда приезжают в автомобиле без всякого предупреждения, нарочно, чтобы пообедать с отцом. Даже сам контролер знает, что для моей семьи охотничьи собаки имеют не большее значение, чем овчарки, и он не решается оценить их дороже франка. Не правда ли, Нини, я богат?

Она отвечает, как бы говоря о чем-то ином, и это только новое доказательство моего богатства.

— Закрой глаза! Тебе принадлежит все, что ты видишь!

* * *

Нас остановил шорник Потти, который плел кнуты. Каждый год 14 июля он ездит в Париж и любит об этом поговорить. Нини улыбалась его восхищению чуть-чуть печально, по своей скромности. Но Потти всегда все понимает к концу разговора лучше, чем в начале. Он подумал, что она осуждает его, и рассердился:

— Позвольте, — спросил он, — в чем вы можете упрекнуть Париж?!

Было слишком много свидетелей, чтобы отвечать; воробушек задевал нас при полете — таком безрассудном и неровном, будто он был прикреплен к небу резинкой. Курица кудахтала, несмотря на сумерки, надеясь зачислить свое яйцо на завтрашний день. Мальчишка, за которым гнались, вдруг завернул за угол шорни и так и остался здесь, рассматривая нас.

— Что касается меня, — утверждал Потти, — то я люблю Париж. Говорить о нем дурно, значит не знать о чем говоришь, потому что он к нам так близок, а уж если раз посмотришь его, то и смотреть больше нечего. Во-первых, женщины. Они так и снуют там... Потом иностранцы... Я там видел румын, турок и даже, как мне сказали,

большая часть тех, что себя называют корсиканцами, на самом деле итальянцы.

— Возможно, — осмелилась вмешаться Эстелла, — но что вы скажете о преступлениях?

Поти только этого и ждал. Его взорвало.

— Вы! — воскликнул он, — когда вы начинаете говорить, то уж лучше бы вам вовсе рта не открывать! Преступления! Разумеется, я скажу вам, что я о них думаю: я считаю, что это чудо, если на три миллиона людей, которые всегда живут вместе, не расставаясь даже на одну минуту в неделю, их не случается еще больше. Но всегда люди находят, кого осудить.

Он поклонился Нини и вышел на середину улицы, чтобы попробовать свои кнуты. На глазах Эстеллы были слезы, но почтальон, заметив ее, подошел и дал ей в утешение письмо. Прочтя его, она окончательно расплакалась.

— Нини, Нини, — всхлипывала она, — я уеду с вами, даже не возвращаясь домой. Жить здесь невозможно! Вы видите: Потти, сборщик податей, весь мир против меня, а тут еще герцогиня мне пишет, чтобы я оделась монахиней и вышла сегодня вечером навстречу богомольцам. Придется-таки им меня подождать! Прощай, крошка!

— До завтра, Эстелла.

Она едва слышит меня. Она не слышит удара летней молнии, заставляющего вставать на дыбы лошадей, думающих, что Потти пробует новый гигантский кнут. Но пусть она уходит; нечего жалеть ее — она не избежит монастыря.

Но я спрашиваю себя, почему пресвятая дева выбрала именно ее. На ее месте, вместо того, чтобы идти к первой попавшейся больной, не наводя справок, я остановился бы у гостиницы, при въезде в городок. Было бы пять часов, когда все жители выходят к дверям, чтобы пожелать дню спокойной ночи. Меня бы едва заметили, потому что это час, когда почта меняет своих лошадей и из коляски выходят самые разнообразные путешественники: новые учителя, растерянные, с корзиной яиц в одной руке и дождевым зонтиком в другой; зубные врачи, которые улыбаются старым дамам, словно для того, чтобы по их деснам, видным при ответной улыбке, угадать их возраст; капитаны артиллерии, которые проверяют карту департамента, и раскладываются, когда проходит хозяйка гостиницы. Я бы уселся на зеленой скамейке, которая осенью тоже желтеет, растрескивается и осыпается. Дождя или совсем нет, или он такой мелкий, что грозит лишь замочить шляпы, не больше; поэтому их снимают, и у учителя теперь три свертка, вместо двух. Солнце так и не показывается, или, самое большое, бросает несколько разрозненных лучей, которые подбирает луна: учитель одевает шляпу и роняет зонтик. — И тогда, среди молодых девушек, спускающихся по улице обнявшись, я бы и выбирал: Адель Курто, отец которой служит привратником в замке, проходит впереди одновременно и слишком болтливая, и слишком угрюмая, так что

езде — в церкви, на кладбище, у пруда — ее принимают за привратницу. Потом Элеонора, губы которой так тонки, словно они чем-то заняты внутри. Потом красивая Валентина, портниха, которая рекламирует свои корсеты тем, что не носит их сама. Но я не выбрал бы их, не выбрал бы и Эстеллы, которая поклонилась бы мне, так как она кланяется всем, кого она не знает. Наконец — наконец приходит принцесса Бадэ, дочь управляющего. Я бы знал уже, что она часами танцует вальсы Шопена, совершенно одна перед своим зеркалом; да уж по одному тому, как она ходит, я бы догадался, что у нее крылья. Я бы пожелал, чтобы она танцевала. Офицеры, путешественники, собрались бы вокруг нее, ударяя в ладоши, а учитель поставил бы свою корзину с яйцами на-земь, чтобы сделать ее танец более затруднительным и осторожным. Тогда, смущенная и трепещущая перед этой волей, которая ее принуждает и которой она не распознает, сгибаясь и кружась, она начинает гнать свое желание плясать от кистей к голове, от головы к бедрам. Оно не исчезает, — и она пугается, как ребенок, от которого не хочет улететь божья коровка, возвращающаяся постоянно на концы пальцев. Тогда я сжимаюсь над ней, я поднимаюсь в славе моей, и она, ослепленная лиловатым нимбом, окружающим божественное лицо мое, раскаивающаяся и ликующая от неизвестных ей причин — склоняется ниц.

II.

К пяти часам, когда богомольцы приближались, я вышел на встречу им вместе с деревенскими женщинами.

Был четверг. Это был день бесформенный и бесстрастный, проскользнувший между двумя частями недели, точно государство-буфер между двумя враждующими народами. Над ними можно безнаказанно смеяться и злословить. Но это был также тот день, в который бог создал животных, и все они, гордые днем своего рождения, забавлялись тем, что обменивались привычками, точно в раю. Лошадь каталась по земле, чтобы заработать овес; куры забавно подмигивали и прославляли петуха. Лягаясь, кошка гребла задними ногами песок; даже глядя спину уток, вы бы вызвали электрические искры. Одни только собаки скромно садились около вас и лизали вашу руку, не допуская никакого иного творца. Но если вы делались рассеянными, они задерживались у края дороги, чтобы щипать траву.

Но внезапно, не колеблясь, лошади заржали, куры закудахтали, осел заорал, хотя все и смеялись над ним; собаки, несмотря на угрозы, упорно лаяли: кортеж паломников приближался. Слышались псалмы, различные для каждого прихода, но старавшиеся звучать согласно; шум без отголоска колебался вокруг их колонн, как пыль вокруг марширующего батальона. Пыль и в самом деле носилась в воздухе. И внезапно из-за поворота они показались.

До сего времени, я видел только отдельных богомольцев. Они казались сконфуженными, когда на них смотрели, словно купальщики, которых болезнь задержала некстати и которые бродят в приморском городке, когда купальный сезон уже давно кончился. Они оставались перед велосипедами, под деревьями, по краям дорог, бродили вдоль тротуаров, краснея, если продавщица показывалась у дверей магазина. Но сегодняшние богомольцы лились потоком, сомкнутыми рядами и со сжатыми кулаками, не видя, что солнце, словно издеваясь, едва плыло на уровне дымовых труб, и у всех было лишь то опасение, что они пройдут через город — конечный пункт их паломничества, не заметив его. Если бы пресвятая дева оказалась рядом с ними, они бы и этого не заметили. Они не обратили никакого внимания на дом Бонвэна и должно быть приняли за крыжовник его знаменитые японские деревца. Они не видели слепых монахов, которые, не получая милостыни, решили, что какой-нибудь шутник поставил их спиной к дороге. Они и не посмотрели на сенегальского офицера-спаги, словно в Боме их стоял целый гарнизон.

К тому же я угадывал, глядя на них, все их грехи.

Во главе шла Спесь, гордясь своими ошибками, гордясь своим вождем, соборным настоятелем Сала, который, гордясь своей плешью, отбивал такт. Они торжествовали свое прибытие, к тому же прибытие при солнечном свете, считая их паломничество и солнце делом рук своих. Они торжествовали при виде того, как наш аббат поскользнулся о булыжник, и готовились торжествовать наступление ночи, которое один из них предсказал. Потом, следом за Спесью, не догоняя ее однако, шло тщеславие, улыбаясь и насмехаясь над предшествующей, подобно тому, как луна насмехается над солнцем. Мужчины одели свои сюртуки, чтобы показать, что если они не носили их раньше, то только из оригинальности. Потом потянулись лжецы, завывая латинский псалом и рассчитывая нас обмануть, потому что мы не понимали его. Им казалось, что идет дождь, и что они еще не прибыли. Потом шла группа, грех которой я не сумел определить: мужчины и женщины, идя врозь, делали вид, что не узнают друг друга; женщины улыбались сами себе в течение целых минут, потом вдруг спохватывались, кусая себе губы. От этого они краснели. Подобно тому, как учитель подчеркивает ошибки учеников, бог подчеркнул их глаза черной и коричневой краской; казалось, что на руках их были ажурные перчатки; они дышали спокойно, даже когда улыбались, и ветру не-за-что было ухватить их гладкие блузы. Но мужчины были изнурены и едва волочили ноги; казалось, все напоминало им их вину: — лейтенант-спаги, сабля которого звякала, и комиссар полиции, с перевязью через плечо, с ключами в руке наблюдавший шествие.

Священник беспокоился, потому что Эстеллы все не было, несмотря на то, что, согласно ее желанию, для нее был приготовлен балдахин; считая меня ее наперсником, священник подозвал меня.

— Иди за своей приятельницей, — сказал он мне, улыбаясь. — Что еще она там придумала? Чорт возьми, не часто ее придется видеть, когда она будет на небе!

Я заставляю их еще подождать, прежде чем открыть убежище ясновидящей: надо дать время ее проступку стать непоправимым. К тому же еще едва видны три экипажа, откуда организаторши присматривают за арьергардом. Вот они. На империале молодые девушки подпрыгивают, когда ветки хлещут их по щекам, потом они подстерегают момент, когда это повторится со следующим экипажем, и, отмщенные, смеются. Одна из них приподнимается, чтобы сорвать каштан, это ей не удается, она снова садится с пустыми руками, а все-таки ее кулак остается сжатым и круглым, словно в нем ядро.

Рядом с кучером маленький бульдог лает без передышки; когда ему отвечает другая собака, дамы патронессы трепещут, чтобы он не спрыгнул, и все три порываются его схватить; когда шарабан останавливается, он ускользает от них, пуская слюну, но, при виде приближающейся датской собаки, умолкает и, уступая, поджимает хвост. Но зато он отыгрывается на священнике, который помогает выходить из экипажей, поторопив детей сходить за Эстеллой.

— Идите скорей, — поручает он им: — госпожа Делот уже здесь.

Госпожа Делот, патронесса святого Спасителя, соседнего богомолья, дела которого пошатнулись из-за ясновидящей, приехала, очевидно, чтобы поразнюхать. Иначе зачем же ей так щурить глаза? И зачем привезла она с собой эту негритянку, которая каждую секунду неприлично вращает глазами? И почему спросила она, целуя руку священника, тогда как ее спутница на кой-то чорт следовала ее примеру:

— Но, господин каноник, разве Эстелла больна?

Он не ответил. Следующий экипаж вознаграждал его за все неприятности.

Опираясь на руки монаха, двое хромых, первые немощные, привлеченные богомольем, набожно подходили под благословение. Первый, правда, был всего лишь ревматиком, но второй был настоящий калека, с двумя костылями, уже выщербленными и потертыми, как *ex-voto*; с извиняющимся взглядом, как бы говорившим вам: „О, вы, я вижу, знаете, кто я такой — с этой моей правой ногой, которая волочится и подпрыгивает, едва почувствует левую ногу“.

Но, в самом деле, где же она, эта левая нога?

— Она ампутирована, — объясняет монах.

Чемодан падает с империала, едва не задев наши головы. Священник дает оплеуху слишком любопытной девчонке, вертевшейся возле него — и я понял его гнев. Ампутирована! И нужно же было небу выбрать хромого, чтобы отрезать ему ногу, тогда как к его услугам были все эти старые патронессы: госпожа Ферре, расплывшаяся от жиру, госпожа Делот, или, в случае надобности, эта негритянка, отряхивающая вон там пыль со своего платья, которое, однако, не делается

от этого блее. И вот спускается ночь. И вот возвращаются дети, крича во все горло:

— Господин священник, Эстелла уехала еще с утра со своим чемоданом! Никто не знает, что с ней случилось?

Викарии бледнеют. Госпожа Делот улыбается, зная, что может случиться с ясновидящей. Девочки из школы, чтобы отомстить за их подругу, получившую оплеуху, ворчат все вместе, что Эстелла, да, сама Эстелла им необходима. И все поворачивают глаза ко мне, зная меня за наперсника святой — а я позабылся бы еще целый час, заставляя их ждать, если бы с парфюмерной фабрики, по направлению к нам, не спускались рабочие — анархисты. Не стоит предавать скандал огласке. Они и так нас задирают, затягивая в насмешку псалмы. Я говорю на ухо священнику, что Эстелла не придет. Он смотрит на меня так, словно хочет дать мне пощечину, забывая в своей ярости выдохнуть воздух, который он в себя набрал; он набирает еще больше и, наконец, дает знак, чтобы все расходились. Группа лжецов идет во главе, бросая мне долгие взгляды, которые должны обозначать:

— Ну, что же, ты видишь, мы идем в хвосте.

Хромоногие замыкают шествие. Дог ворчит; ветер, выпивающий солнечные пятна, доносит до нас ароматы с фабрики; несмотря на то, что сегодня четверг, день, когда фабрика обрабатывает вербену, на трубы облакачиваются маленькие облачка цвета чайной розы и жасмина. Их пререзают стрижи, вылетая из своих гнезд!

Я иду в двадцати шагах от последнего паломника. Мои ладони, разогретые солнцем, пахнут гелиотропом. Рабочие - анархисты, думая, что я наказан, подражают крику осла, и окликают меня, пощипывая девок.

* * *

Сумерек не было. Столько разрозненных лучей вдруг собралось и присоединилось к солнцу, что гигантская туча сразу растаяла. Ночь распростерлась смело и непринужденно. Тонкие тени зашевелились в карнизах под потолком и не пугались, даже когда поднимали лампу. Неумолчные шумы предупреждали о ветре, но, налетев на вас, он откидывался обратно, довольствуясь лишь вашим испугом, и разливал вокруг птиц и запахи. Наконец, блестящее острие пронзило небо, вытянулось, оказалось месяцем. Стало слышно, как маленький колокол часовни мало-по-малу приближался; казалось, что он звонил уже в хлеву; и вот стало видно, как одряхлевший день воздвиг свой шатер — маленькое облачко голубое с белым, которое постепенно делалось зеленым и желтым, потому что была уже ночь.

Чтобы вознаградить паломников за первое разочарование, священник попросил их собраться к девяти часам во дворе монастыря. Он обещал им, что Эстелла будет сидеть у своего окна, и они пройдут мимо, кладя на ее подоконник свой обол и целуя ее руку. Мне велел он также прийти и сесть рядом с ней, зная, что ее не привыкли

видеть без меня. Я уверен, что она не вернется, и совсем не тороплюсь. То-то будет скандал!

Почти у каждой дверей разговаривали. Глядя на всех этих иностранцев, бегающих на почту, теряющих чемоданы, путающих табачную лавку с бакалейной, фотографирующих какой-то воз, запряженный коровой, — жители Бома почувствовали особенно ясно, насколько обитаемая ими страна выше всех остальных и насколько путешествующий человек теряет в своем достоинстве. Отец Линьеле, который при Наполеоне участвовал в китайском походе, в этот вечер нашел слушателей. Каждый делался горд самим собой, слушая его.

— Что касается еды, — говорил он, — то ее всегда достаточно. Но, что более всего меняется, это то, что видишь. Нет ни одной вещи, которая не была бы желтой. Там носят желтые платья так же охотно, как у нас синие. Когда вам попадается речка, то приходится удивляться, как в ней живут рыбы.

— В Париже... — начал Потти.

Но отец Линьеле не допускал соперничества. Он оборвал его.

— В Париже, — возразил он, — могут делать, что хотят. Но там любят желтое. Розовое, коричневое, красное — это дудки! Вот бы вам увидеть китайку! Некоторые из них были у нас в лагере маркитантками. Башмаки, чулки — все до самой рубахи у них было того же цвета, говорю я вам.

— Чулки, — повторил старый Маорэн насмешливо. Отец Линьеле подмигнул ему. — Ты, — сказал он, — ты-то их знаешь! Вдобавок, надо их взять пятнадцать штук, чтобы сделать одну француженку.

Девять часов прозвонило, надо было уходить. Но как раз вышло так, что случай постарался разрушить чары всех этих стран, к которым меня влекла каждая прочитанная книжка. На скамье возле гостиницы сидела негрятка госпожи Делот, скрестив руки и не боясь их спутать, потому что на одной из них было золотое кольцо.

— Вы замужем? — спросил я.

Она прочла в моих глазах жажду узнать — негр ли ее муж. Но мой вопрос ее не удивил — я знаю, что в Африке, здороваясь друг с другом, открывают тайны, самые нежные и самые ужасные, а иностранец, представляясь, должен рассказать все свои любовные дела.

Она и начала:

— У вас точь-в-точь такие глаза, как мне нравятся, — утверждала она, — мне также очень нравятся ваши волосы.

— Да, — ответил я, коверкая слова: — „он и виться“. Она, должно быть, не поняла моей насмешки и, не сердясь, посадила меня к себе на колени. И тут моя голова задела амулет на ее груди, и вся ее страна встала разом передо мной, с ее пригорками и бухточками. Склоны осыпались, обнажая охра и кармин. Заросли лиан проваливаются куда-то внутрь, потом вздуваются, как если бы все эти леса имели свой прилив и отлив, или как будто они были сделаны из резины; какаду, пойманный обезьяной за хвост, отбивается на смерть

и пиццит, забывая в смятении, что он умеет ругаться по-португальски; гигантская черепаха, пойманная накануне, убегает, никем не удерживаемая, и целых шестнадцать негров — в синих с кирпичными полосками передниках — едут, обнявшись, на ее спине. Но ведь земля тащит их еще большее число и все-таки подвигается вперед.

— Не скажете ли вы мне, как вас зовут? — спросила она.

Чары были разрушены. Я посмотрел на нее и увидел ее глаза, полные слез: я понял ее отчаяние. Она горевала потому, что в этот вечер для нее уже не оставалось никакого сомнения в том, что ночь — это обратная сторона дня. Потому, что все ей доказывало, едва она выходила из дому, что светлая окраска наших равнин и наших лиц была нам пожалована не даром, но была нами добыта счастьем и трудом тысяч лет. Потому, что она, наконец, поняла наши обнаженные поля, освещаемые каждым утром по-новому; наши родники, в которых плавают масляные круги, так, что кажется, что достаточно вспенить воду, чтобы получить сливки; град, шлифующий косогоры и крыши, и ночные часы, сквозь которые уже видна луна и которые дают полдню остыть в оконных впадинах, шутливо его подталкивая. Прибавьте к этому, что медлительная тень постепенно образовывала вокруг нее лужайку. Она хотела меня поцеловать, я отряхнулся и убежал.

Была пора; кортеж уже собирался на углу возле дома священника, а мне сильно хотелось позабавиться скандалом, какой должно было вызвать отсутствие Эстеллы. Я вошел в ее комнату на цыпочках, но, о чудо! — она была тут. Сидя у окна под черной вуалью, она ждала, не произнося ни слова. Священник задул лампу и усадил меня к ней на колени.

Но, слава богу, это не были колени Эстеллы. Каждая пружина их дрожала, то подаваясь, то натягиваясь злобно, и потом неторопливо уступая под тяжестью. Мне незнаком также и этот запах: аромат ажурного папортника, пахнущего грибом и мятой; аромат тех летних месяцев, когда каждый флюгер пламенеет, едва колеблясь.

Я догадываюсь: Эстелла не вернулась. Меня посадили на колени к ложной святой, так же, как кладут кошку с котятками на стог сена, в котором спрятался беглец. Переодели или герцогиню или одну из работниц с парфюмерного завода.

— Ну, что же, Эстелла, — говорю я, — ты меня так и не поцелуешь сегодня?

Она не отвечает, даже не наклонилась нисколько — это герцогиня. Итак, я держу ее в своих руках, ее, которая не хочет целовать никого, кроме равных себе, и отказалась на последнее Вознесение, в день, когда ей исполнилось тридцать лет, подать руку крестьянину, преподнесшему ей букет от имени арендаторов. Что, если я отомщу за них и разоблачу ее внезапно в разгаре торжества.

Но ее рука пренебрежительно притрагивается к моей. Ее сердце, излучающее ароматы, громко стучит — непрерывно и безудержно — и стук его отдается в каждой ее жилке. На ее груди есть то, чего

не было у Эстеллы: как раз место для моей головы. Я чувствую, что начинаю сдаваться, я говорю лишь:

— Эстелла, поцелуй меня на глазах у всех богомольцев, или я закричу „да здравствует социализм“.

Я знаю женщин; они любят жестокость, если только знают, что она служит для их удовольствия.

— Сиди же, мальчишка, — говорит она сурово:—ты меня задушишь!

Паломники проходили по четыре в ряд, с непокрытыми головами, над которыми они несли венецианские фонари, вероятно, чтобы обогреть их; старухи мною любуются, и все глядят на нас смущенно, а я забавляюсь, разглядывая их так пристально, что они опускают глаза; и сквозь вуаль, который отпечатлевает ромбический узор на моих губах, — тогда как ее собственные губы остаются сжатыми от бешенства, как будто не думая об этом и не улыбаясь — герцогиня Мартэн меня целует.

III.

Это не рать шелковичных червей, гложущих листья; это не паровой коток, давящий улиток и жуков, усеявших землю; это не сборище покупателей „Маленького парижанина“, которые забавляются тем, что мнут, а потом рвут свою газету:—это дождь. Но в этом можно усумниться, потому что едва видно. Только на аспидных крышах, да на лужах мостовой лопаются пузыри — и самое большее кажется, что земля вскипает. Неизвестно зачем, викарий повел меня с собой на розыски Эстеллы; я следовал за ним с трудом, потому что у аббатов шаг длинный и сухой; кажется, что они приводятся в движение электрическим током, тогда как старые священники на ходу как бы подбрасывают уголь в печь. Торговка апельсинами попыталась остановить викария, он набросился на нее:

— Вы с ума сошли, как по-вашему — куда я их дену?!

Так что я боялся, как бы он не налетел на папашу Морэна, который катал свои бочки, подзывая нас взглядом и уступая их нам по своей цене.

Не было никакого сомнения: у Парижанки была стирка. Вокруг дома, цепляясь за липы, бежала веревка, отягощенная бельем, которое было украшено таким количеством прошивок и кружев, что ветер протекал сквозь него, даже не раскачивая его. Парижанка сидела у окна и улыбалась, словно говоря нам: „Вы видите, как мне не везет,— достаточно мне начать стирку, чтобы пошел дождь“.

Аббат оказался плохим дипломатом, он притворился, что не видит ее. В довершение неудачи звонок, который он робко дернул, звенел по крайней мере минуту, словно внутри он болтался на веревочке. Поэтому, когда Парижанка подошла и открыла дверь, она не предложила нам войти.

— Мадемуазель, — сказал мой спутник, — вы будете отрицать, вы будете утверждать противоположное, но... но Эстелла здесь.

— Это ее дело, — ответила она, спокойно. — И к тому же я не мадемуазель, я дама.

Видно было, что она не лгала. Я бы сам угадал правду, если бы раньше задумался над этим вопросом.

Прежде всего: девушки выбирают часть своего лица или тела; и ей одной только и уделяют свое внимание; Нини же старалась, чтобы взгляды естественно текли по ней, не встречая ни препятствий, ни поддержки. Так, что вы вспоминали ее рот, глядя на ладыжки, и бедра, глядя на рот. Дело также и в том, что она не имела упрямства, как те, кто не имеет тайн: девушки воображают, что покоряются вам всецело, если говорят вам „Здравствуй“ в то время, как в голове у них засело „добрый вечер“; но Нини соглашается с вами, светит ли солнце или идет дождь.

Аббат, смущенный, подбирал извинения, когда внутри помещения, по каменным плитам коридора зазвенели деревянные башмаки, он возвысил голос:

— Мадемуазель Эстелла, — закричал он, — это я, аббат Саломон! Он кричал это радостным голосом. потому что это означало также: вы видите, не послали же настоятеля, чтобы принуждать вас. Не забывайте также, что это именно я захожу к вам каждый день выпить рюмочку черносмородиновой наливки вместе с вами. А раки аббата Саломона, ведь они вкусны, — так или нет?

Ответа нет, быстро же забывают женщины! И неужели Эстелла не помнит, как талантливо викарий изображал матушку Анрио, мнимую больную, которая кричит — коснется ли врач ее шеи, боков или груди:

— Это здесь, доктор, здесь, не иначе, как здесь!

— Господин аббат, — сказала Парижанка, — не убивайтесь же так. Бывают и большие несчастья.

Мой спутник сжал кулаки.

— Большие несчастья! — вскричал он. — Хотел бы я их видеть! Больше несчастье, чем низость святой — назовите-ка мне, раз вы его знаете?

Я сам их насчитал с десяток, разглядывая одно только лицо Нини: иметь глаза, словно прожженные железом, раскаленным до-бела; иметь носовую перегородку, продырявленную как попало; иметь губы, обретенные бритвой, оставившей лишь их очертание; получить сабельный удар, раскроивший рот до самых ушей.

Однако Нини знает более ужасное несчастье, потому что одно напоминание о нем заставило ее заплакать — но совсем тихонько, чтобы ему не придали большего значения, чем она сама.

— Господин аббат, — сказала она, — не настаивайте. Эстелла к вам вернется, когда я уеду. Я жду только письма, которое может быть уже завтра меня отзовет.

И вот мы возвращаемся безрезультатно. Мы снова пересекли маленький садик, огибая прямоугольные глыбы, похожие на могильные плиты, и шагая через другие — маленькие четырехугольные, словно

гроб был поставлен в землю вертикально. Белье натягивает веревку. Ветер покачивает и сушит плохо разостланные облака, роняющие последние капли. У калитки мы встречаем рассыльного с телеграммой в руке, его сопровождает сорока, которая в полутрауре опускается на подоконник Парижанки.

О том, что Нини задушилась, узнал я на другой день только случайно, потому что теперь люди прячутся, когда говорят о смерти. Прежде мне казалось, что о ней думают не так уж плохо или что, во всяком случае, у меня с ней нет ничего общего. Правда, однажды вокруг левой руки мне повязали креповую повязку, словно для какой-то мрачной помолвки, но при этом смеялись. В другой раз отец вошел в мою комнату с телеграммой в руках и сказал почти насмешливо: „Эге, славно им в Шатре живется! Обе твои тетки Пикар умерли от тифа“. Случилось также, что умер мэр. Никто и не подумал делать из этого тайну. Меня вывели на балкон, откуда я смотрел, как несли гроб, сопровождаемый оркестром, — который играл что-то, противоположное маршу, — и членами гимнастического общества, одетыми в трико и белые чулки, словно они собирались делать прыжки через могилу. Но за последние один или два года словно какой-то закон нарушают умирающие. В тот вечер, когда моя кормилица была в агонии, меня выбрали за то, что я пробрался в ее коридорчик, и все радовались, когда она исповедовалась. Случается, что, когда я захожу в маленькую гостиную, где мой отец принимает своих клиенток, они понижают голоса, и я догадываюсь: они говорят о смерти, и я скромно ухожу. В дни похорон идет дождь и сопровождающие под сталкивающимися друг с другом зонтиками идут на кладбище, как римляне на приступ. Но я спрашиваю себя, что будет, если мэр снова умрет.

Парижанке никто не сочувствует. Когда хочешь покончить самоубийством, то возвращайся туда, где ты родился, а не показывай так необдуманно людям, что с ними нельзя жить. Нини была вдобавок менее чем кто-либо вправе упрекать городок за свои неприятности: она ведь незнакома была ни с Бувэнами, которые никогда не сидят на месте, ни с семейством Бло, которое, по его собственным словам, не знает, что значит быть печальным. Вы видите? К тому же, раз она решила себя убить — к чему было затевать стирку?

Священник нашел Эгеллу у изголовья покойницы, но когда он вернулся в полдень, она уже исчезла.

* * *

Сын Миллэ, ее двоюродный брат, не замедлил ее продать. Вернувшись домой, он застал ее разговаривающей с его матерью, и несколько не показался удивленным. Роспили даже бутылочку. Тем не менее, в восемь часов на другой день он выходил из дома священника, которому ее выдал.

— А ну-ка, плут, — сказал он мне, — послушай, что ты должен сделать: ты бежишь со священником к матушке Миллэ, потом возвращаешься в гостиницу Римлян, где я в ожидании тебя пью вермут, и ты мне расскажешь, как святая приняла эту историю.

Он мне придавил левое плечо, которое казалось ему выше правого. Потом он ударил меня по руке, которая болталась. Наконец он щелчком водворил на место мою правую челюсть, которая выдается вперед. Я был горд, что он уделяет мне столько времени, потому что на нас смотрели из мастерских, а ведь нет ни одной девушки, которой бы он не нравился. Он их целует посреди улицы и меняет каждые две недели. К тому же на него нет никакой управы: нельзя облить его серной кислотой, потому что у него была оспа, и лицо его и так рябое. Невозможно также выйти за него замуж, потому что он ленив и спит иногда целыми неделями, охая и отбиваясь во сне. На восьмой день мать его расталкивает:

— Ей, сын Миллэ, — говорит она, — подымайся-ка: пора и отдохнуть.

Казалось, Эстелла совсем не удивилась нашему приходу. Она подошла почти весело и протянула руку. Аббат отдернул свою.

— Дочь моя, — сказал он, — сговоримся сначала. Всегда останется время пожимать друг другу руки. Этим утром у нас был ваш брат. Он полагает, что вы расположены завтра же вступить в монастырь, если мы вам оплатим дорогу в Рим.

Он умолчал, что сын Миллэ потребовал за услугу двадцать франков. Эстелла, пораженная, не имела мужества сказать, что ее двоюродный брат солгал.

— Никогда, — сказала она, — будь то Рим, или какое угодно другое место.

Но она говорила почти шопотом, рассеянным и усталым голосом.

Священник понял, что она сдается. Он настаивал:

— Рим — это вам не Шатору, — сказал он, — подумайте.

Матушка Миллэ подросла к капитуляции с таким видом, как ни в чем не бывало. Нельзя было терять времени.

— Вы даже сможете переменить поезд во Флоренции и посмотреть город.

Чудесные имена городов, он произносил так медленно и мягко, что они как бы вставали перед тобой вместе с их улицами.

Счастливая Эстелла, я вижу его, этот Рим! Рим на морском берегу, где в голубом песке отражается небо; он тянется от холма, увенчанного замком, — до вулкана, который на другом берегу залива дымится как маяк. По берегу прогуливается святой отец и покупает у чернокожих фиги, за которые его камерарий расплачивается цехинами. Дамы приподнимаются в гондолах и пытаются сделать реверанс, но внезапно падают обратно на сидение, тогда как их отражения дрожат на воде, которая их то комкает, то расправляет. На баграх, на стеблях цветов, на крюках виселиц раскачиваются все колокола мира. Это цветущий Рим! Это Пасха!

Эстелла возвращается с нами, еще не дав согласия. Я ей рассказываю об Италии и об одном дяде, который знает ее от Севера до Юга; но она думает, что я хочу уменьшить заслуги тех, кто туда едет.

— Бедняжка, — говорит она, — вот ты и завидуешь!

Как это похоже на мою святую! Она не может понять, зачем выдумывают и лгут. Но мне было бы так легко ее посрамить: спросить только, где находится Рим — в Швейцарии или в Венсенском графстве. Тогда она посмотрит на меня подозрительно и встряхнет головой, чтобы подыскать ответ, подобно тому, как встряхивают мешочки лото, чтобы вытащить счастливый номер. Но пусть она сама выпутывается. Меня ждет сын Миллэ.

* * *

Он заметил меня с террасы и закричал, ударяя пустой бутылкой по столу.

— Ах, несчастный! — ты не знаешь, что тебя ждет! Госпожа Альфонс угощает тебя абсентом.

Я хотел ему рассказать про Эстеллу.

— Никаких Эстелл! Посмотрим, не побоишься ли ты выпить абсент.

Я его никогда не пил. Как объяснить сыну Миллэ, что я люблю помечтать заранее о том, чего я еще не испытал, и что я хочу, чтобы в тот день, когда я решаюсь на это, около меня был тот, кого я предпочитаю всем другим. Второй раз, — сколько ему угодно, но первый — я знаю, кому я предпочел бы быть за него обязанным. И все-таки я подчиняюсь, я цежу сквозь зубы жидкость, и под насмешливыми взглядами госпожи Альфонс я пью. Я выпил. Маленькие пузырьки поднимались в теплом воздухе; куры кудахтали, думая, что они слетелись, потому что бесподобная теплота раздувала их перья. С дерева завывала сова, — и всем верилось в чревоушательницу собаку. Потом, за исключением петухов, державших караул солнцу, все умолкло. Мое сердце не билось, а гудело. Чтобы посмотреть в сторону, я должен был поворачивать голову: к тому же, мало-по-малу, все приближалось ко мне, не толкая, а только едва касаясь меня. В вышине, слегка мутной, колыхались, точно бесцветный осадок вина, полотнища кисеи и вуали.

Земля вздрагивала, и можно было догадаться, что она кругла, потому что прежде чем показаться стенам, делались видны трубы домов. Дерево выросло вдруг возле стола, ушибая мне руки, — и внезапно, как если б я их никогда не видел, все деревья выстроились в полях и двинулись к нам: — тополя по трое в ряд, так, чтобы их нельзя было разлучить даже на корабле; вереницы ольхи, у подножия которой змеился ручеек почти иссякшей тени; зонтиковая сосна наклоняла ветви, как ступени, по которым горделиво спускалась тень;

потом акация, которую щадит молния, потому что каждый ее листочек имеет свой громоотвод. Потом двинулся весь лес целиком, оставляя за собой прогалины, словно следы своих ног.

Сколько я ни боролся, сколько ни ломал рук, понемногу я делаюсь девочкой.

Мои мальчишеские ухватки отрываются от меня клочьями, точно кожа линяющей змеи; мои руки удлиняются в воздухе, словно в воде ванны; и мое сердце, вместо того, чтобы оставаться круглым — вытягивается. Сначала меня зовут Агнессой. Нет ни одной вещи в мире, которая не казалась бы мне естественной и прекрасной. Не просите меня поцеловать вас, потому что я вас поцелую. И у меня еще десять других имен, которые я держу в руках, твердые и гладкие, как агатовые шарики, и я роняю их один за другим на цемент. Но сын Миллэ собирает их и обращается ко мне:

— Малыш, — кричит он, — я пью за здоровье всех женщин, настоящих, будущих и прошедших. О них можно сказать все, что угодно, но это не стоит труда. Я пью за блондинок, я пью за брюнеток, и не понимаю, почему бы нам не чокнуться за твою тетку Пикар, которая одна стоила двух.

Я счастлив, что он забыл про рыжих, я молча пью за их лица без единой тени, потому что нет абажура между их лбом и волосами; я пью — и вижу их перед собой, они выжимают косы на заре, приглаживают их щеткой и склоняются для того, чтобы капельки жидкого золота не падали на щеки и грудь, превращаясь в веснушки, но испарялись бы в первых лучах. Я пью...

IV.

Мельник не единственный из тех, кто просыпается, когда умолкает мельница. В те дни, когда земля остананавливается и несется по течению, наугад среди облаков; когда ни одно тик-так часов, падая на время, не расходует его, подобно тому, как капли воды не изнашивают меди — мы, смущенные, облакачиваемся на подоконник. Лошади, которые никогда не ходили иначе, чем шагом, зная, что земля движется за них — теперь пускаются вскачь. Старики отваживаются доходить до самой мерии и поднимают руки на воздух, чтобы показать, что их походка устойчива, как у моряка; девушки, шедшие обнявшись, — разнимаются; идя порознь, они переговариваются беспокойно, как пассажирки корабля, винт которого сломался. Кузнец подбадривает их взглядом, тогда как его товарищи жестикулируют, подбегая то к мехам, то к молоту — так что кажется, что именно в кузнице и производится починка.

Но я, я жду без нетерпения. Она двинется; вы видите: идет почтальон, а ведь он запаздывает при малейшем морозе. Видите, ночь опускается, но с такой высоты, что звезды делаются видны еще за светлом, ночь в полу-трауре, чуть теплая; она волнует вас, не огорчая,

как смерть родственника, которого вы не любите, но которому вы наследуете. Моя старая земля двинется, она уже двинулась. Листья осины, которые только что поворачивались своими серебряными спинками к небу — снова трепещут и полощатся в потоках воздуха; девушки опираются об руки молодых людей и все же идут не быстрее; что-то жужжит, однако это не лесопильня, и госпожа Робен — жена нотариуса, которая решила воспользоваться затишьем, чтобы покататься на велосипеде, — шатается, теряет голову, потом шляпу, потом педали и покорно падает, прокатившись едва сто шагов, у подножья придорожного столба, который издевательски показывает пятьдесят семь километров.

Эстелла, конечно, упустила хороший случай. Вот наконец-то и она: завтра она вступит в монастырь и сейчас пришла попрощаться с нашей гувернанткой. Она почти утешилась.

— Не знаю, — говорит она, — но мне кажется, что мне дадут доносить мои платья, и я буду надевать новую шляпу к богослужению. Само собой разумеется, я не дам остричь себе волосы.

Мы предлагаем ей рюмочку коньяку. Она прихлебывает его каждую секунду, то ставя на стол, то поднимая рюмку ко рту. Сухой ветер доносит до нашего окна, до нее самой тени вязов. Но тень пристает к ее платью не более чем вода к гусю, не более чем грусть к ее сердцу, и она беспричинно улыбается, ярко освещенная солнцем.

— В сущности, продолжает она, — мне бы надо было учиться играть на гармонiuме. Герцогиня присылала мне каждый четверг господина Селара из Боржа. Но я всегда ухитрялась попадать только на фальшивые ноты. Потом он засыпал, приходя ко мне, и просыпался, как раз когда ему надо было уходить. Тогда попробовали меня учить петь Ave Maria того музыканта, который самый знаменитый изo всех. Таким путем я могла бы быть полезной в приходе, даже если бы и не пошла в монастырь. Но мелодии входят мне в одно ухо и выходят в другое.

И так она продолжает раскаиваться, довольная тем, что может считать себя виновной; так доволен бывает ученик в день экзамена, находя ошибки в диктанте, который ему перечитывают. Но после каждого признания она берет рюмочку и слегка прикасается к ней губами. Она поджигает губы так, как если бы она пила уксус, а платье ее блещет на солнце, словно его посыпали солью; ее собака, вдыхая воздух, чихает: можно подумать, что в этот вечер природа сама из себя выделяет масло, перец и все приправы, как там, на Средиземном море. Эстелла просит еще сахара и продолжает:

— Насчет Рима, — заканчивает она, — я думаю, что с этим покончено. Герцогиня о нем больше не заговаривает, а чего она хочет, того она добивается. Вы видите, она же выстроила странноприимный дом Сакре-Кёр на коммунальной земле. Она отослала в департаментский приют слабоумных, которых Бом взял на прокормление, под тем пред-

логом, что они пугают богомольцев. Все сожалеют о них, это выброшенные деньги.

Они уехали этим утром, все вместе, вопрошая нас своими беспокойными глазами, потому что им не верилось, что они уже здоровы. Додю, который не танцевал дешевле, чем за два су, теперь отплясывал бесплатно перед каждой дверью, а Жан ля Дантель, больше не барабанил в кастрюлю, украденную за спиной какой-нибудь собаки.

— К тому же, — прибавляет Эстелла, — мне сказали, что в Италии такая жара! А когда мне жарко, и я не могу ходить в одной рубашке, то я никуда не поеду.

Она поднимается, и я ее провожаю до двери. Но почему, вместо того, чтобы поцеловать меня, она приближает свои губы к моему уху и шепчет:

— Завтра, в четыре часа, в монастыре. Принеси письмо, которое сын Миллэ даст тебе для меня до обеда.

И она уходит, втянув голову в плечи, в глубине удовлетворенная быть тем, что она есть, тогда как гуси, приведенные в отчаяние тем, что они всего лишь только гуси, вытягивают безнадежно по направлению к ней свои шеи, не имея возможности покинуть свои тела, набитые шерстью.

Когда служба кончилась, пятьдесят доминиканок вышли из келий и продефилировали парами, с четками в руках. Я не знаю, какое преступление тяготет над ними, должно быть, они совершили его внезапно — поднялись в один и тот же час и задушили своих пятьдесят мужей. Но ни одна из них, повидимому, не раскаивалась, за исключением часов, предназначенных для этого настоятельницей: и сестра Сульпиция, не колеблясь, показывает мне язык. А между тем, в монастыре ничего не пожалели, чтобы напоминать им об их позоре и об их женском грехе. В саду не было ничего, кроме яблонь, с которых они рвали в наказание яблоки, кроме лилий, ободранных и пыльных, да зарослей олеандра.

За изгородью резвились животные, удовлетворявшие их воображению: лебедь, беспокойный, как компас, который от времени до времени приходил в себя и по целым минутам вытягивал шею по направлению к Северу; бык, в поисках красной ткани, ждал, чтобы гроза сорвала крышу. Даже в самом небе парил орел, и лучи ниспадали вокруг монахинь золотыми слитками.

Эстелла прошла позже, под руку с настоятельницей, и ее камиллавка была на ней одета так же косо, как прежде ее шляпы.

Началась толкотня, чужеземные паломники получили разрешение осмотреть монастырь до начала посвящения и торопились вслед за монахинями. Сначала я узнал швейцарок, они выступали величественно и пыхтели так, словно дышали за всех; они были из тех женщин, которые годятся только парами, а порознь не более совершенны, чем прекрасная лошадь в одиночку. Затем кудахтая, шли немки, одна впе-

реди, другая сзади. Они читали вслух изречения и делали вид, что говорят по-французски.

Но мне хочется глядеть только на двух американок, которые, не торопясь, выступают в конце шествия. Сначала долговязая мисс Зезбра, в каком-то многоэтажном платье, с головкой, посаженной так высоко, что ей нужны очки, чтобы разглядеть нас. Неумолчно и беспричинно она смеется. Но с такой высоты смех не удивляет, не более, чем ветер среди вечно колыхающихся вершин больших деревьев. Мне жаль ее, если в Соединенных Штатах, для того, чтобы разбогатеть, достаточно наклоняться и собирать золотые самородки. Но мистрисс Арлин только высока и прекрасна. Красота отметила ее среди других так же, как проба отмечает чистое золото.

Ее ротик так мал, что улыбка не занимает всего лица, и не мешает глазам быть грустными. Они смотрят на вас, потом перестают, а вам кажется, что они и не двигались, а переместились вы сами. По временам они затуманиваются, и это напоминает вам, что Америка — остров.

Она увидела, что я восхищаюсь ею. Она наклоняется. Несравненные шелка мнутся в честь меня.

— Дорогой мальчик, — говорит она, — вы любите меня? Идемте со мной, вместе нам будет хорошо.

Пчела летает у ее губ, потом удаляется, с нагрудником, раздутым от досады: она ошиблась.

Кот, окончив свой дозор в полях полыни и мяты, уселся и обсыпает блаженно лапу, потом перестает, мурлычит.

Сын Миллэ не пришел и ничего мне не передал. Я уйду вдоль монастырских стен, которые бережно охватывают молчание, я уйду за руку с дорогой мистрисс Арлин. Я поднимаю глаза к солнцу, которое, слава богу, еще очень высоко, и медленно начинаю их опускать к моей спутнице. Но сначала они минуют шляпу мисс Зезбры, на которой самая большая в мире бабочка сидит на мохнатых гусеницах; потом голубятню, с которой голуби раздувают и влюбленно вздымают к солнцу воротники цвета гелиотропа; потом окно, из которого меня безнадежно зовут; потом глаза мистрисс Арлин — такие теплые и блестящие, что боишься, не растаял бы в них зрачок. Вместе нам будет хорошо, — не будем оглядываться. Не может же принадлежать Эстелле эта голова без волос, которая из-за решетки слухового окна мне улыбается, а потом, потеряв меня из виду, хнычет.

Перевод *Е. Рафальской*.

Рабочий поселок

(Из поэмы «ГУТА».)

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

1.

Густая облачная пена
Бьет в солнце,
Тонуший баркас.

Еще фабричная сирена
Не возвещала вольный час.

В работе люди и земля.
Лишь ветер шальный бьет баклуши,
Упругой лапой шевеля
Домишек ставневые уши.

От ветра просто нет спасенья!
Уже два дня, как дует он,
Своим назойливым зуденьем
Поселковый тревожа сон,
Стегая улицы, дома,
Покой пуховый пухлой пыли,
Летя в пыли, как лошадь в мыле,
Впиваясь в лица...

Вечер.

Тьма

Ударила в земные стены
И смыла облачную пену
И потопила весь баркас...

.....

Вот в этот час
В последний раз
Ревет фабричная сирена.

2.

Широк фабричный городок.
Его лицо в пыли и в саже.
Его губернию
Не скажем,
Цена Некрасовский порок.

Да и зачем кричать о ней?
Не любопытствуйте без толка!
Для нас важней, для нас ценней
Глаза фабричного поселка.
Чего же кроме? Тихий вид.
Кругом леса. Труба дымится...
Поселок на земле стоит,—
На той же самой, что столица.

Фамилия его земли
Россия...

Впрочем, разумеи-ка!
Ну, где еще создать могли
Такую вот узкоколейку?

Она,—узкоколейка та,—
Дорога наша в город Гуты.
Начнем с нее. Она проста,
Но стоит строчечной минуты.

Всего за двести от Москвы
Губернский город.

Это мало.
Беги, коль ноженьки резвы,
Одну версту до... зам-вокзала.

Узкоколейный сей вокзал
Пятнадцатое чудо света!
Коряв, убог, заплевал, мал...
Но интереснее — не это.

Пути — полшага шириной.
По весу паровоз —
Пудовый.

Как видно, за полтинник свой
Напутешествуешься вдоволь!

Бери билет, не кирпичась...
Вот пробил точный час отхода,
Но не волнуйся: через час
Второй звонок еще не подан.

Скорее посети вагон,
Чуть больше спичечной коробки.
Забудь про топочный огонь.
Засни,
Как машинист у топки.

Когда же брякнешься на пол,
Слетев мгновенно со скамейки,
Не думай, что «уже пошел»,
Не зная нрав узкоколейки.

А на скамейку не влезай.
Слететь не раз еще придется.
Ты, не волнуясь, ожидай,
Пока весь пол не затрясется,

А это значит:
Вняв мольбе,
Пошла живая лихорадка.
Пошла ни валко и ни шатко,
А так себе.

Когда проедешь в три часа
Каких-нибудь верстишек двадцать,
Не рви напрасно волоса,
Не знаючи, куда деваться.

Неумолим трясучий путь.
Еще не скоро будешь дома...
Но, если хочешь отдохнуть,—
Дождись до первого под'ема.

Пока вагоны будут плыть,
А паровоз пыхтеть слюняво,
Забудь про поездную прыть.
Ложись покойненько на травы.

Засни пожалуй... Дуй трубой!
Поспоришь с паровозным жаром!
А если самовар с тобой—
Не грех заняться самоваром.

Окончил —
 полезай в вагон
За лихорадку тупую.

Я не смеюсь. Ну, чем смешон
Столь вежливый брыкучий поезд?

Страна подобного тепла—
Россия...

 Возражать посмей-ка!

Ну, где же, где же быть могла
Такая вот
Узкоколейка?!

3.

Ельничек,
Сидельничек,
В березовый лесок.

Сосенки,
Как чесанки,
Подметками в песок.

Странная
Песчаная
С болотинкой страна...

Это
Из окна.

4.

Наш край лесами не обижен.
России без лесов зарез!
Чем дальше едешь (к цели ближе),
Тем краше разношерстный лес.

Под свежим солнцем нашим нежасть,
Роскошной простотой полны
Берез мальчишеская свежесть
И мудрость бодрая сосны.

Полян глубокие озера
И лодки пышные кустов,
Утесы роц и берег бора...
Земля лесов! Земля лесов!

Гордиться надо лесом нашим.
Нам пашни более милы,
Но тут над видом чахлых пашен
Смеются гордые стволы.

Край плодороден, как... резина.
Землицы горсть, песочку горсть...
Вот пашня, лес, песок, вот глина,
Рядком — болото в много верст.

Не будь совсем угля на свете,
Не стали бы у нас тужить.
Вот этим торфом два столетья
Заводов сто могло бы жить.

Земля не ждет людского зова.
Болото людям торф отдаст —
И мерно подымает снова
Тугой шестиаршинный пласт.

Природа и болотом скромным
Чудеснее любых чудес...

Проходит вновь стеной огромной
Чудесный разношерстный лес.

Порой вагон плетется боком
Тогда,
Как пальцы без руки,
В прорешины открытых окон
Суются ветки и сучки.

... Но расступись-ка, лес. Как-будто...
Как-будто... да. Уже привез.
Вдали завидев город Гуты,
Гундосит бравый паровоз.

Вон гута, фабрики, поселок.
Поют приветные гудки...

Кругом толкучка.

С верхних полок
Сползают ноги и мешки.

Забил все выходы вагона
Сердечнейший расейский мат.
Срезает наскоро погоны
Безусый фронтовик-солдат.

— Забыл... а дома-то неловко!
Бросает всем и никому.

Вот буферная потасовка
Усиливает кутерьму,
Момент,
И, будто по приказу,
Всех друг на друга стало гнуть.

Рывок —
И все упали сразу.

Приехали.
Окончен путь.

5.

Впрочем,
Это
Ничего не значит.

Кому кончен,
Кому начат.

6.

... Мимо двух комнатух вокзальных,
Мимо двух привокзальных телег,
Начинайте вы путь свой дальний,
Как приехавший человек.

Мы пойдем не спеша и не скоро
(Нам картина такая мила!)
И посмотрим поселковый город,
Город пряжи
И стекла.

7.

С вокзала прямо пролегла
Домов широкая аллея.
Аллея, от зари алея,
Полна волнистого тепла,
Хоть ветер лезет в каждый дом,
Тугой, напористый, шершавый,
Пылинок пепельной оравой
Дома стегая, как дождем...

Еще недавно,—вот вчера,—
Аллею эту не любили
За то, что в ней, как баре, жили
Канторщики и мастера.

Попасть в дома такие — честь.
(Рабочую семью не дашь в них!)
Таких красавцев двух'этажных,
Кроме казарм и этих, шесть.

Но важный двух'этажный кров
На треть был занят рядовыми,
Когда февральский ветер вымел.
Всех неугодных мастеров.

Поселок сам их наказал!
Проклятий жирных не жалея,
По этой самой вот аллее
Он вез их в тачках на вокзал.

Их с тачек вывалили браво,
Кого в навоз, кого в тюрьму.
Всего два месяца тому
Была подобная расправа...

Но
Мы пока свернем направо.

Прямые улицы ровны.
Поселок выстроен по плану.
Прикрыты сереньким жупаном
Домишек драные штаны.

Широкие дома низки.
Они как-будто на параде:
Плечо в плечо, тупье во взгляде
И по веревочке носки.

Их деревянное сукно
Видать одной машиной шито
(Одежду и прическу быта
Здесь подгоняли под одно.)

До бородавок на стене
Дома подобные похожи!
Внутри они похожи тоже.
Похожу, может быть, вдвойне.

Дом разделен глухой стеной
На две семейных половинки.
А в «половинке», что на рынке:
До десяти живут в одной.

Живут здесь тетки и свекор,
Отец и мать, сундук и дети...
Как говорится: все на свете
И топор.

Но двинем дальше. Нам не нов
Язык ухвата и кастрюльки.
... По обе стороны проулки
По штампу сделанных домов.

Свисток! Дорогу, как на зло,
Пересекает крошка-поезд.
По спичкам рельс (по ветке то-есть
Везет он к станции стекло.

Он, пусть на миг, но заслонил
(От нас налево) пруд огромный.
Роскошный пруд! От зыби темный,
Но полный солнценосных сил.

На левом берегу пруда
Фасад приземистой шлифовни.
А там,—вон там!—лесочек ровный.
Направо—снова слобода.

Но дальше. Ветер так свиреп,
Что вынесет его не всякий...
Вот, вправо, дом. Вчера казаки,
Сегодня вывеска: «Сов-деп».

Покрыт он толстою корой
Знамен, плакатов... Но минута
И величавый корпус Гуты
Встает высокою горой.

А вот «ряды». Здесь магазин.
А, может, много магазинов...
Ипатьев граф, миллионы кинув,
Поселок весь купил один.

Вдали направо—трубы! Дым!
И ночь, и нас, и ветер пыльный
Громада корпусов текстильной
Встречает грохотом густым.

На площади большущий дом.
Здесь управляющий поселка.
Напротив—церковь балаболка...

Но, впрочем, дальше не пойдём.

От ветра каждый изнемог.
Окинули мы город глазом.
Всего ведь не увидишь сразу:
Широк фабричный городок!

Довольно жизни кочевой.
Еще мы встретим плац базарный
И наши тридцать две казармы
И много разного чего:

Театр, больницу, школ пяток,
Вигоне-прядильную встретим...

Ну, что за ветер! Что за ветер!
Ну, прямо ветровой поток.

Пора согреться нам. Давно
За лесом солнце потонуло
И на текстильной меньше гула
И в окнах крошечных темно.

Но вот и этот гул погас.
Подпраздничная вышла смена...

.

Вот в этот час
В последний раз
Ревет фабричная сирена.

Гусь-Хрустальный.



Михаил Бакунин

(К пятидесятилетию со дня смерти)

ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ

I

1 июля 1876 г. в больнице в Берне навсегда закрыл глаза русский революционер, за которым укрепилось имя «апостола всемирного разрушения».

Его имя еще и сейчас заставляет трепетать всех филистеров. Умеренно-аккуратные немецкие эсдеки именем страшного русского пугают своих младенцев. По крайней мере в 1920 г. в Штуттгарте с предисловием «историка»—шутка ли!—Вильгельма Блоса была выпущена заостренная против нас брошюра «Karl Marx oder Bakunin? Demokratie oder Diktatur?»—и названный «историк» Маркса «тащил» к себе, Бакунина отдавал нам: ничего более страшного этот добропорядочный социал-демократ придумать не нашелся.

В попытке бросить на большевизм тень бакунизма нет ничего удивительного, если принять во внимание ту неутоленную ненависть, которую питал Бакунин к буржуазному государству и обществу. Буржуазия ответила Бакунину тою же монетой: в потрясенном воображении ее, а также ее прихлебателей—этот человек остался как апологет разбойничьих бунтов, разнузданных темных страстей, всемирный поджигатель, который лишь благодаря случайности избег виселицы.

Буржуазия имеет все основания вспоминать автора «Государственности и Анархии» с чувством, далеким от удовольствия. В самом деле: несмотря на свои ошибки,—а у Бакунина их было множество,—несмотря на свою теоретическую отсталость,—а в этом смысле Бакунин не шел впереди своего времени,—несмотря на ряд промахов общественного и личного характера, у Бакунина было одно качество, высоко подымавшее его над головами многих и многих европейских и русских революционеров—это подлинная, неистребимая, оставшаяся неудовлетворенной страсть к разрушению капиталистического строя. Она в нем преобладала, была как бы лейт-мотивом всей его бурной и продолжительной жизни, ей он оставался

верным на баррикадах Праги и Дрездена, и на пароходе «Ward Jackson», когда с польским десантом стремился к русским берегам, и когда боролся с Марксом за преобладание в Первом Интернационале, и когда подымал восстание в Лионе, и когда посылал огненные прокламации русским юношам и девушкам в 70-х г.г.—с молодых лет до последнего вздоха Бакунин оставался верен этому чувству, пожиравшему его существо. Этой своей страстью он искупает многие ошибки и промахи своей революционной работы. Эта страсть сближает его с нашим поколением и отталкивает от буржуазии.

Он родился в 1814 г. и вырос в богатой семье родовитого помещика. В год восстания декабристов ему было 11 лет. Беззаботное детство в дворянской усадьбе, романтическая литература, которую поглощал он в юности, пробудили в нем мечтательность, заронили в душу смутную тягу к чему-то высокому, необыкновенному, возвышенному, но отец бросил его в офицерскую школу, за которой следовали служба в артиллерийской бригаде в литовской глуши, тупая армейская среда, гнусный окружавший быт, крепостнический, трусливый и подлый. Годы, когда входил в жизнь Бакунин, приходились на самый тяжкий период русской истории, шедший следом за разгромом декабристов. Все общество, по удачному выражению одного русского публициста, представляло собой нисходящую систему бар—если смотреть сверху и восходящую систему лакеев—если смотреть снизу. Столкновение восторженных мечтаний молодого романтика с полицейско-крепостническим укладом поселило в его душе страстное недовольство. Он не сразу нашел пути к революции: дворянское воспитание давало себя знать. Был период, когда будущий богорец охвачен был религиозными настроениями. Помещичье духовное наследство, вынесенное из Премухина, наложило печать на его первые теоретические искания: познакомившись с гегельянской философией, он толковал ее в духе реакционном, приводившем не к борьбе с тогдашней «гнусной» действительностью, но к примирению с ней.

Здесь сказалось также влияние общественной обстановки, в которую попал Бакунин, когда, вырвавшись из Премухина, уже после выхода в отставку, он в 1836 г. появился в Москве с целью во что бы то ни стало заниматься наукой. Полицейские преследования задушили попытки молодежи явно идти по следам декабристов. Пушкины на Сенатской площади действительно разбудили целое поколение, но правительство успело уже основательно разгромить его. Участники Сунгуровского и Герценовского кружков были рассеяны и сошли со сцены. Уцелел лишь и продолжал существовать небольшой круг друзей Н. В. Станкевича—но уцелел лишь потому, что существенных подозрений не возбуждал, был далек от политических интересов, вопросами социализма, тогда еще утопического, не интересовался и все внимание свое обращал на изучение немецкой идеалистической философии, не грозившей, так казалось, никакой непосредственной опасностью царской власти. Вот в этом-то круге молодых философов и очутился Бакунин, занявший в нем вскоре выдающееся положение. И лишь после того, когда неудо-

влетворенный своими занятиями, гонимый удушливой атмосферой Николаевской России, Бакунин очутился на Западе—он начал высвобождаться из-под влияния взлелеянных в нем помещичьей средой навыков, взглядов, оценок. Огромные силы, не находившие выхода, чувство протеста, накопившееся в душе—под влиянием европейских встреч и впечатлений,—вспыхнули ярким огнем и уже в 1842 году, два года спустя после появления в Европе, он выступает с статьей, полной революционного пороха, в которой бросает фразу, сделавшуюся позднее знаменитой: «Страсть к разрушению есть в то же время творческая страсть».

Как «апостол всемирного разрушения», «великий бунтарь», он и вошел в историю революционной борьбы. Но в деятельности его сказались, разумеется, не только индивидуальные свойства его характера, но особенности той социальной среды и исторической обстановки, которые его породили, взлелеяли его мысли, внушили ему яростную ненависть к власти.

Он родился и вырос в огромной Николаевской тюрьме, покоившейся на плечах многомиллионного народа—оттого-то свобода неограниченная нашла в нем своего апологета. Народ этот, с которым он сталкивался в своем беспечальном детстве, томился в рабстве,—оттого сочувствие к угнетенным, тяга к народу свили прочное гнездо в его душе. Николаевская обширная тюрьма была крепко сколоченным централизованным государством—Бакунин сделался яростным антигосударственником, врагом централизации, проповедником федерализма. Русское государство возглавлялось монархом, сидевшим на троне—Бакунин призывал к их повсеместному низвержению. В руках государства была власть—страшное орудие гнета—он об'явил безвластие, анархию целью своих стремлений. Близким союзником, правой рукой и лакеем государства была церковь—она обрела в Бакунине непримиримого и страстного обличителя. Церковь опиралась на царя небесного—Бакунин об'явил войну богу и не устал наносить ему удар за ударом.

Так в учении своем и в своей деятельности он ставил минус там, где эпоха его ставила знак плюса, и с полным основанием можно утверждать, что русская история XIX века допролетарского периода не выдвинула ни одного деятеля, который с такой же страстью, как Бакунин, так последовательно и всесторонне отрицал бы основы, поддерживавшие здание императорской России. Не даром от него с ужасом сторонились его современники, и в глазах друзей он был «большой Лизой», взрослым ребенком, мечтателем, которого не стоило принимать всерьез.

II

Бакунин и в самом деле был мечтателем. Он был первым русским человеком, который задолго до 1848 года открыто выступил в Европе как представитель еще несуществовавшего в действительности, жившего только в его воображении, грядущего русского восстания, которое он уже ощущал своим обостренным, жаждавшим слухом.

Красный петух революции, он приветствовал зарю русской свободы глухой ночью, когда рабская Русь спала еще тяжелым сном. А в 1849 году, когда войска царя Николая вступали в австрийские пределы, чтобы подавить венгерскую революцию, Бакунин, первый русский пораженец, открыто призывал к разгрому императорской армии.

Его слово не расходилось с делом, и мы видим его участником пражского восстания в 1848 году, дрезденского в 1849 г., польского в 1863 г., лионского 1870 г. и, наконец, в 1874 г., дряхлый и больной, он принимает участие в болонской попытке.

Потребность практической, не теоретической только, но всамделишной разрушительной деятельности была в нем ненасытна. Но медленен был путь, каким шло его революционное развитие. На Бакунине, лучше чем на какой-нибудь другой фигуре, можно проследить влияние об'ективных условий места и времени. Способностями он обладал выдающимися, революционная страсть в нем была ключом, горячее сочувствие угнетенным в нем было чрезвычайно сильно—и тем не менее кривая его революционного пути извилиста. Консерватор в юности, он в революционной атмосфере Запада на долгое время отдается власти идей славянского национального освобождения, и длинный ряд лет его деятельности, вплоть до 1863 г., окрашивается цветами революционного панславизма. Правда, он стремится вместе с тем слить воедино освободительное движение славян с демократической революцией немцев, но главной целью его было разрушение австрийской монархии и царской империи и создание на их развалинах великого всеславянского об'единения, с смутным государственным устройством, весьма далеким от будущего бакунинского анархизма. Соприкасаясь еще до 1848 г. с европейским рабочим движением, Бакунин не находил в нем для себя ничего привлекательного, высказывая даже недовольство деятельностью Маркса, все свое время тратившего на организацию именно рабочих кругов. Ни встречи с Марксом, ни долгие беседы с Вейтлингом, ни наблюдения над рабочим движением Европы не победили в Бакунине вспыхнувшего национального чувства: оно отталкивало его от классовой борьбы и толкало в об'ятия национальной революции.

Подготавливая, уже после разгрома Праги, восстание в Богемии, он неожиданно для себя был увлечен дрезденским восстанием 1849 года. Но восстание было подавлено, и в ночь на 11 мая Бакунин арестован в Хемнице. Арест обрывал его революционную работу на много лет. Начинался долгий крепостной и сибирский период.

III

Два раза он был приговорен к смерти—саксонским и австрийским судами—и оба раза мужество не покидало его—в нашем распоряжении имеются документальные, еще не опубликованные свидетельства его поведения на суде. Смертные приговоры его не утрашили, не сломили его

также и страшные условия заключения—в австрийской крепости Ольмюц он просидел много месяцев, прикованный цепью к стене. Оба приговора были заменены пожизненным заключением, после чего Бакунин, по требованию Николая I, был передан русскому правительству. Это было для него самое страшное. Расправа, которую мог учинить над ним мстительный русский царь—его пугала. И вспоминая клеймящие эпитеты, которыми награждал он Николая в своих революционных выступлениях, призывы свои к разрушению царской империи и к разгрому императорской армии,—Бакунин приходил к убеждению, что самый большой ужас еще впереди, что его ждут испытания, быть может, более страшные, чем казнь. Отважно взглянувши дважды в глаза смерти—он здесь, впервые быть может, пришел в трепет от раскрывшихся перспектив.

Но его ожидал сюрприз. С ним обошлись чрезвычайно деликатно. После ольмюцских цепей и грубого обхождения австрийских тюремщиков, предупредительность царских жандармов его поразила. Его не мучили допросами, но предложили написать чистосердечную исповедь. Николай еще раз хотел испытать дарования сыщика: удачные «допросы» декабристов, как известно, льстили его самолюбию. А от бакунинской «исповеди»—если бы Бакунин пошел на удочку—он ждал интересных сведений касательно польского «заговора». Потому-то Бакунин оказался в положении, какого не ожидал. Шеф жандармов граф Орлов так сообщил Бакунину: «скажи ему,—поручил Орлову царь,—чтобы он написал мне, как духовный сын пишет духовному отцу».

Сам Бакунин в письме своем из Иркутска Герцену и Огареву так рассказывал о том, что произошло далее:

«Я подумал немного и размыслил, что перед jury, при открытом судопроизводстве, я должен был бы выдержать роль до конца. Но что в четырех стенах, во власти медведя, я мог бы без стыда смягчить формы, и потому потребовал месяц времени, согласился и написал в самом деле род «исповеди», нечто вроде *Dichtung und Wahrheit*. Действия мои были, впрочем, так открыты, что мне скрывать было нечего. Поблагодарив государя в приличных выражениях за снисходительное внимание, я прибавил: «Государь, вы хотите, чтобы я написал свою исповедь,—хорошо, я напишу ее, но вам известно, что на духу никто не должен каяться в чужих грехах. После моего кораблекрушения у меня осталось только одно сокровище: честь и сознание, что я не изменил никому из доверившихся мне, и потому я никого называть не стану».

«Я рассказал Николаю после этого всю свою жизнь за границу, со всеми, замыслами впечатлениями и чувствами, при чем не обошлось для него без многих поучительных замечаний насчет его внутренней и внешней политики. Письмо мое, рассчитанное, во-первых, на ясность моего, повидимому, безвыходного положения,—с другой же—на энергический нрав Николая, было написано очень твердо и смело и именно потому ему очень понравилось. За что я ему действительно благодарен,—это что он по получении его ни о чем более меня не допрашивал».

Несколько ниже Бакунин замечает: «Я одного только желал: не примириться, не резиньироваться, не измениться, не унизиться до того, чтоб искать утешения в каком бы то ни было обмане, сохранить до конца в целости святое пламя бунта».

Мы не будем здесь подробно говорить об «Исповеди». Русскому читателю это произведение, одно из самых замечательных в литературном наследстве Бакунина, должно быть известно. И всякому, читавшему «Исповедь», сделается ясным, что Бакунин не точно передал друзьям подлинный характер своего покаяния. Правда, в «Исповеди» были и смелые и твердые страницы. Но были в ней также места, дававшие повод говорить о полном падении Бакунина, об измене убеждениям, о низменном вымаливании прощения у победившего врага: страницы эти в самом деле отвратительны. Но то была цена, которую Бакунин решился купить свободой.

Лишь год назад мы получили документальные свидетельства подлинного характера «Исповеди». А. А. Корнилов, среди прочих писем, найденных им в Премухинском архиве и опубликованных в книге «Годы странствий Михаила Бакунина», нашел также записочку, переданную тайком Бакуниным сестре Татьяне при свидании в Петропавловской крепости в 1854 г. Письмо это настолько замечательно, к тому же мало известно широкому читателю, что мы приводим его целиком:

«Мои дорогие друзья, я знаю, как ужасна опасность, которой подвергаю вас тем, что пишу это письмо. И все-таки я пишу его. Отсюда вы можете заключить, как велика для меня необходимость об'ясниться с вами и сказать хотя еще один раз,—без сомнения, последний в моей жизни,—свободно, без принуждения все то, что я чувствую и что я думаю. В первый еще раз—но также это будет и в последний—я вас заставлю испытать этот риск. Это письмо—моя высшая (suprême) и последняя попытка связаться с жизнью. Раз мое положение будет как следует выяснено, я буду знать, должен ли я еще ждать в надежде быть еще полезным согласно убеждениям, какие я имел, согласно убеждениям, какие я еще имею, и какие всегда будут моими—или я должен умереть.

Не обвиняйте меня ни в нетерпении, ни в слабости,—это было бы несправедливо. Спросите лучше моего превосходного капитана—теперь майора—он Вам повторит то, что он часто мне говорил: что редко он видел узника такого благоразумного, такого мужественного, как я. Я всегда в хорошем настроении, я всегда смеюсь,—а между тем двадцать раз в день я хотел бы умереть, настолько жизнь для меня стала тяжела. Я чувствую, что силы мои ослабевают. Дух мой еще крепок, но тело мое слабеет. Неподвижность, вынужденное бездействие, отсутствие воздуха и особенно жестокое внутреннее мучение, которое только узник, одинокий, как я, мог бы понять, и которое не дает мне покоя,—все это развило во мне зачатки хронической болезни, которую я, не будучи врачом, не могу определить, но которая каждый день заставляет меня чувствовать себя самым неприятным образом. Это, я думаю, геморрой, осложненный чем-то другим, мне неизвестным. Головные боли совсем не покидают меня больше; кровь моя бурлит и бросается мне в грудь и голову и душит меня до того, что я целыми часами задыхаюсь, и почти всегда в ушах у меня такой шум, какой производит кипящая вода. Два раза в день у меня неизбежно жар: до полудня и вечером, а в продолжение всего остального дня меня мучит внутреннее недомогание, которое сжигает мое тело, туманит мне голову и, кажется, хочет меня медленно поглотить всего. Впрочем,

Вы меня увидите. Ты меня найдешь очень изменившимся, Татьяна, даже с того последнего раза, когда мы с тобой виделись. Только один раз я имел случай посмотреть на себя в зеркало и нашел себя ужасно безобразным. Что касается до этого, то это мало беспокоит меня. Я давно уже отказался от того, что старики, как я, называют тщеславием, от того, что молодые называют— в тысячу раз более справедливо—самою сущностью жизни. Для меня остался только один интерес, один предмет поклонения и веры—Вы его назвали— и если я не могу жить для него,—я не хочу жить совсем. Мне мало дела до моего безобразия, а также и до этой болезни, если б только она захотела унести меня поскорее. Я не желал бы ничего лучшего, как поскорее исчезнуть вместе с нею, но медленно ползти к могиле, по дороге глупея,—вот на что я не могу согласиться. Мое нравственное состояние держится еще; моя голова ясна, несмотря на все боли, которые ее постоянно осаждают. Воля моя, я надеюсь, никогда не сломится; сердце мое кажется каменным—и это правда; но дайте мне возможность действовать, и оно выдержит. Никогда, мне кажется, у меня не было столько мыслей, никогда я не чувствовал такой пламенной жанды движения и деятельности. Не совсем же я мертв еще; но эта самая жизнь духа, которая, сосредоточившись в себе, сделалась более глубокой, более могущественной, может быть, более желающей проявить себя, становится для меня неисчерпаемым источником страданий, которые я не пытаюсь даже описать. Вы никогда не поймете, что значит чувствовать себя погребенным живя; говорить себе ежеминутно как ночью, так и днем: я раб, я уничижен, сделан беспомощным в жизни; слышать в своей камере отголоски той великой борьбы, в которой решатся самые важные мировые вопросы,—и быть вынужденным оставаться неподвижным и немым. Быть богатым мыслями, по крайней мере часть которых могла бы быть полезной,—и не быть в состоянии осуществить ни одной. Чувствовать любовь в сердце—да любовь, несмотря на эту внешнюю окаменелость,—и не быть в состоянии излить ее на что-нибудь или на кого-нибудь. Наконец, чувствовать себя таким полным самоотвержения и даже героизма для того, чтобы служить идее, тысячу раз святой,—и видеть, как все эти стремления разбиваются о четыре голые стены, единственные мои свидетели, единственные мои поверенные! Вот моя жизнь! И все это еще ничего в сравнении с другой, еще более ужасной мыслью. Это—идиотизм, который неизбежно является результатом подобного существования. Заприте самого великого гения в такую изолированную тюрьму, как моя, и через несколько лет Вы увидите, что сам Наполеон делается тупоумным, а сам Иисус Христос делается злым. Мне же, который не так велик, как Наполеон, не так бесконечно добр, как Христос, понадобится гораздо менее времени, чтобы совершенно отупеть. Не правда ли, приятная перспектива? Я в обладании еще—и думаю, что не льщу себе—я в обладании еще всеми своими умственными и нравственными способностями; но я знаю, что это не может продолжаться долго. Мои физические силы уж очень сломаны; очередь моих нравственных сил не замедлит притти. Вы поймете, надеюсь, что хотя немного уважающий себя человек должен предпочесть самую ужасную смерть этой медленной и позорной агонии. Ах, мои дорогие друзья, поверьте, всякая смерть лучше этого уединения, столько восхваляемого американскими филантропами. Зачем я так долго ждал? Эх, кто это скажет! Вы не знаете, насколько надежда стойка в сердце человека. Какая?—спросите Вы меня.—Надежда снова начать то, что привело меня сюда, только с большей выдержкой и с большей предусмотрительностью, может быть. Ибо тюрьма по крайней мере тем хороша для меня, что она дала мне досуг и привычку размышлять. Она, можно сказать, укрепила мой разум, но она нисколько не изменила моих прежних убеждений. Она сделала их, наоборот, более пламенными, более решительными, более безусловными чем прежде, и отныне все, что остается мне в жизни, заключается в одном слове—свобода!»

Это письмо убедительно говорит о мотивах, побудивших Бакунина написать «Исповедь». Он решил добиться свободы—ценой притворства, показного раскаяния, невыносимых унижений. Снедаемый жаждой действия, полный неизрасходованных сил, ни в малой степени не осуществивший мечтаний о великом своем призвании,—он рвался из тюрьмы какой угодно ценой, любыми средствами, низость которых он хотел оправдать высотой цели, к которой стремился.

Но помилования Бакунин не получил. Николай, прочитав «Исповедь», заметил будто бы: «Он добрый и хороший малый, но опасный человек. Его надо держать взаперти». И Бакунина крепко замуровали в крепостную одиночку, из которой он лишь ценою нового унижения—всеподданнейшего письма Александру II—сумел вырваться на волю лишь после смерти Николая I: Александр II, не видевший раскаяния в его «Исповеди», заменил в конце концов крепость ссылкой в Сибирь на поселение. Весной 1857 г., после пятилетнего пребывания в Петропавловске и Шлиссельбурге, Бакунин был в Сибири. В июле 1861 г. он бежал—через Японию и Америку—в Лондон к Герцену и Огареву, оставив в Сибири молодую жену, которая позднее, одна, с большими трудностями, выбралась к нему за границу.

IV

Революционная работа Бакунина делится на два периода. Лишь с 1864 г. через два с лишним года после вторичного появления на Западе, начинается его анархическая деятельность. Годы же 1862—63 примыкают к предшествовавшему национально-революционному периоду. Участие в польском восстании, в которое Бакунин ринулся со всем пылом долго сдерживаемых страстей, отрезвило его от национально-славянских увлечений. Крах восстания, его шляхетско-буржуазный характер, на который Бакунин закрывал глаза, наконец панславистские крайности, до которых договорился он в своей брошюре «Народное дело. Пугачев, Романов или Пестель», расхождение с Герценом и Огаревым, все это заставило Бакунина заняться пересмотром своего идейного багажа. Наконец, значительное влияние оказала на него Европа, которая была уже не та, которую оставил он в 1849 г. Окрепло и вздымалось классовое рабочее движение. Принимала первоначальные организационные формы идея международного товарищества рабочих. Фабрично-заводской пролетариат делался крупнейшей силой международной революции.

В итальянском уединении с 1864 по 1867 год Бакунин переоценивает свое мировоззрение, отказывается от славянских теорий, пересматривает свое отношение к государственным формам и революционной тактике. Из национального революционера он превращается в революционера-анархиста. Всеславянское освобождение заменяется центральной идеей социальной революции, разрушения всех государств и создания нового безгосударственного общества на основе свободы, труда и справедливости. Средством же к организации всемирной революции, по его

мысли, должно служить созданию международного тайного революционного союза. Весь итальянский период его жизни и был посвящен тайной деятельности. Вся страсть, огромные силы, выдающиеся способности вложил он в заговорщическую деятельность и уже к 1866 г. в грандиозном проекте «тайного интернационала» намечена его анархическая система, как теоретические основы, так и практическая часть. Последняя ставила задачей создание целой сети тайных революционных обществ, рассеянных по всему миру, но об'единенных единством воли и действия, крепкой иерархией и безусловным подчинением низших и периферических организаций высшим и центральным, с железной дисциплиной и взаимными обязательствами членов тайного союза—вплоть до предания смерти отдельного члена, изменившего обществу.

Дальнейшая история жизни Бакунина является бурной агитационной, пропагандистской и организационной деятельностью. Из Италии он переезжает в Швейцарию, вступает в члены буржуазно-патристской Лиги мира и свободы, пытается привить ей свою анархическую программу и подчинить Лигу своему влиянию. Вместе со своими сторонниками выходит из нее с шумом после неудачи и создает открытый Международный Альянс социалистической демократии, с тайным альянсом внутри него, пытается ввести Альянс в Интернационал, а после новой неудачи распускает свой явный альянс, оставляя существовать альянс тайный, входит в Интернационал и внутри Международного Товарищества Рабочих начинает вести борьбу против Генерального Совета, против централистического руководства международным рабочим движением, с целью лишить Генеральный Совет руководящего значения, чтобы подчинить невидимому руководству своего тайного альянса международное революционное движение. Он имел своих преданных агентов в Италии, Швейцарии, Испании, Франции, с помощью Сергея Нечаева пытался перебросить ответвления альянса в Россию. Ведя борьбу тайную и явную, он неутомимо агитирует, организует, проповедует, рассылает своим сторонникам в разные страны огромные инструктивные, чаще всего зашифрованные письма, и заставляет своих противников, группировавшихся вокруг Маркса, начать с ним решительную борьбу, сопровождавшуюся крайними резкостями с обеих сторон и приведшую к исключению Бакунина из Интернационала на Гаагском конгрессе 1872 г.

V

Приведенные краткие строки дают бледное, разумеется, представление о размахе деятельности и замыслов Михаила Бакунина.

Он был крайний из крайних революционеров своего времени, ставивший в качестве практической задачи отдаленнейшие цели, ни в малой степени не согласованные ни с реальными силами эпохи, ни с ее об'ективными потребностями. Он исходил из должного, но не из сущего—его система лишена была необходимых элементов реализма, его диалектика была идеалистической,—оттого-то Бакунина можно при-

числить к великой семье утопистов. Он принадлежал к той благородной породе деятелей, которые способны были увлекаться историческими задачами своего века, отказываться от интересов взрастившего их класса, и способности свои отдавать на служение классам чужим. Демократизм и народолюбие Бакунина, его ненависть к буржуазному строю, его отрицание власти и эксплуатации толкали его к демократии, к широким трудовым массам, но его русское помещичье происхождение и докапиталистический опыт сказались в той особенности его отношения к этим массам, что главной революционной силой он считал не фабрично-заводской пролетариат, спаянный в крепкие классовые и политические организации, но крестьянские и чернорабочие массы, а также безработную интеллигенцию; в этих слоях, по мнению Бакунина, заключался «весь ум и все будущее социальной революции».

Такие взгляды делали Бакунина идеологом не революционного пролетариата, но революционной мелкой буржуазии эпохи поступательного шествия капитала, разрушения мелких хозяйств, пауперизации широких слоев населения. Не удивительно поэтому, что наибольший успех имел он в Италии, Испании, Швейцарии и России,—странах, шедших в хвосте экономического развития. Стремясь к немедленному уничтожению государства, к немедленному уничтожению эксплуатации, Бакунин полагал, что чернорабочие и крестьянские массы Италии, Испании и России готовы к социальной революции—стоит только поднять ряд удачных восстаний в разных местах. «Мы призываем анархию,—писал он,—убежденные, что из этой анархии, т.-е. полного выражения разнузданной народной жизни, должна выйти свобода, равенство, справедливость, новый порядок».

Не следует при этом полагать, что Бакунин, боровшийся против централистического руководства Интернационалом, был врагом централистической организации или врагом организации вообще. Признавая мудрой стихийную революционность крестьянских масс, проявившуюся в бунтах Разина и Пугачева, проявляющуюся даже в русском разбойничьем мире, Бакунин стремился внести в беспорядочное народное бунтарство план организацию. Вот для этой именно цели он и создавал свой международный союз социальных революционеров, задача этого союза и заключалась в объединении разрозненных восстаний и превращений их в международную социальную революцию, которая разрушит государства и власти со всеми политическими юридическими, бюрократическими, финансовыми и пр. учреждениями.

Вслед за исключением Бакунина распался и сам Интернационал. Большинство оказалось на стороне бакунистов. Но анархическая волна, поднявшись после 1872 г., не продержалась пяти лет и уже более никогда высоко не поднималась. Самому Бакунину неизбежность падения этой волны была ясна задолго до 1877 г., когда собрался последний конгресс бакунистов. Еще до исключения Бакунина из Интернационала была попорвана его вера в близость социальной революции—сначала неудачей Лионского восстания, в котором он принял личное участие, затем раз-

громом Парижской Коммуны. Бакунин прекратил свою революционную деятельность за два года до смерти, удалившись от общественной и политической жизни.

«В массах решительно нет революционной мысли, надежды и страсти»,—писал он Э. Реклю в 1875 г.—«Я действительно устал и разочарован,—признавался он в другом месте:—события в Испании и Франции нанесли смертельный удар всем нашим надеждам и ожиданиям. Мы рассчитывали на массы, которые не захотели со страстью отнестись к делу своего собственного освобождения, а за отсутствием этой народной страсти мы, при всей своей теоретической правоте, были обессилены».

VI

Родившись и получив воспитание в экономически отсталой стране, русский дворянин, Бакунин в психологии и умонастроении своем носил навыки, унаследованные от своего класса. Окунувшись с головой в европейскую революцию, он пытался усвоить последнее слово европейской революционной теории. Первый переводчик Ком. Манифеста на русский язык, первый переводчик «Капитала», Бакунин неоднократно высказывал свое глубокое почтение перед экономической системой Маркса, называя себя его учеником, но, несмотря на это, он не сумел до конца покинуть отсталую точку зрения. Они в нем как бы продолжали совместное существование, борясь и вытесняя друг друга. Оттого-то полны противоречий как его личная жизнь, так равно его теория и практика. Провозглашая труд единственной основой жизни, он сам не умел трудиться; неистово требуя отмены права наследования, он добивался своей части наследства; провозглашая себя интернационалистом, был отчаянным немецодом и антисемитом; громя диктатуру Ген. Совета—сам втайне создавал тайное общество с диктаторской властью и т. д. Принимая на словах точку зрения экономического материализма, на деле Бакунин оставался человеком утопически и идеалистически мыслящим. Сын помещика, он производил впечатление русского барина, беззаботного насчет завтрашнего дня. Широкая натура, он очаровывал и увлекал своей революционной страстью, размахом своих замыслов, полетом своих идей, мало заботясь об их реальности, веруя в желаемое и ожидаемое как бы в настоящее. Эмоциональный характер—он был полной противоположностью Марксу, великому систематику и логичному, не позволявшему чувствам вторгаться в логическое развитие мыслей. Маркс сперва теоретизировал, а потом действовал. Бакунин, наоборот, сначала бросался в действие, а затем начинал теоретизировать. При этом неизменно мысль его устремлялась в сторону негативную, отрицательную, разрушительную: положительные задачи, по его словам, должны осуществлять другие, которые придут после.

Борьба Бакунина в Интернационале не устраняет того факта, что развитие социализма и интернациональных организаций в Италии, Испании и Швейцарии многим ему обязаны. Не менее значительную стра-

ницу вписал он в историю русского революционного движения 70-х годов. Его книга «Государственность и анархия» была, по свидетельству современников, евангелием русской революционной молодежи. «Хождение в народ» связано с именем Бакунина. Противопоставляя культуртрегерской проповеди Лаврова организацию бунтов, восстаний, Бакунин явился выразителем настроений максималистской части русской революционной молодежи. Революционное бродило, сторонник крайних мнений, защитник решительных и неотложных действий, Бакунин останется в истории, как величайший идеолог крестьянского бунта, пытавшийся связать его с социальной революцией промышленного пролетариата.

Не следует думать, будто Бакунин в 60—70-х г.г. был одиночкой, партизаном социальной революции, забиякой в Интернационале, мешавшим Марксу руководить международной организацией пролетариата. За Бакуниным шли обширные мелко-буржуазные слои и те из плохо оплачиваемых категорий рабочего класса, которые не освободились еще от мелко-буржуазного своего прошлого и не прошли хорошей капиталистической школы. В этом ведь была сила Бакунин, и здесь лежит причина распада I Интернационала: он оказался ареной исторического столкновения слоев, выражавших собою передовые и отсталые идеи и принципы организации. Это столкновение оказалось гибельным не потому, что Бакунин был дезорганизатор и политически преступная натура, как уверял социал-демократический историк Первого Интернационала Густав Иекк, и не потому, что Маркс был злой интриган, не взлюбивший Бакунина, как уверял антипод Иекка, анархистский историк Интернационала Джемс Гильом, но потому, что пролетариат раздираем был внутренними антагонизмами, еще не примиренными переходом на более высокую ступень классового самосознания. Оттого-то фигура Бакунина в историческом аспекте получает значение человека, устами которого говорили некоторые тенденции тогдашнего рабочего и крестьянского движения, искавшего путей к освобождению и не находившего их. И нужно было пройти многим годам пролетарской борьбы в разных странах, надо было испытать много побед и поражений, чтобы большинство рабочего класса нашло, наконец, свой верный путь. Это был тот самый путь, на который звал рабочий класс Карл Маркс и с которого совращал его Бакунин. Оттого-то бакунизм, после краткого торжества, рассыпался, был отброшен историей в сторону, отошел с центральной арены международной рабочей борьбы, которая была занята марксизмом, победившим по всей линии.

VII

Бакунин не был теоретиком. Он не был даже писателем—оттого так небогато его литературное наследство: все, что написал Бакунин—было случайно и несистематично, отрывочно и незакончено, начала без концов, концы без начал. Он был силен не в теоретической, но в практической революционной работе, именно потому ценнейшая часть его описаний заключена в переписке и некоторых агитационных произведениях.

Все это яркие, насыщенные страстью памятники революционной борьбы, нередко многословные, но полные проблесков ума выдающегося, которому недоставало глубоких и систематических знаний. Его критика государства и церкви, лишенная стройности и глубокого теоретического обоснования,—богата тем не менее мыслями блестящими и верными, продиктованными революционной интуицией. Столь же поражает верным революционным чутьем его подход к разрешению национального вопроса. Его язвительные разоблачения парламентаризма еще и сейчас для Запада не потеряли свою остроту. Самая слабая часть его работ—теоретическая полемика с Марксом, но этому причиной была не только теоретическая слабость Бакунина, но и ошибочное представление о марксизме: Бакунин плохо знал систему автора «Капитала» и, приписывая, например, Марксу, в качестве идеала, рабочее государство, яростно с ним боролся, не подозревая, что борется с созданием своего воображения.

При всей преданности Бакунина революции, в биографии его была одна черта, бесконечно трагическая: его подозревали в шпионстве, и подозрение это тяготело над ним чуть ли не до последних лет жизни. В настоящее время мы располагаем достаточным количеством материалов, чтобы воссоздать полную картину возникновения и развития этого обвинения. Оно имело своим источником клевету, которую русское посольство пыталось отомстить смельчаку, дерзко поднявшему руку на царскую империю. Обвинение, неоднократно возникавшее, нищета, из которой не умел вырваться Бакунин, наконец, разочарование, овладевшее им незадолго до смерти,—все это бросает трагический свет на его биографию. Великий бунтарь, он был вместе с тем великим неудачником.

Споры наши с Бакуниным сделались достоянием прошлого. Но есть черта, делающая его облик более нам близким, чем облик, скажем, Герцена и любого другого деятеля нашего прошлого. При всех несогласиях с Марксом, несмотря на их непримиренную вражду, Маркса и Бакунина сближала одна общая страсть, одно общее чувство: оба они желали скорейшего наступления социальной революции, оба они стремились к одной и той же цели, к окончательной победе над поганым капиталистическим строем эксплуатации, насилия и нищеты. Вот эта страсть, которой никто не станет оспаривать в Бакунине и которой он не изменил до смерти, делает его фигуру достойной того, чтобы она нашла свое видное место в семье деятелей нашего революционного прошлого. Имя человека, отчавшего без остатка жизнь великой идее освобождения, должно получить свое историческое признание.

VIII

В начале нашей статьи мы упомянули немецкого «историка», пытавшегося бросить на большевизм тень бакунизма. Сделать это можно только с помощью подлога. В самом деле, что было существенного в бакунизме? *Отрицание государственности вообще, отрицание диктатуры рабочего класса, отрицание даже переходных государственных форм*

к безгосударственному строю, отрицание политической борьбы, предполагавшей пользование существующими государственными формами во имя их преодоления. Здесь основной пункт бакунизма, главный камень фундамента, на котором держалась его тактика и политика. И надо быть прожженным фальсификатором, чтобы отождествлять бакунизм с большевизмом, который как раз в основу своей политики и тактики ставит *именно диктатуру пролетариата, и политическую борьбу и использование государственных форм, в качестве перехода к безгосударственному коммунистическому обществу будущего*. Закрывать глаза на это различие—значит закрывать глаза на различие основное, значит не видеть и не понимать существенного ни в большевизме, ни в бакунизме. И ведь если говорить о причинах жестокой борьбы, которую вели Маркс и Бакунин, то главный пункт их разногласий лежал именно здесь, в отношении к государству, к диктатуре, к политической борьбе. Надо ли говорить, что в этом великом споре история показала, кто был прав: Бакунин не оказался победителем. Торжество большевизма—есть уничтожение бакунизма.

Никогда бакунизм, как теория революции, не получал такого сильного удара по самому чувствительному месту, как в эпоху Октябрьской революции, в эпоху захвата власти рабочим классом: это был наглядный урок, который дала человечеству история. Без захвата диктатуры наша революция давным давно была бы задущена с такой же, если не большей, жестокостью, чем восстание парижан в 1871 году.

Иные из наших товарищей не прочь признать в Бакунине одного из родоначальников социал-демократии и через нее коммунистической партии. Это вздор, конечно. При всем нашем желании воздать должное великому революционеру, мы не имеем никакой охоты причислить его к нашим родоначальникам, не потому, что гнушались бы таким знатным родственником, но потому, что для такого родства нет фактических оснований. В последние годы жизни, Бакунин хотел усвоить основу Марксова учения, пытался сделать это—но безуспешно: идеологические навыки, взлелеянные в нем совершенно иными политическими и экономическими условиями, помешали ему сделаться марксистом, вопреки его желаниям и намерениям. Бакунин был не родоначальником нашей партии, но предтечей русской революции,—а между этими двумя понятиями дистанция огромного размера. М. Н. Покровский в своей превосходной статье «Ленин в русской революции», напечатанной в «Вестнике Коммунистической Академии» (кн. 7-я 1924 г.) с полным основанием замечает, что ленинизм был «настоящим синтезом всего революционного движения», что у «Ильича только родство со всем племенем русских революционеров, но там у него есть кузены, есть двоюродные, троюродные, есть более близкие родственники, есть менее близкие». Вот к таким-то родственникам, но не к родителям, и принадлежал Бакунин. Если продолжить мысль М. Н. Покровского, можно сказать, что ленинизм—широкий революционный поток, одним из притоков которого является бакунизм. Свое начало ленинизм имеет в пролетарском движении капи-

талистической эпохи, а Бакунин, несмотря на весь свой радикализм, был выражением революционной стихии *допролетарского периода русской и европейской революции*. За Бакуниным и следует закрепить место предтечи Октябрьской революции, но не одного из родоначальников коммунистической партии, хотя бы и через социал-демократию. Тот факт, что Плеханов, Засулич, Аксельрод и Дейч и многие другие были в свое время бакунистами, означает лишь, что они учились на ошибках Бакунина, как училось на его ошибках европейское рабочее движение. Отрицательные стороны бакунизма сыграли положительную роль — таким парадоксом можно определить учительство Бакунина по отношению к основателям группы «Освобождение Труда».

* * *

Давным давно, когда Россия только-только выходила из крепостного состояния, когда не было еще ни русской, ни германской социал-демократии, Бакунин видел красное знамя над Зимним дворцом и Петропавловской крепостью. Герцен очень смеялся над необузданной этой мечтательностью.

Ну, и что ж?

Над Зимним дворцом и Петропавловской крепостью *развевается* красное знамя. О, разумеется, Герцен был во многом более прав, чем Бакунин — ошибки последнего были колоссальны, как колоссален был он вообще, — но это были ошибки энтузиаста революции, насмешки же Герцена были насмешками утомленного скептика, любующегося игрой своего ума. Бакунин в самом деле спешил семимильными шагами, второй месяц беременности принимая за девятый, но ведь все это от той же революционной страсти, которую, право, не плохо пожелать каждому новорожденному. Этой страстью он и близок нашему ленинскому поколению. В этом смысле, пожалуй, можно сказать, что в нашей революции и в ленинизме есть нечто бакунинское.

Но ведь это «общее» и есть то самое, что сближало Бакунина и Маркса, и без чего нет подлинной революции.

На трудном под'еме

(О крестьянских писателях)

А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ

I

Огромная историческая роль нашей революции, может быть, всего нагляднее иллюстрируется тем фактом, что веками отсталая крестьянская масса дает несомненный, сильный порыв к культуре, к свету, к сознанию.

Литература, «изящная» литература особенно ярко отражает этот порыв.

Еще после 1-ой, якобы «пораженной» революции 1905 года, взлетела целая стая крупных, талантливых писателей-мужиков, во главе с покойным Есениным, достигших высокого мастерства в своем деле, приведших с собой в литературу совсем свежую «полевую» струю. Большею и главною частью это—все поэты, и поэты 1-ой величины, которых не вычеркнешь из счета. И надо сказать, что поэтическая форма их писаний в высшей степени характерна для них. Она никак не случайна.

Конечно, каждый хороший писатель прежде всего—поэт, все равно, в стихах ли пишет, или в прозе. Он видит и освещает всю изображаемую жизнь под особым «поэтическим» углом. Но поэт-стихотворец это именно *освещение* избирает как бы своей специальностью, оставляя более или менее в тени мелочи и подробности, какими полна «проза жизни». Литератор-прозаик поступает обратно, нередко глубоко пряча «про себя», «за кулисами» свое субъективное отношение к изображаемому. Конечно, тут, как и везде, переходы и переплеты, но в общем и целом это так.

Есенин, Клюев, Клычков, Ширяевец, Орешин—поэты, и не даром. Уже *особенное содержание* их писаний, впрочем, тесно слитое с формой, так сказать, а priori склоняет их к стихотворству. Содержание это—прославление, идеализация уходящего, и почти ушедшего в далекое прошлое, самобытного «мужицкого рая». Его реальная несбыточность, «нездешность» (любимое словечко Есенина из первых его лет,—напр., в «Голубени») сама собой как бы отталкивается от досадных фактов «земной» прозы и сосредоточивается в поэтической мечте. Притом одна специфическая

особенность крестьянства, как общественного слоя, происходящего из глубокой старины,—его *религиозный идеализм*¹⁾—тем более влечет литературного выходца этой среды в сторону «отрешенности», к чистой поэзии небесной «Голубени».

Все это понятно и естественно. Старшее поколение вытолкнутых наверх революцией крестьянских писателей вполне закономерно отразило стихийную тягу деревни к своей, своеобразной, исстари грезящейся форме культуры—к широкой демократии мужика без барина, свободных хозяев-единоличников, самодовлеющих Микул-Селяниновичей, не признающих иной власти, кроме самой природы и... бога.

Но судите сами—годится ли для времен Октября и социалистических трестов этот, средневековый по своему рождению, «рай»? Не только для нашего времени, но и для самого же, действительно освобожденного пролетарским Октябрем, советского мужика не годится, глубоко вреден. И деревня в ее миллионной массе—как ни темна еще—все больше сознает это. И вот источник трагедии Есенина и в большей или меньшей степени всех крестьянских писателей «1-го революционного призыва».

Они искали, частью ищут до сих пор «земного» выхода из «голубых» затруднений. И при достигнутом ими мастерстве было бы интересно для читателя сочетание их художественной силы с более современным содержанием. Но ясно, что жизнь не ждет и, пока они не справились со своими поисками, находит себе новые русла.

Жизнь говорит: никто не спорит, вы греете вашим неподдельным и, как-никак из груди трудовых масс почерпнутым, глубоким поэтическим чувством природы и любви к тем же деревенским массам. Но вы слишком недостаточно светите.

Жизнь меняет фильм.

На смену поэтам старой деревни уже идет новое, пооктябрьское поколение крестьянских писателей и—замечательно—в подавляющем большинстве *прозаиков*. По крайней мере лучшие из них, наиболее заметные, наиболее на глазах растущие—прозаики. Правда, нет никакой возможности по мастерству их равнять с тою «могучей кучкой». Они большей частью еще слабоваты на ногах, явно проходят свои «годы учения». Но свою прозу они грызут молодыми зубами так живо, энергично, что вселяют уверенность в более быстром, отрадном росте. И иные создали уже кое-что интересное, сказали кое-что общественно-нужное.

Прибавлю, что и из старых писателей наибольшую подвижность и способность к «пересмотру» своего багажа обнаруживают как раз тоже прозаики: Чапыгин, Касаткин, Вольнов, М. Волков, Новиков-Прибой, Низовой и др. Характерно, что и сами «отрешенные» поэты ударяются в прозу—Клычков, Орешин...

Откуда это засилие прозы?

Ясно—из потребностей того же общественного развития. Деревня перерастает свою первую стадию культурного освобождения—стадию еще

¹⁾ Религия здесь берется в самом широком и «вольном» смысле: не только христианство и его секты, но и все верования в духов, колдовство, заклятия и проч.

чисто крестьянских, отрешенно-мечтательных настроений. С Октябрем и раздавшимся извне, из пролетарского города, лозунгом «смычки» — следовательно, и смычки культурной — дан толчок настроениям, я бы сказал, не чисто-крестьянским, настроениям роста к социалистической культуре. И с ними вместе — впервые отрадному чувству реальной возможности «хорошей жизни» здесь, на земле, а не в сказке под заглавием: «Иди туда, не знай куда, принеси то, не знай что». А тогда «проза жизни» сразу теряет свой чуждый, отталкивающий лик. При всей ее скверной «прозаичности» она, наоборот, притягивает: надо ее изображать, изучать — с целью тем верней победить под нозе вполне реальных целей борьбы.

Вот причина идущей прозаической, по преимуществу, смены. Пусть Есенин с друзьями — крестьянские мастерзингеры, мастера поэтического, следовательно, и вообще искусства. Пусть новые, молодые — Акульшины, Ветровы, Каргополовы, Дьяконовы, Тверяки и проч. и проч. — пока еще звезды 2-й, 3-й и т. д. величины. — «Ништо!» Кон в игре — ва ними, у них за пазухой уже гремят, может быть, такие «битки» прозы, что приблизятся и к мастерзингерам. Их молодая энергия, по крайней мере, сулит это. А факт, что они движутся таким широким, сравнительно, фронтом, всегда «левым (пролетарским) плечом вперед», говорит о действительно *массовых* корнях движения. О том, что оно неистоично, что оно может стать в свою очередь толчком и одним из органов для широкого овладения *всей «души деревни»* идеями культурного социалистического будущего.

Труден, не легок под'ем.

И главная трудность, болезненная, часто почти нестерпимая для выходца из Микулушкиной деревни (от слова: «драть», выдирать деревья для очистки ляд, полей — какими чудовищными трудами пахнет это слово из старинного «мужицкого рая!»), состоит как раз в том, чтобы освободиться от дурманной власти «поэзии земли». Не поэзии земли *вообще* — это другой вопрос, об этом высоко ценном предмете поговорим в своем месте, а поэзии земли *в частности*, в том ее конкретном виде, как она вылилась из русской деревенской жизни перед революцией. И эта трудность, эти тиски развития сказываются, конечно, и на творчестве «молодых», что и будет видно при последующем беглом его пересмотре. Но так как во всем своем об'еме ущемление этими тисками яснее всего у «старых», то необходимо несколько ближе на них остановиться.

* * *

Для нашей задачи достаточно взять несколько характерных образцов, при чем мы нарочно будем брать их из числа самых последних произведений *нашего* уже момента, где должен сказаться даже некоторый поворот.

Возьмем, например, роман «Сахарный немец» С. Клычкова, следовательно, и по форме как бы некоторый отзвук на новые требования «прозаического» свойства. И что же? В этом романе, по конструкции своей

чисто лирическом, т.-е. на самом деле от «поэзии» опять-таки мало удаленном, тем резче выпирает, можно сказать, кричит, все тот же крестьянский идеализм и формы и содержания.

В самом деле, это—художественный (и часто высоко художественный!) образчик «выспренного» *символизма*. Взять хотя бы самое заглавие. До последней почти страницы оно остается загадкой, таинственно намекающей на какой-то скрытый, скрываемый автором «духовный» смысл. Никакого *реального* «сахарного немца» нет, и даже немец вообще участвует в романе где-то из-за кулис—не столько виден, сколько «чуется» там, зарывшись в окопы (все действие в окопах, под Двинском). А «сахарным» он оказывается опять-таки «духовно», в субъективном свете трагического, душевного надрыва главного героя—командира роты Зайчика (тоже фамилия с намеком, с «подмигиванием»). Что-то вроде предсмертного сарказма, проклятия по адресу собственно не врага-немца даже, а всей этой «сатанинской», городской цивилизации, сладкой отравы (сахар!) для бедных заячьих душ. А бедные эти души, солдаты и их ротный—все «односторонники», т.-е. земляки, из деревни Чертухино, только переодетые опять-таки злым городом в мундир, по существу не только к войне не имеют пристрастия, но, наоборот, всячески возмущаются: зачем-де «спать не дает мужику». Воюют по приказу «города» добросовестно, но в общем механически, «по-чужому». И в окопах остаются все теми же чертухинцами, всегда полными, как запахом полей, своею «земляничной» религией—притч, сказок, побасенок о «праведной стране» и проч., вековой премудростью тихого, идиллического сельского бытия, вроде религии каких-то добрых и чистых зверей.

Автор их так и считает «святыми», безгрешными; только дьяволом втравлены они в чудовищное, организованное злодейство—войну, и этим погублены.

Действия в романе почти нет, если не считать действием, например, кратковременной побывки Зайчика дома, в деревне, где происходит ряд полусимволических «действ»—все таких же загадочных картинок гибели жен и лучших людей, деревенских идеалистов (дезертиров, дьяконов) от военной же страды. «Проза жизни» выступает лишь гнусными или горько-саркастическими пятнами—вроде, напр., невольного и немислимого галопа неудачника Зайчика верхом на... свинье. И это, как завершение—единственной в романе—любви с женой купца, урожденной поповной того же села Чертухина.

Вот вам и «сахарный немец»! Вы спросите, обращаясь к содержанию,—где же здесь хотя бы тень боевого, революционного настроения, назревавшего на фронте среди тех же солдат-крестьян и задолго до революции? Нет и следа. Максимум лишь какой-то толстовский, жвачный какой-то, вегетарианский, что ли, пацифизм, протест быков на бойне. «Сатана-город, умирающие тебя приветствуют»...

Полнейший идеализм и—формы, тонко изящной, символически кружевной, лирической постройки—работа какого-то духовного ювелира; и—содержания, отвлеченного от грубо революционных *фактов*, от бурных

классовых столкновений. Город у Клычкова совершенно лишен, кажись, и слепому очевидного, архи-фактического, внутреннего раскола на капитал империалистов и на готовый вырвать власть у них коммунистический пролетариат. Нет, все—сплошной «сатана», извечный враг деревни. И только. А деревня тоже сплошная, единая, но не во зле, а в добре, во взаимной любви и поклонении божественной общей матери-природе. Да, но кулаки? Помещики? Помещики, повидимому, отнесены автором все к тому же злодею городу, а кулаки... отношение к ним автора замечательно.

Крестьянский писатель Клычков героиней берет (поскольку есть тут все же таковая) поповну Клашу, которую «на зло» выдает замуж за богача-купца, но это не мешает ей оставаться крестьянской героиней, даром что ходит в золоте и кружевах. Деревня! Попы и дьякона, содержатели конной почты и прочие кулакообразные у него сопричислены тоже к лику единой и доброй деревни. Да и сам герой Зайчик—кто он? «Офицер, ученый человек», т.-е. городской интеллигент. Да неужто не нашлось героя «помужичистее», чтобы являть собою символ и дух деревенский?

Это и показывает, впрочем, ахиллесову пяту всякого вообще идеализма, закрывающего глаза на факты, и в частности данного идеализма. Можно, отвлекаясь от живой жизни, пропускать между пальцев все ближайшие, «вещные» черты того или другого сына деревни, можно приучить себя не видеть несомненно не-мужицких, даже противу-мужицких (подлинного, трудового мужика) особенностей его социального положения. Можно считать все это пустяками (как считает же Клычков «выдуманными людьми» всех горожан без различия), а единственно важным критерием—душевные качества людей. Зайчик вот—ах, чуткий, ах, «простота-витязь», ах, воплощенный символ деревни!.. Но нельзя тогда избежать, во-первых, нагляднейшего противоречия с трудовым, деревенским, а во-вторых, что для художника важнее всего—дребезжащей трещины во всей художественной структуре произведения.

Так оно и есть в «Сахарном немце». Получается какое-то неизгладимое двоение или дрожание центральных образов. Социальное соглашательство их родителя-автора вторгается помимо его воли в художественную работу, подрывая цельность и жизненную правдивость творческой идеи. А эта цельность и правдивость—по Белинскому—есть первейшее условие *chef-d'oeuvre*'а. И вот вещь, поэтически задуманная, тщательно, чисто сработанная мастерской рукой, следовательно, не по вине даже автора, а вследствие об'ективных, неумолимых законов искусства, искажается, умалчивается, получая к своей неоспоримой красоте некрасивый, чуждый нарост.

Не то Зайчик—высокая, именно потому, что такая серенькая по обличью, жертва за всех «святых» чергухинцев в их смертной борьбе с немцем-сатаной-городом. Не то он—наоборот городской, «господский» выродок, отброс «святой земляничной» деревни, казнимый за свой «откол». Поэтому и все остальные творческие линии романа принимают такой же

двусмысленный, художественно-неясный вид. Не то немец там, во враждебных окопах—всему вина, не то он—такой же страдающий от сатаны немецкий чертухинец и т. д. и т. д. «Вот не вытанцуется, да и все тут»—как говорил Гоголь о некоем «заколдованном месте».

А по содержанию данное соглашательство ведет к еще более печальному результату. Да, мужикам война поперек горла, но именно поэтому сердца их накалились против города-немца до того, что они по своей мужицкой инициативе задумывают и артистически осуществляют весьма хитрый взрыв немца на его островке, посреди Двины—военный подвиг отнюдь не из последних! Царский империализм должно быть ржал от удовольствия и думал: побольше бы мне этаких мужичков. Так их пацифизм «про себя» оказывался на деле своею противоположностью: службой империализму, т.-е. городу, т.-е. сатане—не за страх, а за совесть.

Повторяю, роман крайне характерен для всей «старшей» группы современных крестьянских писателей-идеалистов.

Далее пример.

У Есенина, признанного «чемпиона» всей группы, возьмем одну из последних его поэм: «Песнь о великом походе». Беру ее как раз потому, что на вид она чуть ли не коренным образом прощается с самобытно-крестьянским, целиком впадая в современность.

Это уж не идиллии, не «тихий гнев» Клычкова. Поэзия исторического возмездия за вековой гнет и кровь. Эти мертвецы, легшие костями на стройке дворянского Питера и повергающие в «холодный пот» «дубинного» царя Петра своею мистическою угрозой:

Мы придем еще!
Мы придем! Придем!
Мы сгребем дворян,—
Да по плечи им,
На фонарных столбах
Понавешаем...
... Мы придем! Придем!
Мы возьмем свой труд.
Этот город наш,
Потому и тут
Только может жить
Лишь рабочий люд.

И вот через 200 лет возмездие осуществилось:

Ныне наша власть,
Власть Советская,

И дальше, как логика возмездия, идет борьба с помещицей, генеральской контр-революцией на всех фронтах, под руководством «кожаных курток», «коммунаров». И все это—до того неподражаемым песенным складом, что едва веришь возможности подобного исторического «чуда»-пережитка, напоминающего подобное же другое: «Песню о купце Калашникове» Лермонтова.

Но... есть и крупное «но»!

Если у Клычкова идеалистическая форма принимает характер оторванного от жизни символизма, то здесь она же сказывается, хоть и не так прямо, но не менее существенно, в самом *построении* поэмы, можно сказать, в его внутреннем ритме. И это, несмотря на видимый реализм подробностей, нарочитую, подчас даже преувеличенную грубость выражений—печать школы имажинизма, куда примыкал еще недавно Есенин.

Построение таково: в 1-й части—мистическая угроза загубленных Петром мужиков, во 2-й части—Октябрь, как ее через два века осуществление. Но осуществление-то какое? Опять-таки чисто *мистическое!* Велением мужицкого бога или справедливой, но «нездешней» Немезиды, а отнюдь не по активному почину мужика, праправнука тех загубленных душ. Есть даже, коли хотите, своя цельность, выдержанность стиля в этом мистическом равновесии двух частей. И есть свой, *пассивный*, созерцательный ритм в этом «звуче» времен Петровых и «отзвуче» наших дней. Пассивный—потому что во всей поэме мужики только испытывают на своей шкуре и удары истории, и ее громовый суд над мужицкими злодеями; только подчиняются чьей-то внешней указке, пусть и благодетельной. Чьей именно указке—совершенно неясно. Ибо в поэме (до смешного странно!)—ни звука о рабочем классе, этом активнейшем творце Октября. Есть, правда, какие-то «кожаные куртки», Зиновьев, попросту новые начальники мужика, но где причина их появления, куда двигают они мужика—неведомо. Ни слова о коммунизме, как грядущем строе и города и деревни. Все—мимо. Впечатление такое, точно «кожаные куртки» насланы с небеси от руки мужицкого бога мести и единственно лишь для водворения все того же «мужицкого рая», о котором мечтали крепостные рабы 1703 года. Пожалуй, водворят, исполнят свою, приятную мужику, роль да и—очистят от себя сцену...

Я не говорю, что Есенин, как художник, не имел права на такую именно концепцию поэмы, нет, поэт свободен тут, «как ветер», и спрашивать с него не приходится. Мало того, ясно, что только в таких формах *пассивного, лирического созерцания* (пусть и со страстным участием к происходящему) Есенин—вместе со всей группой—мог создавать образцовые, гармоничные «со всех сторон» вещи. Но факт остается фактом: форма эта—не менее идеалистическая, «отрешенная», чем и чистый символизм. Что из того, что наш мужицкий идеалист дает в виде отдельных иллюстраций незабываемые образы и картинки, живьем вырванные из «быта», пахнущие всем неприкрашенным запахом ежедневности, революционной «прозы» (конечно, согретой всем теплом чистой поэзии—и в видах даже именно *тем большего* рельефа поэтического)? Пример: «наш ротный», конечно, мужик, одушевленный речью своего комиссара—«кожаной куртки», к решительному бою с генералом Деникиным так себя проявляет (не чета тоже «ротному» Зайчику у Клычкова) накануне боя!

Горьким гневом рук
Утерев слезу,
Ротный наш с тех слов
Сапоги разул,

Громко кашлянув,
— На!—сказал он мне.
Дома нет сапог,
Передай жене.

А потом, после победы, опять роль тем же сапогам:

Вот и кончен бой,
Плещет красный флаг.
Не жалея пят,
Удирает враг.
Удивленный тем,
Что остался цел,
Молча ротный наш
Сапоги надел
И сказал: «Жене
Сапоги не враз,
Я их сам теперь
Износить гораад».

Так наглядно до осязательности передать торжество победы и веру в окончательный приход желанного будущего, помощью какой-то пары сапог, может только сильнейший мастер, сам проникнутый страстной симпатией к истинному герою поэмы—мужику. Но вместе с тем — это только *подчиненный* элемент в изобразительной работе идеалиста-поэта. Главное—вот та «возвышенная», «неземная» — пусть и революционная— мистика, над людьми стоящая, людьми, как пешками,двигающая помимо их личных или даже групповых, классовых свойств, усилий, энергий. Спрашивается, во что бы обратился, напр., Шекспир с его столкновениями сильных личностей и взрывами человеческих страстей при условии этакого, есенинского творчества *безволия*? Отсюда видно, насколько идеалистические формы литературы и искусства вообще, господствующие у нас со времени Бальмонта и декадентства, страшно суживают творческий простор художника, даже когда оттачивают его мастерство. Они суживают его на всю величину активной человеческой личности, т.-е. на все истинно драматическое *движение*. А движение-то и есть на самом деле «душа» искусства. Одно голое созерцание не возместит его и наполовину. Необходима действительная энергия, почерпаемая из жизни, а не «отрешением» от нее.

У Есенина же в поэме—несомненное «отрешение», как и у Клычкова. Ибо ее содержание, тесно связанное и здесь с формой, говорит только о чисто мужицкой революции в духе XVIII века. Это значит отрешиться, ни много-ни мало, от всего капитализма, империализма и социализма, от всего современного развития России, перевалившего через голову барина и мужика, поставившего новые, величайшие задачи, совершенно меняющие все условия освобождения того же мужика. Оставьте, как у нашего поэта, одну лишь старо-мужицкую цель революции, и вы получите двойкий идеологический ¹⁾ провал и всей революции вообще, и мужицкой в частности.

¹⁾ Не говорю здесь о внешнем влиянии такой идеологии, до известного момента все же революционном (по крайней мере, вплоть по февральскую революцию), а о «мозговой» формулировке—и для *нынешнего* момента,

В самом деле «хорошая жизнь» в этом старинном духе—возрождение деревни на основе мелкой, единоличной собственности (хотя бы и с «поправками» в сторону «уравнительной» общины) и самодовлеющего хозяйства, как было ранее закрепощения крестьян в XV—XVI в.в., ведь это, во-первых, в современных условиях означало бы полнейшую реакцию, возврат к хозяйственным и политическим порядкам, худшим даже, чем капитализм. К тем именно порядкам, которые в свое время и оказались так детски беспомощны против ростовщика и торгового капитала, в результате чего—и все крепостнические отношения—и барство, и цари, и грабеж ими мелких земледельцев, и выделение последних в низшую, презренную касту—«мужицья». И вот эту-то проклятую «черту оседлости» для миллионов деревенских «душ» стремятся возвести в перл создания идеалисты деревни—поэты! Несчастный узник так привык к своим цепям и к решетке, что без них и волю себе не может представить... Конечно, поэт не сознает этого в конечном счете неизбежного «социологического эквивалента» (выражение [Плеханова] своей поэтической идеологии. Но *объективно* это так.

А второй провал: реальная немислимость в наши дни ждать чистого воплощения подобного «мужицкого рая». Предпосылки для такой средневековой демократии стали уплывать уже поболее полувека назад, вместе с пресловутой «реформой». Не только Плехановы и Ленины, но раньше их умнейшие из народников, как Глеб Успенский, прекрасно учли расслоение, *разложение* старой, единой деревни под влиянием капитала. А мужицкие поэты выкапывают из могилы старую иллюзию. Замогильные идеалисты! Она *может* воплотиться еще после всего ее развала лишь в одной форме: в капиталистической, точнее, в мелкобуржуазной—в виде России—страны мелких фермеров на американский манер. Это—реально, это еще мыслимо. Но мыслимо лишь *без коммунизма*, т.-е. в случае свержения пролетарской власти «кожаных курток», т.-е. с возвращением капитала к власти, т.-е. на погибель в последнем счете самой же массы крестьянства. При коммунизме же—точней, при Советской власти—сохранение мелкого крестьянства (если и не мелкой собственности) дело лишь временное, переходное, впредь до материальной возможности построения и в сельском хозяйстве крупного, коллективного технически-высокого производства.

Таковы об'ективные перспективы в наши дни «чистого» крестьянского идеала. Они неприметно, как роковой «дух века», нависли над поэтическим замыслом Есенина, они чувствуются сквозь этот замысел и подрывают его непосредственное, сильное действие. Чувствуются, как разлад между замыслом и действительностью, как что-то неладное в этом воспевании революции на лире пассивной созерцательности. Для боевого, революционного содержания и форма требуется *наивысше* активная. Отнюдь не наполовину *идеалистическая*, какие *свойственны*, *наоборот*, *эпохам* и *классам*, *еще слабым или уже идущим к упадку* (Плеханов).

Анализом есенинского *chef-d'oeuvre'a* углаживается нам подход и к другим писателям той же «стаи славных». Так, покойный друг Есе-

нина, кажется, ближе всех к нему стоявший и в поэтической области, Ширяевец дает в посмертном «песенном сказе» «Палач» (Альманах «Ковш», кн. IV) подобную же пробу исторической народной песни. И здесь—царь, злой мучитель, только из эпохи ранее Петра, и казнь защитника крестьянской бедноты, на этот раз—удалого разбойничка. Но дальше—не мистическая угроза замученных теней злодею-царю, а прямой, повидимому, революционный эффект. Жена палача, должно быть ранее спознавшаяся с тем удалцом, казнимым рукою ее свирепого мужа, сама идет в разбойники—за ту же голь-бедноту. Становится славным атаманом разбойничьим, заставляет дрожать и бар, и царя. А когда пришел и ей черед—на плаху, от руки своего же мужа, то у заматерелого палача сорвалась рука, и топор «по ошибке» падает у самого царского плеча. Палач сам идет на плаху со своей «женкой» и перед смертью стоит в покаянных словах за ту же бедноту:

Сочно, звучно, стих—как рокот то плачущих, то угрожающих гуслей яровчатых. И нельзя сказать, чтобы мало вероятные, исключительные происшествия казались вовсе невозможными. Нет, в мятежно-лирическом под'еме «сказа» все правдиво, убедительно, верный исторический колорит и живые «лики». Но, как и у Есенина, есть в замысле-идее характерное для деревни «недоосознание», скрытая двойственность. «Коллеблющиеся образы» («schwankende Gestalten») — выражение Гете в его посвящении к «Фаусту».

Почему герои искреннего, даже боевого народника-автора должны быть непременно из чуждого деревне слоя, из хищников, богачей (что он палач—здесь дело второстепенное)? Где сама масса бедняков? Где «народ»? Нет его—он только «хор», зритель. И выходит, будто на исторической сцене—только цари да бояре, да богачи, а беднота—об'ект, а не суб'ект в истории, как и в сказе. «Правда» или идеал «хорошей жизни» оказывается общеобязательным моральным законом для овец и волков одинаково, а злодей-царь и бояре—только *личное*, а не *классовое* уклонение от этой «божьей правды». И получается по существу тот же старомужицкий идеалистический рай, как у Клычкова. То же идейное соглашательство в жизни, политике и искусстве, тот же досадный недостаток в четкости, ясности художественного рисунка на почве поверхностного отношения к составным элементам всей социальной драмы. Не то—картина мятежа, не то—случайная «драчка» между чего-то не поделившими эксплуататорами.

Гораздо вернее, четче, но в том же историческом плане, берет подобную картину Чапыгин в своем, еще незаконченном, «Разине Степане» (1-я часть в приложении к журн. «Былое», 2-я ч. в журн. «Красная Новь» тек. г.). Автор и в прежнее время вместе с Касаткиным и др. занимал позицию беллетриста-прозаика по преимуществу, с несколько даже крайним уклоном в реалистическое изображение темных, лесных мужиков Севера. И общий кризис идеалистической мужицкой поэзии как-то затронул его меньше других, хотя и он, конечно, отдал свою дань отсталому идеализму деревни, этого захолустья старой цивилизации. Но вот

в «Разине» Чапыгин радуется не только блестящими художественными частностями, а и общей выдержанностью, цельностью взятой картины.

Правда, нет и в ней еще важнейшей составляющей нашего современного периода—энергичного, бурного движения, «динамизма», того, что, казалось бы—хоть отбавляй, имеется и в самой теме романа: славной, но неудачной мужицкой революции XVII века. Разумею тут, конечно, не битвы, грабежи, пожары дворянских усадеб, виселицы и казни «бунтовщиков», а движение *в собственном смысле*—и в самом обществе, и в отражающей его драме. Иначе сказать—необходимую цепь столкновений, логически вытекающих из основного положения действующих лиц (в обществе, как фоне первых,—из классовой борьбы). Этого нет в романе, точнее нет в достаточной степени, и здесь—известное опять-таки влияние всей пассивной школы, занятой больше контрастами в идее, в созерцании, чем «земною» свалкой страстей и волей. У Чапыгина общая архитектура романа—как раз в виде отдельных, резко контрастирующих пятен-картин. Вот средневеково-грязная, торговая, обирательская и дико-насильническая Москва, гниющий паразит на теле сермяжной Руси. Вот и сама эта сермяжная Русь в лице массы крепостных мужиков, полукрепостных горожан, стрельцов, ярыжек: многие из них—активные фигуры мятежа, все ярко индивидуальные. Вот «тихий Дон», тихий по сравнению с тою живодерской картиной Москвы, но и сам уже в руках «демократических» богатеев-старшин. Вот недовольный этим и тиранией Москвы самозванный атаман голытьбы—Разин, высоко по-тогдашнему сознательный политик, даже вдохновенно идейный, классовый вождь низов. Вот картина крепостного права—жалкие рабы боярина-воеводы Хабарова в Самаре и он сам—превосходная, реалистическая карикатура, трусливая гадина, откровенный разбойник и жулик, живой контраст удалому, но бескорыстному Разину. Вот и батюшка-царь—Алексей Михайлович, так колоритно и ярко «поданный», что видишь его перед собой, с ног до головы, злого и хитрого деспота, рачительного хозяина, умного московского бюрократа-паука, заботливого отца,—вплоть даже до мимолетных отблесков по стене бриллиантовых его пуговиц на богато изукрашенном рукаве.

Красочный импрессионизм Чапыгина превосходен. Воскрешение всей обстановки эпохи напоминает московские «пейзажи» Аппол. Васнецова и говорит о прилежном изучении и вживании в ее дух. Язык—истинное наслаждение: богатый, чисто народный, гибкий—глядя по местности, народному слою и лицу. Архаизм языка XVII века выдержан очень удачно. И за всем тем—повторяю—движения «сценического» в общем нет. Не знаю, быть может, дальше, в картинах разинского похода, в столкновении двух миров—барского с мужицким—автор и развернет свой «динамизм». Но уже и сейчас видно, что самое строение романа не на том основано. Оно опять же созерцательное, а не драматическое по существу. Сюжета, в смысле конкретного, личного, страстного столкновения героя с враждебной средой, нет налицо или о нем только между прочим упоминается. Разин толкается на борьбу извне, как бы механи-

чески, рукою судьбы ли, автора ли, а не изнутри самого замысла и не силою *личной* неодолимой необходимости. Конечно, в действительности было не так. Да и с чисто художественной стороны настоящей сутью всякого замысла надо считать именно образное превращение общего в частное, борьбы социальной в единичную, конкретно-личную. Это лишь и делает полноправным «героем», т.-е. воплощением, символом широких движений среды.

Но удовлетворимся «Разиным», как своего рода лирической поэмой в прозе. И отметим только еще, что все сказанное не мешает автору проявить наряду с несколько излишней субъективностью формы и содержания большие достижения в резко откровенной свободе обрисовки всей жизни, «как она есть», и во всей ее часто неприглядности. Это даже и помогает его импрессионизму давать самые яркие, контрастные пятна.

Затем возьмем здесь Касаткина, как еще одного представителя «левой», прозаически-реалистической ветви «старых».

Впрочем, вместе с ним мы имеем уже переход от собственно крестьянских писателей к пролетарским. И биография его это показывает, да и его темы, чем дальше, тем больше, становятся городскими и рабочими. Тем не менее некоторые его миниатюры-картинки из деревни принадлежат и по сей час к самым сильным вещам вообще в нашей новейшей литературе (напр., «Лесовица»).

У него характерны две черты: во-первых, эта самая манера миниатюр-осколков. При всем видимом реализме, в смысле доходящего иногда до крайности стремления отражать жизнь «без всяких прикрас», осколки эти надо отнести к числу тех же опять-таки «пятен», характерных для импрессионизма. Впрочем, заметим здесь, что в наши дни и среди заправских реалистов нечего искать строгой школы Толстого и Тургенева. Со времени Чехова и Горького реализм всегда более или менее импрессионистичен: и надо признать, что эта окраска реального изображения в известной мере субъективным впечатлением в известной же мере законна и приемлема, как средство, как орудие художества. Техника литературы, как и других искусств, тоже на месте не стоит. Что до Касаткина, позже он еще дальше ушел по этой дороге, перейдя на еще более субъективную манеру, которую условно можно назвать «лирическим импрессионизмом» или импрессионизмом настроений. Здесь изображение внешних событий идет через посредство *внутренних переживаний*, чувств самого героя (а не одних авторских ощущений), путем преломления мира сквозь прихотливую игру этих чувств, часто смутную, иногда болезненную (у примитивных натур, у больного, пьяного, умирающего). Манера эта узаконилась опять-таки со времени символистов и белой нитью пронизывает все последующие анти-реалистические школы вплоть до футуризма, чистого и в «уклонах» (Пильняк, Вс. Иванов).

Таков у Касаткина в «Деревенских рассказах», изд. 1925 г., рассказ «Райпросвет и Гришка» (дата его написания 1923 г.). Содержание: дичь, пьянка, драка—праздничное времяпрепровождение «волгарей», полукрестьян, полурбочих, на их зимовье, в затоне. Все это—сквозь призму

полусонных, испуганных впечатлений мальчика Гришки. Он со слов отца страстно ждет приезда неведомого ему доселе «райпросвета» для «очень замечательных представлений». Но тот не едет. Отец и его друзья-кочегары пока что пьянствуют и дуются в карты. В этой выразительной параллели — и «идея». Гришка ждет чего-то — по звуку райского, а просвета нет как нет.

— Показать Гришке райпросвет! — чудится ему, сказал «набольший», виденный им ранее на портрете в клубе. Т.-е. сам т. Луначарский.

И показывают: «сидят за золотым столом короли и требушину жрут: перед королями черные эфиопы с белыми глазами вихляются, бьют в за-слоны и прыгают без малого до потолка»...

Райпросвет даже обидеться мог бы. Но напрасно: таково *переживание* Гришкой дебоша кочегаров. «Хужее» то, что просвета нет — вот ясное впечатление самого автора.

И в этом вторая черта Касаткина. Уже старый его сборник «Лесная быль» полон такими впечатлениями, да и сейчас все деревенское у него так же безнадежно мрачно. Вот из его книжки 1926 г. «В уезде» слова фабричного о захолустье вообще: «Ведь тут жизнь — яма!» И еще — очерк «Сказка», оттуда же — описание: «В окнах, тут и там, привидения-мертвецы с испуганными лицами и живые — с деревяшками вместо лиц».

Если такие впечатления были в своем роде законны до Октября, то неужели сейчас так-таки ничего не видно в деревне и уезде нового, мало-мальски движущегося против глухой и дикой «прозы жизни»?

В этом Касаткин не реален, при всем своем, повидимому, крайнем реализме в темах и деталях, реализме, еще даже как бы подчеркиваемом его добавочной, сугубо импрессионистской, давяще-настроенческой манерой. Не реален, ибо мы знаем, что настоящий художественный реализм не значит отражение всей текущей действительности, какая подвернется под руку или под суб'ективное настроение, а — дело весьма нелегкое: зоркое уловление *действительности «разумной»*, со всеми наличными в ней зародышами реального «идеала». Зародыши, пускай, слабы, рассеяны, часто скрыты от невнимательных глаз: для того ты и есть зоркий художник, чтобы их вскрыть, выделить в образе, собрать в фокусе творчества, *осмыслить*, наконец, через них всю «жизнь-яму», с которой они борются, которую стремятся перестроить, а не просто валяются в ней, как жемчуг в навозе. Художник — творец из элементов той же действительности, страстный творец, а не равнодушный прохожий-зритель. А вот иные из импрессионистов наших как бы нарочно даже щеголяют тоном этакого, якобы, об'ективного равнодушия: мы, мол, добросовестнее и реальнее самих Тургеневых и Пушкиных. На самом деле тут — просто влияние их до-нельзя суб'ективной формы. Пусть суб'ективизм Касаткина и других — отрицательный, т.-е. отрицающий все, кроме «прозы жизни», — это не мешает ему быть ошибающимся суб'ективизмом: именно потому, что он отрицает (самим приемом отрицает, а не сознательно, не в прямом словесном выражении) жизненно-реальный идеал. Ведь и у пролетариата, заведомого материалиста, есть свой идеал — *классовая идея*, за которую он борется и жертвует

собой. Не находить его, хотя бы в зародыше, хотя бы и в уезде—художественная и всяческая слепота.

Мы вправе, следовательно, отличительным признаком всей группы «старых» крестьянских писателей считать ее большую или меньшую связанность в своем творчестве, как с источником, со старо-деревенским идеализмом. Самый факт проявления такой ноты исторически понятен. В течение столетий придавленное крестьянство вынашивало в себе свой самобытный идеал, враждебный барству и его чиновничьему, в прежнее время, городу. Понятно, что с первой революции, —революции, направленной в первую голову против барства,—полученная возможность для деревенской массы к некоторому свободному обнаружению себя должна была сказаться, прежде всего, именно исповеданием этой «накипевшей», хотя уже и далеко отсталой, своей веры. Выходцы-поэты не замечали, что все переменялось уже на свете, пока их предки боролись, побеждались и копили веру. Что и город уже—не барский и чиновничий только, а в гораздо большей степени капиталистически-промышленный да рабочий; что и новая революция, их освобождающая, толкается чем-то новым, помимо-деревенским, к чему деревня обязана приспособиться, если не хочет снова потерять свободу. Этому певцы мужицкого рая не видали и шли себе за трудовиками и народниками-идеологами прямым путем на соглашения с городским капиталом, продающим их за грош тому же царю и барину. Конечно, после Октября почти вся эта группа очнулась от мужицкого идеалистического сна и в большинстве пошла на смычку с освободителем-пролетариатом. Однако долголетние привычки творчества в усвоенной форме не дали вполне перестроить своей манеры, как и идеалов. Наконец, самое *мастерство*, ими достигнутое, этому препятствие. Нельзя по воле от мастерства в данной форме перейти к такому же в новых формах. Кажется, одному лишь Чапыгину это все же удалось более или менее. Ибо есть тоже свои исторические основания для достижения вершин мастерства именно в данной, идеалистической форме.

«Сова Минервы летает ночью»—это изречение Гегеля здесь лишний раз оправдывается. То-есть полное осознание того или другого «века», того или другого общественного класса достигается лишь на закате его жизни. Все равно—в теоретическом ли виде, или в виде «образного познания», искусства. Старое крестьянство, как таковое, неоспоримо находится уже целиком в прошлом. Расцвет его приходился на время расцвета натурального хозяйства и крепостного права, реформа 1861 года, сильно надломив его, в то же время дала ему, как так называемому сословию, некоторую отсрочку среди новых общественных отношений, капиталистических по существу. Сейчас крестьянство окончательно изживается, деревня медленно, но верно, социалистически модернизируется—такова по крайней мере работа нашей кооперации, таково вообще задание. Со временем, при социализме, вовсе не будет крестьянина, как отдельной, прикованной к нищету единоличному хозяйству, дикой породы людей. Будут равноправные с городом в культуре и в благосостоянии члены трудовых коллективов—«сельские производители», а не мужики.

В этом смысле спета песня старой, «сплошной» деревни, когда-то единой—против барина—от бедняка до кулака. *Поэтому-то* она однако—вот живая диалектика истории!—и может проявить высшее мастерство. И проявила в лице Есенина, этого «последнего поэта деревни», и прочих. И поэтому же так трудно им перейти на новые рельсы, а в особенности дать и там хотя бы приблизительно равные образцы. Достаточно сравнить стихи, скажем, Орешина с его же попытками в прозе, к которым он сейчас обратился. Его очерки «С гуся вода», «В полях» стремятся реально передавать действительность, интересны, свежи, дают пищу размышлению, но—и отдаленно не идут в сравнение, как художественный «кристалл», с его прежней поэзией (и даже с теперешней, которая идет почти всегда по знакомым, идеалистическим тропинкам).

Новому поколению остается самому взять у «стариков», что следует,—хорошенько проведявши, разумеется, предварительно на новых веялках и отобравши, «что к чему», на новых триерах. Облегчив себе задачу «хода вперед» наличными образцами этих *классиков* (мы имеем известное право применить к ним, как и к отдаленным их предкам—Кольцову, Никитину, это название), в прибавок к классикам деревенской литературы дворянским и мелкобуржуазным (Некрасов, Салтыков, Л. Толстой, Г. Успенский, Короленко и проч.),—творить из новых элементов и новыми приемами *свой* литературный прогресс в новом направлении ¹⁾.

II

Только в последние 2—3 года стал нарождаться совершенно новый крестьянский писатель-молодняк. На его истории и «пред-истории» особенно ясно видна вся неимовернейшая трудность для деревни в ее культурном под'еме встать вслед за пролетарием на новые, современно-социалистические рельсы.

Были, конечно, и в начальный советский период более молодые писатели деревенского происхождения, пытавшиеся творить по-новому. Но то был по большей части—или абсолютно наивный, ученический «бытовизм», копировавший непосредственно «с природы», или голая «агитка». Кое-кто ударялся в тот крикливый и вымученный «космизм», который заражал тогда и пролетарскую поэзию. Разница была лишь в том, что у одних полеты в астрономию связывались с заводскою техникой, «молотом» и проч., а у других—с «серпом», сохой, полем, зарей и пр. Но—по большей части одинаково ходульно и шаблонно. Частью остатки тех троякого сорта «опытов» сбереглись до сих пор в литературе т. наз. союза крестьянских писателей, смешанные, впрочем, с кольцовско-никитинско-некрасовскими перепевами, ведущими свою линию от бывшего Сури-

¹⁾ Должен оговориться, что вовсе почти не затрону в дальнейшем ряда выдающихся крестьянских писателей *промежуточной* поры, как М. Волков, И. Вольнов, Демидов, Низовой, Неверов, Дорохов, Яровой и проч., как и некоторых «старых» (Клюев, Под'ячев)—весьма даровитых и интересных. Но я не вижу в них ничего, существенно меняющего *общие линии*, которые здесь прослеживаю.

ковского кружка. Во всяком случае в этом союзе-кружке—за единичными исключениями—мало заметно движения воды.

В толстых журналах, в альманахах, в отдельных изданиях, наоборот, все сильнее пробивается струя подлинно новой деревенской литературы. Можно даже сказать, что тут намечается целое половодье¹⁾ такой литературы, есть уже и крепкие, волнующие образцы. Беда лишь в том (беда ли?), что лучшие относительно из вещей о деревне все еще принадлежат перу не самих представителей деревни, а попутчиков или пролетарских писателей. Назовем хотя бы Сейфуллину с ее «Виринеей», Леонова с «Барсуками», Пильняка с его «Мать земля-сырая», А. Веселого со «Страною родной», Тренева с «Пугачевщиной» и т. д. Эти уж порядочно придвинулись по художественности исполнения к «старым», а в некоторых отношениях идут дальше (что касается *современности* их творческих идей).

О них придется еще специально поговорить. Здесь только отметим, что данное обстоятельство содействует художественному росту «молодняка». Но все же рост этот пока что еще довольно-таки мал. Из пеленок беллетристической корреспонденции и дикого «космизма» вышли, но до зрелой гармонии замысла с исполнением и целого с частями еще далеко. Однако есть уже вещи, довольно замечательные и многообещающие то в том, то в другом отношении. И эти «отношения» необходимо внимательно учесть, ибо при «комсомольности» некоторые по крайней мере писатели этой струи имеют уже свою, вполне определенную физиономию. И все вместе явственно образуют общую, дружную волну, показывающую в одном и том же направлении: к борьбе и победе советского, нового.

Лишь крайне незначительный процент «молодняка» слепо идет на поводу у «старых» крестьянских писателей (напр., поэты, которых можно назвать более или менее правоверными есенинцами—Наседкин, Ковынев). В этом тоже своя логика. И это тоже показывает, что при всей трудности под'ема к новому искусству он все же совершается. Телега не стоит на месте, не скатывается в овраг.

Я и здесь могу, конечно, действовать только «по выборочной системе». Рассмотреть даже только всех более выдающихся нет возможности. Беру из них тех, которые мне кажутся наиболее *характерными*.

Начну с особо своеобразного и как будто сулящего впереди серьезную силу: это Родион Акульшин. Правда, сейчас он на вид сосредоточивается не на чистом искусстве: пишет полу-беллетристические очерки, состоящие каждый из ряда внешне несвязанных «бусинок», нанизанных, однако, на одну общую лирическую нить-настроение. По виду в общем—просто сырой материал бытового и фольклорного характера (ср. его книжку «О чем шепчет деревня»), как бы этюды, эскизы, подготовка к большим художественным полотнам. На самом деле некоторые из «бусинок» в отдельности дают готовую тему для целой повести или даже романа из нынеш-

¹⁾ Особенно, если принять во внимание творчество провинциальное (журналы, сборники, отдельные издания).

него момента борьбы старого с новым в деревне—и тему часто чрезвычайно свежую и оригинальную. Так, в «Письме из деревни» от собственной матери автора («О чем шепчет деревня», глава «Из записной книжки») повествуется, как некую Машку Дядину сватали зараз двое—телеграфист и приказчик кооператива, и какой жалостный оборот приняло дело. Предпочтен кооператор (новое!). Телеграфист с горя—в Бухару, а кооператор—«верно, кто отворотил его, а приворотил Еньку Немальцеву»... Словом, расклеилось. Машка «с горя, а больше со стыда» тоже уехала в Оренбург, в прислуги. Но тут-то и развязка в новом духе. Енька в кооперативе с мужем торгует и так не по-новому ведет себя, что вооружила всех членов. И мужа, и жену хотят выбросить, а «бабы хотят выбрать Катерину Ивановну», гораздо более «обходительную», словом, общественный элемент.

Чем не сельский роман на современный лад? И таких у Акульшина, можно сказать, целая кладовая. И главное—живьем из самого нутра сегодняшней деревни. Смесь старого, «приворотно-заговорного», с новым, «кооперативно-тракторным», невероятнейшая, как бы несоединимая. На что лучше примеров «красного фетишизма» в его замечательных «Новых сказках»: «Баба сняла с головы *красный платок* и ну махать на чорта; чорт корчился, корчился, так и не влез в избу, а упал на завалинку и провалился». Не правда ли, неожиданное применение революционно-пролетарского цвета, чуть не знамени? И таких тоже Акульшин вам расскажет полное лукошко.

Суть у него в том, что на самом деле это—вовсе не простой материал нового советского фольклора, новой «пролетарской культуры» в деревне. Это пристально внимательная к *характерным* мелочам, страстно веденная запись яростной борьбы старого с новым во всей неподдельности, корявости и—скрытой красоте! Нечто вроде записей Глеба Успенского (художника, ведь, первостепенного), но с существенной, конечно, разницей *направления*. Успенского в этом смысле надо скорей сопоставить с есенинско-клычковской группой «старых», а Акульшин—влюблен в новое, в «тракторную Россию». Он, впрочем, до боли влюблен и в эту вот теперешнюю свою серую, все еще первобытную деревню, которую рисует нам почти, кажется, с равной нежностью, как и родную мать, Аграфену Константиновну. И любовь-то его к деревне состоит как раз из *боли* за ее серость, за темноту, за несуразность. Это совсем другой,—хотя и глубоко человеческий мотив, чем у «старых». У тех, положим, тоже жаление, но старое, народническое, по сути безвыходное. Здесь—активное и бодрое.

Если в чем и надо упрекнуть Акульшина, то разве лишь в том, что в его «успенских» очерках не уловлена в достаточной мере дифференцировка деревни, мало отражается ее внутренний распад и разлад, особенно в связи с нэпом; роль анти-общественного кулачества, мало-мальская роль сознательного бедняка и середняка в той общественности, которая все ясней пробивается среди крестьянской массы. Но этот упрек, как говорится, родовой: он относится равно ко всей группе «молодых», распространяясь отчасти даже на более выдержанных и зрелых, *не* собственно

деревенских изобразителей деревни, как А. Веселый, Леонов и т. д. Наличие бесспорно расслоение деревни все еще недостаточно глубоко отражается в нашей литературе — за немногими лишь исключениями.

За всем тем, повторяю, Акульшин—один из наилучших знатоков деревни, в то же время верящих для нее в грядущую «хорошую жизнь». Ничего, что его манера писания такая «набросочная» и как бы нарочито прозаическая. Возьмите признанного мастера живописи в слове Пильняка (напр., «Машины и волки») — найдете и эти наброски, и сырьевую необработанность, и «лирический беспорядок» (преднамеренная «беспланность»), и проч. Художество здесь все же неоспоримо, и определенной формы. Акульшин—убежденный *реалист*, притом не однобокого плоско-натуралистического толка. Он не видит в действительности одну почти сплошную, черную и отталкивающую «прозу жизни». Наоборот, даже в непроходимой мужицкой темноте и средневековых путях мышления вдруг показывает до «смехоты» своеобразно оправленный самоцвет новизны и поэзии. Он видит деревню, массовым потокомдвигающейся к нам, пусть в наивных и нелепых, «лапотных» пока тонах. Дайте срок, — как бы говорит он, — борьба изменит и тона.

Он не дает еще нам четко и броско конкретного, «верного идеала» новой деревни. «Верный идеал» — это у Пушкина занятая формула художественного реализма. В окончании «Онегина» мы читаем:

Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал...

И дальше, как бы в пояснение к словам о «верном идеале»:

А ты, с которой образован
Татьяны милый идеал...

На самом деле этот термин может служить одним из определяющих признаков всего так называемого русского реализма, а этот последний ведь выдвигается на первое место в истории искусства — как высшая форма, свойственная классам, идущим к своему историческому под'ему (Плеханов). Действительность, озаренная таким «верным идеалом», и есть подлинная, диалектически развивающаяся жизнь со светлой перспективой, а не унылый, безвыходный тупик, преподносимый нам со времени Л. Андреева и Арцыбашева, а то и ранее, с А. П. Чехова — под именем, якобы, самоочнейшей действительности. И замечательно, что такой тупик преподносится всегда писателями, более или менее погруженными в отвлеченный идеализм — с таким видом, однако, что это-то и есть максимум реализма.

Писатели же, как Р. Акульшин, с их часто смутным еще, но верно чуемым, жизненным «идеалом», получают огромное принципиальное преимущество над сторонниками «тупика». Первым становится доступна такая степень правдивости в «прозе жизни», в изображении ее жестоких и грязных фактов, на какую вторым отважиться не всегда можно. Почитай-те-ка у того же Акульшина в «Людях и фактах» (№ 2 «Красн. Нови» за т. г.) маленький очерк — «Люди в колодце». Герой — «Ванька-царь»: «до револю-

ции мясом торговал; в первые годы после Октября был председателем Исполкома и *вождем коммунистической партии* в большом районе С. губернии... Арестовал 100 человек участников деревенского спектакля, детей, их родителей-крестьян, учителей за, якобы, содействие казачьему набегу». «17 самых тяжких преступников подвергались ужасной казни: живыми бросали в колодец, а сверху пристреливали из нагана». Потом «отдал приказ Ванька—взорвать динамитом колодец», чтобы следы скрыть... А теперь он «уже не Ванька-царь, а (опять) торговец Иван Петрович»...

Фактец, что и Пильняку впору. А в то же время у Акульшина не остается того впечатления нарочитого ужаса, каким стремится «пужать» вас Пильняк. Ибо видно, что все дело—в моменте развала и разрухи, когда глаз Советской власти до многого само собой не достигал. И за «ужасом» слышен всегда явственный шаг революции вперед и выше, неуклонно преодолевающей все «на изломе» неизбежные ужасы. Вера автора или лучше—ближайшее, действительно мужицкое знание фактов во всей их полноте дает эту возможность и бесстрашного, до края правдивого «заглядывания в колодцы», и мужественного их освещения до самого дна лучем «верного идеала»¹⁾.

Вот почему настаиваю, что словно бы публицистические очерки Акульшина являются по сути своей художественными. Не даром ведь и его стихи—чистая поэзия оригинального, объективно-повествовательного характера—род каких-то деревенских *идиллий*, где лицо поэта совсем спрятано. И в то же время—чувствуется! лирика той же глубокой любви к оттаивающему от рабства мужику.

Что еще дает право писаниям Акульшина на имя художественных, это—приурочение большинства его очерков к окрестности одной, родной деревни Самарской губернии и уезда. Прием Пришвина, такого мастера в превращении мельчайших, сегодняшних событий своей околицы в перл всеобщего значения. По внешности—чуть ли не сплетни соседские, по биению пульса общей, социальной, исторической жизни в «малой капле вод»—красота и художественность. Конечно, Акульшин тут еще «не достиг», но он—хороший ученик школы Пришвина.

На той же дороге нового реализма (прямого преемника старому) создается ряд интересных по-своему вещей и другими представителями крестьянского молодняка, но уже в менее прихотливых линиях словесной архитектуры. Таковы—Тверяк, Коробов, Анна Караваяева, Губер, Ветров, Дьяконов, Костерин и многие другие. Сюда же можно прибавить молодых бытовиков (но с определенным уклоном к более художественному исполнению) из журнала «Октябрь». Не всегда с уверенностью можно отнести их к категории чисто крестьянских писателей, тем более, что

¹⁾ Идеал этого рода—чисто *материалистический*, поэтому он, можно сказать, лишь *звук* имеет общий с «идеализмом», который ему противоположен, как пустой призрак живому существу. С другой стороны, он так же противоположен (исторически) конкретным идеалам старых реалистов-дворян буржуазно-либеральной окраски (как декабристы), ибо наш идеал—*революционный* и против бар, и против буржуазии.

деревенские темы сплошь и рядом как бы навязываются всякому нынешнему беллетристу. Пример—большинство членов бывшей «Кузницы», именовавшей себя пролетарскою, пишут на деревенские темы. Да и тот же «Октябрь» сплошь залит деревнею—журнал «Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей». Решение тут облегчается как раз тем, что, повидимому, осложняет его: на самом деле ведь в нашей стране большинство и интеллигенции, и мелкой буржуазии вообще, и даже рабочих корнем сидят в деревне, следовательно, выступая писателями, в большей или меньшей мере имеют право на название «крестьянских». Конечно, надо выделять более близких к сохе и бороне. Но, скажем, Есенин—какая же это «соха» в последней половине его недолгой жизни? Перо, как профессия, тоже обязывает, и чистой сохи здесь искать—пожалуй, значит отойти от первой, необходимой в данном вопросе мерки: *художественной*.

Так что в дальнейшем мы не можем так уж микроскопически исследовать степень прямой связи каждого данного автора с деревней, а будем более руководствоваться постоянством у него деревенских тем, степенью живого знания им деревни и верной образной передачей ее.

С этой точки зрения Тверяк, Коробов, Караваяева, Ветров кажутся нам стоящими почти на одном уровне. В большей степени художественными реалистами будут, пожалуй, двое последних. По крайней мере, у Анны Караваяевой имеется значительное приближение к той полной необходимости, невыдуманного движения драматической архитектуре, которая в сущности и является со времен Пушкина главнейшим образующим принципом русского реализма. Пусть сюжеты Караваяевой довольно таки избиты: в «Медвежатном», напр. (№ 3 «Кр. Новь» 1925 г.), бесчисленное множество раз рассказанная история вернувшегося фронтовика, который пытается повернуть на новый, советский лад родное захолустье. Но уже этот сюжет обработан, не как медведи дуги гнут, не—красный герой да героическая беднота, молодцы и девицы на одной стороне, а черное, как сажа, кулацкое воронье на другой. Сеть возникающих отношений уже много сложнее, тоньше, противоречивей и потому—правдивей, реальной.

Влюбляется герой рассказа не в комсомолку (есть и здесь такая или вообще «новая», яркая, смелая беднячка), а в дочь кулацкого подгоска, а та—типичнейшая, хорошая деревенская девушка «по старинке», т.-е. любящая, тихая, пассивная, способная умереть от страсти любовной, но не бороться. И тут возникает сложная коллизия, скорей в старом духе (вроде судьбы Катерины в «Грозе» Островского). Герой неосторожно насмехается публично над «богами», тихая девушка-невеста из страха божия и родительска отказывает в своей руке. Ее выдают за немилу, лавочника, который ее в первую же ночь спяну «всю испохабил»—истерзал и избил. Герой непобедимой силой к ней увлекается, и ее застают в его объятиях. Муж спяну убивает его. А комсомолка, мстя за любимого, но не любящего ее героя, жжет избу лавочника, а отсюда—пожар всей деревни. Словом, конец-то—немножечко перехвачен в драматизме (уже чисто за волосы притянутом, механическом).

Но в общем столкновение октябрьско-идейного «нового» с косным «старым» дано в безусловно жизненных, не преувеличенных тонах. Геройские подвиги героя почти прозаически деловиты, но лежат в плоскости действительно ценной советской работы (дележ покосов в пользу бедноты и т. д.). Столкновение страстей почти до будничности типично—таких наверняка множество в наши дни всюду по деревням. Лица очерчены разнообразно и четко, а главное—верно, т. е. с точки зрения общего художественного замысла именно *такое* лицо наилучше оттеняет все столкновение страстей на *своем* месте. Не перехвачено и не недохвачено в рисунке и в роли каждого. Признак чуткого в общем художественного вкуса. Но, впрочем, все это прямоком уже вытекает из первоначально правильного, трезво-взвешенного творческого замысла. Характерно схвачено индивидуальное столкновение «идейного» героя со средой—современно, пролетарски идейного, а не средневеково-идейного, по Клычкову.

Не хочу подать повода думать, что на мой взгляд и столкновение, и герой, и даже среда должны быть обязательно прямоком отражены от быта. Нет, их элементы, конечно, должны быть найдены и зарисованы отсюда. Но затем законы художественно-изобретательского, «сочинительского» замысла, художественной идеи вступают в свои права. Линии архитектуры, развитие из них событий определяются требованием максимального воздействия на зрителя. Все черты, действия сгущаются, концентрируются, в меру подчеркиваются *искусственно* (на то и искусство, а не простая, ремесленная копия с природы), только так в то же время *искусно-непринужденно*, «натурально», что зритель все воспринимает, как «простую» действительность. В этом-то и трудный секрет нашего старого реализма. И этим-то и достигается, что «верный идеал», удачно воссозданный герой, тем сильнее—как герой-простак, как «свой брат»,—воздействует на наше воображение, чувство, а через них и ум.

Все это приложимо и к А. Караваевой, к ее трогательной во всяком случае повести о жестоких борьбах за коряво, но искренно воспринятый социализм в разных Медвежатных (село так звалось, ибо население было прежде медвежатниками-мужиками какого-то важного графа). Но, как видно из мало художественного, натянутого конца, сам автор повести чувствовал все же нехватку силы в исполнении, потому и подбавил «пожару». Пружины действия недостаточно развиты, лица не высказались до конца, вся энергия, страсть, предположенная автором, не доразвернулась, в чертах каждого действующего лица. Повесть осталась в общем как бы полужизненной (с незаконной перехваткой кое в чем). Но при знакомстве автора с бытом и языком ожидать от него есть чего.

Так же мало тенденциозно, т. е. мало пересолено в нарочитых, «привязных» заданиях каждому лицу и всей вещи в целом и у Ветрова. Его «Лихоманка» (№ 3 сборника «Перевал») и «Батрачка» («Перевал» № 4) правда—совсем маленькие рассказы. Но в первом из них в смешные и наивные фольклорные рамки, следовательно, рамки полного средневековья, очень естественно и в то же время четко вставлена—в самый раз, как хорошенькая, чистая акварель—историйка, целиком современная. Комиче-

ский эпизод с добрым деревенским коммунистом, случайно наткнувшимся в лесу на колдовство против лихоманки: его соседка, родственница жены, нагишом бегаёт по лесу, отчитывая болезнь по совету знахарки. Сжалился, что промерзнет, одел, привез домой—все хорошо. Но возгорелся добрый партиец «преступной» страстью к виденному нагому телу и стал преследовать соседку. Та сговорила—совсем по старинке—с его женой поучить нарушителя обетов и на свидание в ригу, в темноте ночной, вместо себя подсылает его собственную благоверную. Порок наказан, добродетель и брак торжествуют. Но это рассказано с таким истым деревенским лукавством и юмором, что вещь невольно остается в памяти. С виду—пустячок, анекдот, а по сути крайне жизненное столкновение партийного долга с легкомысленными «навождениями» со стороны обывательских страстишек. Ведь эта обывательщина, эти «мелочи жизни», «проза жизни» в ее невинно-пошленькой разновидности, ведь это и есть в действительности наибольшая опасность и наитруднейшая борьба. Эта сладкая тина так цепко обволакивает «нового» работника-общественника, что и не заметишь, как превратишься в... свою противоположность.

Поэтому замысел автора чрезвычайно верен и художественно оправдан. Общая задача реализма нашла себе вполне «стильную» оболочку. Коммунист-герой взят с наиболее человеческой стороны, не натянуто высок; борется все-таки, но и не без труда; побеждает, но, увы! лишь с помощью двух честных и любящих баб. Ну, что же—как-никак победа! урок-то памятный, хоть и бабий. И это тоже новая, свежая нотка, что женщина голову подымает. Все не дурно. Само собой, такого героя не поставишь в художественный ряд «верных идеалов», рисованных старыми классиками реализма: Базарова, Бельтова (Герцен), Татьяны пушкинской и других женщин, но скорей—по малости самой вещи и легкости темы, а не по художественной сути. А в «Батрачке» налицо уже серьезный, почти трагический подход. Деревенская полупролетарка—со всей горечью ее злосчастной судьбы—дана резко, смело, с любовью. Не показан выход к новому, советски-человеческому—это недостаток вещи.

У Тверяка в своем роде тоже немало интересного. Большая его повесть «На отшибе» (альманах «Кр. Нови» № 2) дает попытку нарисовать личную историю «новых» героев на фоне широкого социального, т.-е. *классового*, полотна. Что-то вроде небольшого «социального романа» в деревне. И надо признать, что из «молодняка» это—чуть ли не первый, кто углубил художественный замысел в данном направлении и далеко не без успеха. Общая архитектура повести представляет удачное развитие личной драмы героев, свободно и жизненно вливающейся в широкую драму деревенской массы, восстающей (именно восстающей—в наши дни) против нового «помещика»—кулака. Что кулак может еще в наш момент иной раз оказаться в такой роли, удивляться нечего: неустройство власти на местах все еще порядочное. Но картина самодеятельного «восстания» бедноты и середноты, затронутой в своем общем «лесном», «дровяном» интересе—это тема свежая, чутко опять-таки выхваченная из «прозы жизни». И так как ведена она в повести довольно наглядно и логично, без выкриков

и преувеличений, то сдается, Тверяк «попал в жилу». Надо отметить также избежание общего многим греха: трактовки всей деревни, как единого целого, в котором лишь новизна *вообще* идет боем против старозаветности *вообще* (что все еще напоминает народническо-крестьянский идеализм «старых» мастеров). Здесь же деревня расчленяется,—следовательно, взор художника глубже, детальнее проникает в ту действительность со всеми ее внутренними противоречиями, от какой *должен* реалист исходить в своем «сочинительстве». Не следует лишь думать, что картины классово-борьбы в деревне должны быть обязательно в таком *обостренном* духе, как у Тверяка. Кулак в общем теперь не действует уже так откровенно-резко. Да и «выжимание» его носит более экономический, следовательно, более «культурный» характер.

Однако этим широким архитектурным размахом почти ограничивается художественный успех Тверяка. Когда дело переходит от общего к деталям, они, увы, далеко не всюду выдержаны. Еще так сказать «колонны», на которых держится художественное здание, т.-е. драматические узлы повествования, недурно выполнены. Позор героини от кулака, взявшего ее за своего сына, а потом без дальних слов выгнавшего,—правдивая завязка. Развязка—убийство тем же кулаком отца героини, вождя «восставших»,—тоже верная драматическая нота, но портреты, «типы», в которых должна воплотиться та или другая архитектурная линия, так сказать живые обитатели художественного здания,—почти все слабы. Один только убитый кулачьим отец-селькор, его жена да частью сам кулак—правдивые и живострастные, в то же время сегодняшние фигуры мужиков. Чем дальше в направлении «верного идеала», тем бледнее. Бледнее всех добродетельный, умеренный и аккуратный советский чиновник—председатель сельсовета Михайло Андреев. Неужто не было в наблюдениях автора ничего поживее? Взял бы за исходный пункт одного из тысяч уже крестьян-общественников, несомненно «в природе существующих» и ведущих сейчас борьбу не за страх, а за совесть. Вот эта в большинстве мертвенность лиц в повести и заставляет все же отнести ее не к законченным в себе художественным кристаллам. Ведь не забудьте, что в *chef-d'oeuvre* 'ах реализма решающая роль—всегда за «верным идеалом», т.-е. за живым, индивидуальным, образным воплощением того направления, куда идет вся «разумная действительность» ¹⁾. Правда, крайне важна и внутренняя, скрытая от глаз архитектура повествования; только она ставит живые лица в такое ярко определенное художественное положение, что они впервые дают нам всю свою величину, весь *разряд* своего художественного *заряда*. Но внутренняя архитектура только тогда и тем проявляется, что и когда выражена для глаза образами живых и полнокровных персонажей. Этого-то и не хватает у нашего автора при всей правдивости и широте замысла. Повесть-недоносок—по крайней мере на зна-

¹⁾ Имеется в виду (здесь, как и в других местах статьи) преимущественно *главный стержень* русского реализма—именно собственно роман, повесть, рассказ, а не его производные «роды»—лирика, сатира, юмор и т. д.

чительную часть—вот что получилось из «На отшибе». Тем не менее интерес и свежесть замысла делают ее сильно литературной (не говоря уже о знании быта и прекрасном языке).

В том же 2-ом альманахе «Кр. Нови» повесть «Петушиное слово» Коробова также подкупает близким, кровным знакомством с людьми, делами и словами сегодняшней деревни, но в исполнении уже порядком отходит от верного и четкого реализма. Здесь уже помимо некоторой фальши в отдельных образах и помимо гораздо более мелкой, менее значительной по широте композиции, имеется также и нориячная идейная фальшь в содержании. Т.-е. ход вещей, уже не во внутренней области самой повести, а вне ее, в той революционно развивающейся действительности вообще, откуда черпается материал рассказа, заимствован не всегда зорко, не вполне объективно, подчас с сомнительными прикрасами. Если у Твояга имелся уже некоторый перегиб в сторону «отрадности», в фактах выжимания трудовой массой из деревни элементов «на отшибе», кулачья, то здесь—хуже: перегиб и немалый в сторону трогательного слияния деревенских классов—овец с волками. Там кулак гонит из семьи беднячку, а здесь беднячка Клава, обрюхаченная и опозоренная перед всей деревней сыном гнусного кулака, благополучно под конец повести с ним сочетается законным советским браком в Вике, да и он (сын бывшего дворника и заведомого охранника, сам негодяй не из последних), если верить автору, обращается в доброго советского пахаря. Не то, чтобы это был абсолютно невозможный «в природе» случай, но брать такого трижды сомнительного парня за героя отнюдь не сатирической повести—слащавая фальшь. Ибо «герой»—дело серьезное. Это все равно, что навевать читателю мысль: вот один—может быть, даже особо замечательный—из отрадных ростков «новизны» в деревне. Ничего отрадного и ничего нового. Напротив: кулацкий росточек *очень-очень* ненадежный, *даже в случае искренности* обращения! Конечно, чем сильнее будет экономическое и моральное давление вообще на одиночек-кулаков со стороны широкой трудовой массы крестьянства, тем чаще будут происходить подобные случаи вынужденного и непрочного обращения. Но лить слезы радости тут неосмотрительно, преждевременно. И искать проблески «верного идеала» надо крестьянскому беллетристу не с таким христиански-примирительным, подслеповатым фонариком в руках, а с пролетарским прожектором, безжалостным, холодным (для любителей примирения).

Между тем идейная фальшь отзывается далее и внутри архитектуры произведения. Легкость «обращения к правде» становится вообще его творческим законом. И вот мы видим, как у Коробова барыня-домовладелица, жадная, пустая и капризная до революции, Надежда Федоровна обращается после Октября в трудолюбивую кухарку детского дома, идущую впереди всех нянь по советской сознательности. Обиженная Клава с ребенком уходит в город и там с подобно же легкостью и быстротой обращается в ценную общественницу и т. д. Даже с поповной-распутницей намечается какой-то процесс «отрадного свойства». Все это роднит по содержанию Коробова со «старыми» идеалистами-писателями и безусловно

портит его вещь. Надо ему пожелать обратить внимание на эту болезнь обывательского благодушия и поосторожнее оценивать факты действительности. Пожелать надо этого тем более, что проглядывает у него тесная связь с подлинной деревней.

Из прочих «молодых» по своеобразию замысла и значительной твердости рисунка приближаются к отмеченным выше еще, пожалуй, Губер и Костерин, в меньшей степени Дьяконов, Крутиков, Каргополов... Последний, однако, целиком выходит из рамок общего всей группе, ясно выраженного реализма, вдаваясь в манеру крайнего импрессионизма, близкого к футуризму. Впрочем, здесь у него—точка соприкосновения с Арт. Веселым, с его энергичной, сжатой, быстрой «кино-манерой».

Губер обращает на себя внимание рассказом «Шарашкина контора» в 3-м сборнике «Перевал». Тема—трудное, больное, на опыте своих боков (неудачный брак с кулаком) действительное обращение вялой сперва, но искренней «бабы» во что-то новое, в самостоятельную женщину, ненавистницу жирной и грабительской кулацкой жизни. Автор останавливается на самом пороге ее новой «хорошей жизни», и это реалистически тоже верный, ибо осторожный прием. Важно, что в данном образе он уловил одно из несомненных молекулярных движений к свету грядущей революционной «культуры». Лица замечательно жизненны, четки, даже так сказать ежедневно знакомы каждому и в то же время говорят все вместе, в своем художественном противопоставлении, о чем-то новом, значительном. Манера, стиль автора тоже сильно пронизаны импрессионизмом «внутренних переживаний» героини: с ее точки зрения, сквозь ее мучения изображены все происшествия. Но я уже говорил, что это—приобретение нашего реализма от суб'ективно-идеалистических школ, относительную заслугу которых в обостренной изобразительности и наглядности (в известных пределах) отрицать нельзя ¹⁾.

Костерин в «Рассказах о веселом мужицком попе» (тот же сборник «Перевал») в подобной же, даже нарочно взлохмаченной манере, зарисовывает любопытный, несомненно на-лету из быта подхваченный и лишь чуть-чуть окарикатуренный образ оригинально, чисто по-народному обратившегося в материалистическую «веру» попа. Все требы своего ремесла поп-безбожник превращает в предлог для издевательства и публичного оказательства своего «наплевать на веру». Пьет и пляшет на похоронах и всячески вообще спешит оскандалить то самое, чем надувал деревню. Другой вопрос, насколько такой образ действий правилен и умен (он, конечно, ошибочен и нелеп: одно пребывание в поповской рясе чего стоит!), но об'ективно, сам по себе, как *факт*—он свидетельствует о победоносном ходе «нового». Экие пласты выворачиваются из почвы кверху дном! Можно сказать спасибо Костерину за верно подмеченный, бойким штрихом зарисованный облик противоречиво-растущего «нового».

¹⁾ В № 4-м «Перевала» есть его прекрасная повесть «Новое и Жеребцы»—картина революционной ликвидации помещика крестьянами. Автор явственно растет к широким полотнам.

Последнее, как кажется, произведение А. Дьяконова—«Андрюшка-Сатана» в № 3-м «Перевала». При всей общей слабости этой вещи, нагромождении убийств и прочих эффектов, взвинченности психологии и т. д., есть у автора несомненное искусство реалистического рассказа, непринужденного, быстрого, иногда увлекательного. Самые факты интересны, производя впечатление непосредственных отблесков фронтовой грозы конца гражданской войны (история с искоренением банд на юге красноармейскими отрядами). Заключительная же батальная сцена «боя на истребление» просто захватывает.

У Крутикова хочу отметить тоже фронтовой набросок (так его называю по отсутствию развитого действия), именно: «Баба» в «Рабочем Журнале» № 6 за 1925 г. Стремительный, импрессионистский стиль и характерный «буденновский» язык сообщают повествованию подлинный запах порохового дыма и сечи, военного, красноармейского быта. А в то же время правдиво дана неистребимая мужицкая психология, вдруг прорывающаяся от огневого взгляда встречной в походе белогвардейской «бабы», трудовой, жесткой, скупой хозяйки и гордой, независимой характером женщины—настоящей хранительницы мужицкого очага (надо мимоходом отметить, что у нас в литературе вообще забыто искусство романической интриги—одного из легких и верных средств старых романистов к созданию увлекательности сюжета: не знаю, жалеть ли об этом, но правда и то, что «архи-материализм» наших сегодняшних писателей в этом деле подчас порядочно-таки скучен). Бескорыстная сила увлечения подчеркивается тем, что после конца боев герой, идя в отпуск, нарочно дает крюку по железной дороге, навещает «бабу» в ее деревне и—со вздохом, но без драки уступает при ней место товарищу, который, увы, успел ее раньше «завоевать».

Не вполне проработанный, иногда даже до неясности, рассказ оригинален, главным образом, именно своей «интригой», психологически-естественной и выдержанной. Главный недостаток—со стороны известной скудости, в конце концов, замысла: спрашивается в самом деле, какое все это имеет отношение к общей задаче «молодых»—к идейному реализму? Очень слабое.

Каргополов представляет интерес преимущественно, как чистый образчик того современного импрессионизма, о котором не раз уже упоминалось. Манера эта дается здесь (в частности рассказ «Картина земного тряса», тоже «Раб. Журнал») в таком крайне заостренном виде, что уж наверняка недоступна для широкого читателя данного журнала, напоминая непривычному глазу какой-то сумбурный сон. Но из этой «школьной стилизации», когда к ней приглядеться (досадное это дело—вникать в хитрости стиля и языка!), довольно сильно прут в глаза звериные, но по-своему ярко революционные «лики» сибирских густохладных мужиков, охотящихся за колчаковским офицерем, как за зайцами, и выручающих из беды партизан-большевиков. Стиль этот в своем чистом, «школьном» виде наверняка недолго еще будет пестрить страницы крестьянских и рабочих журналов и альманахов. Ибо, ведь, те и другие имеют в виду

малограмотного массового читателя, а не немногих избранных «адептов» школы. Но как формальное достижение, как умело используемый частичный прием на общей почве реализма, желателен и сохранится. Ведь реализм, как и философский и исторический материализм, отнюдь не ликвидирует раз навсегда все достижения противоположных ему, идеалистических школ. Критическая философия Канта, скажем, вовсе не отрицается «до тла» материализмом, она им используется; больше того, ее теория познания—совершенно необходимый мост к Гегелю, а, следовательно, затем и к диалектическому материализму, конечно, со всеми необходимыми поправками (Энгельс относил Канта прямо к отправным пунктам марксизма). Точно так же и реализм художественный включает в себя, между прочим, и *психологизм*, как известный прием изображения внешнего мира, а ведь «настроенческий» или лирический—по нашей терминологии—импрессионизм есть по существу не более, как одна из разновидностей такого психологизма. Разновидность, особо пригодная, напр., для живописи натур примитивных, инстинктивных, с отсутствием ясного сознания, со спутанными, иногда полуфантастическими, хотя бы и очень сильными переживаниями. Вроде известных героев первой поры Горького—босняка Коновалова, кающегося купца Фомы Гордеева, бесплодно ждущих и ощупью ищущих своей «точки». Таковы же все герои, напр., Вс. Иванова и Сейфуллиной. Делает ли это обязательным, чтобы такой импрессионист непримиримо расходился с реализмом? Ничуть. Главная правда остается ведь за материальным, фактическим «действием», за жизненной борьбой, а не за безгранично свободным «я», как воображают чистые идеалисты (в том числе футуристы). Следовательно, импрессионизм законен, лишь *поскольку усиливает* изнутри реалистическое изображение. Что сверх того, или так: менее того, то от лукавого. Да ведь вот Сейфуллина—наилучшая иллюстрация как раз подобного «лирического импрессионизма» на службе реализма. Сила материальной, революционной борьбы «личности» с буржуазной «прозой жизни» только растет в ее манере.

Сейчас подведем попутный итог нашей очной ставке двух поколений.

(Окончание следует)

Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

1. Ф. НЬЮМЭН. Американский «короткий рассказ» в первое 25-летие XX в.;
2. С. БУГОСЛАВСКИЙ. Музыкальная жизнь Москвы;
3. А. ЯКОВЛЕВ. Бабыя доля;
4. НИК. ВЕЛИКОВ. Дикий стан;
5. АДАЛИС. Чай - Хана Якуба Умедова;
6. И. ЗВАВИЧ. Лондон в дни всеобщей забастовки.

1. АМЕРИКАНСКИЙ «КОРОТКИЙ РАССКАЗ» В ПЕРВОЕ 25-ЛЕТИЕ XX В. 1).

Ф. Ньюмэн

Когда тридцать первого декабря отошла в прошлое первая четверть двадцатого века, вместе с нею канули в прошлое первые двадцать пять лет сознательного существования американского короткого рассказа.

В течение девятнадцати столетий первобытной жизни рассказа, — ибо искусство повествования и христианская вера одновременно заявили в Европу, — писание рассказов было лишь частью общей литературной деятельности. Но около 1900 года писание рассказов стало совершенно обособленной профессией, затем оно стало «бизнесом», а потом — торговлей.

Существует теория: если достаточное количество народа делает какое-либо дело, — кто-нибудь да найдется такой, что станет делать его хорошо. Эта теория как нельзя лучше подтверждается тем, что после того, как тысячи американцев трудились над производством рассказов, как предмета торговли, нашлось хоть сколько-нибудь американцев, трудившихся над рассказом, как предметом искусства. Нужды нет в лучших подтверждениях теории: сравните только рассказ «Другая женщина», написанный Ричардом Хардингом Дэвисом за несколько лет до начала двадцатого века, и рассказ «Другая женщина», написанный Шервудом Андер-

сеном за несколько лет до окончания первой четверти века.

Ричард Хардинг Дэвис писал в те безмятежные дни, когда ничто не привлекало внимания Америки к существованию Европы и ничто не привлекало внимания Европы к существованию Америки. Зигмунд Фрейд открыл, что если мужчины и женщины загоняют желания сердца в катакомбы ума, — наградой тому являются ущербленные нервы и ущербные души. Но немногие из американцев подозревали о существовании грозного подсознания и никто из них не заподозрил, что таковое открыто.

Имя Антона Чехова бродило по России, он писал «Поцелуй», «Душечку», но Констенс Гернетт не перевела их на английский язык и никто еще в Америке не знал, что короткий рассказ достиг — увы, безнадежной — степени совершенства.

Известная часть образованной Америки знала, что юный англичанин Ричард Ле-Гальен и еще один юный англичанин Морис Хьюлетт пишут приятные рассказы о любви под сенью зеленых деревьев; и что юный американец Юстус Формэн и юный виргиниец Джеймс Кэбелл также принялись за рассказы о любви в стародавние времена.

И все американцы и все культурные люди Юга и Запада знали, что Генри Джеймс пишет рассказы, которые доказывают, что нет разницы между благородством манер и благородством души. А также знали, что мистрисс Эдит

1) Francis Newmal — автор высоко оцененной критикой книги: «The short Storys Mutations».

Вартон и мисс Кэтрин Фуллертон пишут рассказы, которые доказывают, что нет разницы между их образом мысли и образом мысли вышеназванного Генри Джемса. Ричард Хардинг Дэвис может быть и не знал, что Генри Джемс веровал в тождество манер и морали, но он, как мог, тщился доказать все ту же истину.

В те времена предполагалось, что сочинитель является джентльменом, что он должен описывать своих героев с точки зрения джентльмена; даже Чарльз Диккенс ставил себя, вероятно, рядом с лэди Дэдлок, но отнюдь не с сэмом Уэллером. Киплинг полагал, повидимому, что все, чего может требовать от автора порядочный герой,— это, чтобы его описывали с точки зрения англичанина. Г. Уэльсу Англия обязана открытием, что писатель может описывать своих героев с точки зрения того социального уровня, на котором он родился или которого достиг к моменту своего писательства. Из всех имен, обращающихся в английском языке, Вильям Сидней Портер избрал имя О. Генри.— и этому имени обязана Америка открытием той истины, что автор имеет право быть кем ему заблагорассудится.

О. Генри повинен в литературной пролетарской революции не менее успешной, нежели Ленинская социальная пролетарская революция. На теле американского короткого рассказа он оставил след, который вряд ли когда-либо кем-либо будет изглажен.

В 1842 году По сделал открытие, что рассказ должен иметь единственный или единый эффект; сотня руководств повторила это правило, не указав, впрочем, в чем разница между единственным и единым эффектом. Но англо-саксонских писателей не легко пронять чужими теориями, и открытие По подействовало на Бичер-Стоу, Дональд Митчелль и Георга Кэртиса не более, нежели теории о драматических единствах времени, места и действия повлияли на время, место и действие «Короля Лира». И когда в 1884 г. профессор Брандлер Мэттьюс обнаружил буллу, провозглашающую, что короткий рассказ не является коротким Рас-

сказом, если только не обладает оригинальностью, единством, сжатостью, яркостью стиля, действия, формой, содержанием и выдумкой, Сара Джьюэтт, Мэри Вилькинс и Георг Крэддок позволили себе усумниться в непогрешимости его теории и ни в какой мере не отказались от писания рассказов, коим нехватало именно этих качеств.

Зато англо-саксонские писатели обладают достоинством латинских авторов: непринужденно и легко преуспевают они в области подражательного творчества. Когда звезда Киплинга сияла еще высоко над горизонтом, американские писатели, памятуя точный финансовый вес каждого написанного ими слова, заполнили журналы высокосортными рассказами на тему о расслабляющем действии жаркой погоды на представителей северной расы. И когда О. Генри прочел рассказ, названный Мопассаном «Ожерелье»,—американский рассказ приобрел заботливо разграфленный картонный трафарет,—трафарет, пригодный для всякой темы; трафарет, который только-только теперь начинает обтрепываться по краям.

«Ожерелье»—единственный из рассказов Мопассана, в котором он «перелом ситуации» приберег для последней фразы,—единственный из рассказов, имеющий структуру, присущую всякой шутке. Если мистер Портер читал когда-либо «Дом Телье», он прошел мимо той свободной легкости, в которую Мопассан облек необычайные крестины. Если он и читал «Счастье», он запомнил, какую нежную, мягкую медленность повествования нашел Мопассан для рассказа о долгой, исполненной счастья жизни. Он запомнил только легкую эффектность последней страницы, открывшей, что мадам Луазель потеряла 10 лет жизни, лицо свое и осанку, пряча украденное ожерелье, и эффектность последней строки, открывшей, что ожерелье было поддельным.

Десять лет он прилагал трафарет «Ожерелья» к своему собственному опыту, своим наблюдениям и вымыслам и без усталости по этому трафарету вырезал рассказы, которые непременно кончались тем, что муж, пожертвовав унаследованными от предков часами, по-

кушает пряжки для прекрасных волос жены, приходит домой и узнает, что жена пожертвовала своими прекрасными волосами, чтобы купить карманчик для унаследованных от предков часов мужа.

Большинство американцев знает, как обычно строится шутка; а после того, как О. Генри в течение трех или четырех лет писал рассказы, подобные «Дарам волхвов» и «Третьему ингредиенту», большая часть товарищей его американцев стала догадываться о том, что его рассказы вырезаны по трафарету. И хотя многим американцам известно, как скучно выслушивать анекдот вторично и как отчаянно скучно выслушивать его в третий раз,—многие, очень многие из них стали подгонять под этот трафарет собственный опыт, собственные наблюдения, даже старые рассказы из старых журналов, стали писать рассказы на свой риск и страх. О. Генри снабдил менее одаренных своих соотечественников шаблоном, четкие и ясные линии которого бросались в глаза тем читателям, кто равнодушно проходил мимо мягких и тонких сюжетных линий Томаса Бэйлэй Альдрика.

Даже те американцы, чье образование шло не дальше умения читать и писать и складывать два и два, да еще знания, что земля кругла,—даже они способны были воспринять резкость манеры, которой писались эти рассказы; даже они проникались убеждением, что способ повествования не менее важен, нежели самое повествование. И если они уверились в том, что лучший способ писания рассказов—трюк, вместо того, чтобы понять, что писание рассказов—искусство; если американский короткий рассказ стал из гладкого плоским,—О. Генри повинен в этом не более, нежели Мартин Лютер повинен в существовании Ку-Клукс-Клана.

Кое-кто догадался, что вырезать трафареты и продавать их начинающим авторам куда выгоднее, нежели писать рассказы на свой риск и страх. Едва был продан первый лист трафарета, появились на свет «Руководства к писанию коротких рассказов», а на следующий день открыты были «Курсы

писания коротких рассказов». Затем наступили великие дни современной Драмы и Лиги Драматургов, началась Мировая война, Руперт Брук и Алан Зегер пели и умерли, и наступил великий день современной Поэзии. А когда закончилась Мировая война, проза стала единственным лекарством для разочарованного мира, и забрезжила заря великого дня Короткого Рассказа. Полдюжины учеников перевели на английский книги Фрейда и мистрисс Гернет перевела на английский рассказы Чехова, и достоинства его рассказов восторжествовали над языком перевода. Кэтрин Менсфильд променяла Новую Зеландию на Лондон и «Атенеум»; Джозеф Конрад установил закон, который гласит, что автор знает о своих героях лишь то, что видел своими глазами и слышал свсими ушами, или то, что видели и слышали его друзья; Шервуд Андерсен и Лоуренс нашли пульс крови, Джеймс Джойс—пульс сознания своих героев. Джеймс Кэбелл продолжал в Виргинии ткать свою парчу, но рисунок, вытканый им в 1919 г., мало чем отличался от рисунков, созданных им в 1902 г. Может быть, он стал в эти годы несколько циничен и рассудителен. Но такой стала и вся Америка. Америка обратила внимание на существование Европы и Европа обратила внимание на существование Америки.

Америка обратила внимание также и на самое себя. Мир был у нее в долгах и в долгу. Ее финансовое, ее социальное положение были установлены твердо, и Америка занялась выяснением вопросов касательно своей родословной и юношеских своих лет. Мид Миннигероде стал писать о баснословных сороковых годах Америки, мистер Вартон о полных невинности семидесятых, Томас Бир—о менее вежливых, но столь же невинных семидесятых, Томас Бир и Карл Ван Вехтен о палевой, но еще не багряной заре девяностых годов, Джозеф Хергшеймер о любом десятилетии, кроме второго двадцатого века; а Анна Периш затмила всех своих предшественников, собрав воедино в одном романе едва не десяток десятилетий.

Америка стала увешивать стены портретами почтенной матушки, сценами из милого и невинного ее детства, прелестного и невинного ее детства, толпы художников стали с великой тщательностью выписывать фижмы, рукава наподобие бараньей ноги, баски и циньоны, ни мало не забывая о самой леди.

Зреющий цинизм и зреющее благосостояние стали соперничать в Америке друг с другом и повели борьбу. Но тот, кто не читал ничего кроме коротких рассказов, не заметил бы, что борьба началась. Если кто-нибудь вздумал бы взять любой номер любого из лучших, — верней, из наиболее популярных — наших журналов за последний год и, скажем, номер «Скрибнер's Мэгэзин» от 1900 года, он прежде всего убедился бы в том, что об'явления последнего вышли из моды. Если бы об'явления, месяц и год его издания исчезли вместе с обложкой, читатель все же сумел бы определить дату его обнародования по статье о «Бурском солдате»; он почувствовал бы, что стоит перед четвертью века, увидав, что воспоминания сенатора Хоара доведены лишь до его университетских годов и что Джэмс Бэрри еще не имеет титула баронета.

Это не значит, что изменились также рассказы. Если сравнить любой рассказ, напечатанный в известнейших американских журналах в течение первых пяти лет XX века, с любым рассказом того же типа, напечатанным в любом журнале того же типа в последние пять лет, — сходство их будет поразительнее любой развязки, придуманной О. Генри.

Хотя издатели О. Генри и стали снабжать его рассказы примечаниями, в которых признают, что его стиль несколько устарел для нынешнего поколения, — журналы, предпочитающие хороший сюжет прочной бумаге, предпочитают прочим рассказам рассказы, выкросенные по трафарету О. Генри. Рассказы же авторов, которые знают о том, что Фрейд и Чехов пересекли океан, которые стараются заглянуть в глубину своих героев и для каждой темы найти точно соответствующую ей

форму, — эти рассказы печатаются обычно в журналах, которые появились на свет специально для того, чтобы печатать их, подобно тому, как салоны и галереи независимой живописи возникли специально для того, чтобы было где вешать полотна, коих ни одно академическое жюри не повесило бы даже на линии горизонта. Так «Литтл Ревью» стало печатать рассказы, в которых Шервуд Андерсен показывает, что американский гений, подобно гению русскому, для каждого нового рассказа создает новый трафарет и что в хорошем рассказе не отличить формы от содержания. «Дайель» стал печатать строгие и тонко схваченные рассказы Мануэля Комрова, которые от рассказов Ш. Андерсена отличаются большей легкостью и тем, что на них заметно влияние русских авторов, тогда как у Андерсена заметно влияние близких русским авторам литературных теорий. «Дайель» стал печатать также рассказы Гленвэй Вексотт, которые тонко прочувствованы и не скользят по поверхности героев, но уходят в глубину, хотя и не доходят до самой крови героев, как делает Андерсен в своих рассказах, и которые лишены той нежной заботливости в обращении со словом, которая отличает Андерсена.

Затем перешел на почву современности «Сеншери Мэгэзин» — современности в степени литературной республики, хотя не в степени советской республики; он печатал рассказы Андерсена и рассказы Сьюклоу, тонко и верно прочувствованные, но заглядывающие под поверхность героев менее глубоко, нежели рассказы Вексотта; правда, проза, которой они написаны, лишает возможности рассматривать их, как литературное произведение.

Затем создал эпоху «Америкэн Меркюри», выпустив и редкий, и ценный свой первый номер; он печатал только такие рассказы, как рассказы Шервуда Андерсена, Сьюклоу и Даниэля Андерсона.

В прошлом сентябре на почву современности стал и «Гарпер's Мэгэзин», — современности в степени весьма конституционной литературной монархии; он дошел до того, что напечатал статью

Ребекки Вест, стихи Эдны Миллэй и прекрасный рассказ Альдуса Хуклея. Но в то же время он печатает рассказы, которые как по темам, так и по технике полностью совпадают с рассказами, напечатанными на его же страницах в начале девятисотых годов.

Трафаретный рисунок, неизменные положения, бесконечные варианты одних и тех же героев довлеют над американским коротким рассказом; построение, выбор героев, язык американского рассказа знают так же мало отступлений, как капиталь греческой колонны.

Перевод М. А. Гершмизона.

2. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ

Сергей Бугославский

Последние два месяца музыкального сезона протекли очень интенсивно. Много нового и ценного показала симфоническая и камерная эстрада.

Во главе оркестра Большого Театра в двух концертах Росфила стал маститый Вейнгартнер (VIII Бетховена, VI Чайковского, V симфония самого дирижера). Вейнгартнер не ломает исполнения оркестра; он его только корректирует чрезвычайно экономными пластическими движениями; в итоге мы слышали незабываемое исполнение Бетховена и Чайковского, цельное, логическое и ясное. Казалось, что вместе с дирижером-классиком мы охватываем не части и эпизоды больших симфоний, а все произведения сразу. Сдержанность динамических оттенков, строгость темпа и ритмов лишь способствовали вдумчивому вслушиванию в произведения.

Венский дирижер Франц Штидри дважды провел «Весну священную» Игоря Стравинского, произведение громадного органического таланта, выросшего на почве Мусоргского и Римского-Корсакова. Однако преломление сравнительно простых русских тем в крайне-эстетском усложнении гармонии, колорита и ритма однообразно до утомления. Внешняя эффектность, заменившая у Стравинского углубленное музыкальное мышление, показатель того тупика, куда зашло музыкальное искусство Запада, оторванное от песни масс, от живого общения со слушателем. Крайнее, уже курьезное выражение этого тупика — камерный концерт французских «композиторов» Дариуса Мило и Жана Вьенера. Первый работает едва не клеем и ножницами, соединяя

свои убогие мелодико-ритмические и гармонические образования в несколько разнородных, разнотональных, но одновременно звучащих пьес, которыми он дирижирует, отмечая лишь акценты начала тактов (конечно, слышать отдельные части такой «композиции» никакой автор не в состоянии). Здесь буржуазная музыкальная культура докатилась до уровня хиромантов, гадателей на картах и т. п. профессионалов. Вьенер добросовестнее: он искренно мечется между плохо усвоенным Бахом и откровенным фокстротом дешевой работы. Жаль только, что в тупик музыкальной анархии попадают подчас и очень одаренные композиторы, как, например, Хиндемит, Бела Барток (их сонаты терпеливо и старательно выучили и исполнили молодые талантливые — скрипач Ширинский и пианистка Островская).

Неутомимый Персимфанс дал цельные по программе концерты из сочинений Листа (солисты — певец Райский, пианист Нейгауз), Бородина, Мусоргского, Скрябина (солист-пианист Софроницкий). Повторена дважды Персимфансом Девятая Бетховена, — задача, еще не до конца (в смысле ансамбля) разрешенная бездирижерным оркестром. Пояснительные программки к концертам Персимфанса разрастались до целых брошюр с ценным по полноте и свежести мысли содержанием (автор текста — А. Цуккер).

Популярные концерты в Театре Революции стали нерегулярными, о чем нельзя не пожалеть.

Общедоступные концерты Росфила совсем потеряли популярный характер; в них исчез план и система: даются то

новейшие трудные для неподготовленного слушателя симфонии А. Крейфа, Мясковского, то случайные номера из русских композиторов.

Большую работу проделал профессор Садовников, разучив вместе с оркестровой молодежью и исполнив в концерте Дома Ученых «Колокола» Рахманинова, правда, в несколько сыром виде. Энергии того же Садовникова мы обязаны исполнением на эстраде напрасно забытой оперы «Кашей» Римского-Корсакова.

В Зоологическом саду начались симфонические концерты под управлением Кардашева. Нужно отметить их строго выдержанные художественные программы, сопровождаемые пояснительными словами Чемоданова.

Из камерных ансамблей чаще всего выступали крепко спаянный квартет имени Московской Консерватории (концерт памяти Танеева, современная музыка) и квартет им. Страдивариуса, исполнивший ряд новинок. Молодые музыканты — Оборин (ф.-п.), Федоров (скрипка), Егоров (виолончель) — образовали трио, которое при условии длительной и упорной работы его членов может стать ценным ансамблем.

Из этнографических выступлений наиболее интересными являются концерты народных оркестров Азербайджана, показавшие интересную по колориту, ритмике и форме музыку, которая может во многом помочь современному композитору, ищущему обновления традиционных формул музыкального творчества. Негритянский джаз-банд в отношении новизны звучания и музыкального содержания значительно разочаровал: здесь элементы трафаретные городские, салонные, ресторанные почти полностью скрыли крупницы народной негритянской мелодии — ритма.

Из гастролеров особый интерес вызвали выступления певцов Дм. Смирнова и Олениной д'Альгейм. Смирнов по-прежнему захватывает своего слушателя мощным звуком и вокальной техникой (особенно в «Пиковой Даме», «Фаусте»), но огорчает приемами вулгаризованного музыкального вкуса в камерном исполнении. Оленина д'Альгейм завораживает глубиной и тонко-

стью камерно-декламационного стиля, который иногда заставляет забывать о полном отсутствии у певицы вокальных ресурсов. После двухлетнего отсутствия на московской эстраде появилась Зоя Лодий, все такая же мастерица интимного вокального стиля, не чуждая и характерного пения, но по-прежнему не владеющая певческим звуком. Скрипач Губерман покорила аудиторию блестящим виртуозным мастерством и чудесным многообразным звуком. Его смычок играет аккорды почти как в квартете — одновременно, сочно и мощно, блеск его головкружительных пассажей ошеломляет. Все это заставляет забывать о стиле игры, о не всегда серьезной фразировке Губермана.

Особенно много было фортепианных вечеров (Кенеман, Померанцев, Коган-Либсон, Доленга, Игумнов). Заметно, что и старшее поколение пианистов стремится к осовремениванию своего репертуара; обычно в программу вносится модный в текущем сезоне Прокофьев. В концертах пианистической молодежи (лучшие выступления — Брюшкова, Брайниной, Софроницкого, Абрамова, Шацкес, Шварца) новейшая музыка становится преобладающей.

Из играющих на смычковых выделялись виолончелист Ширинский с данными большого виртуоза, скрипач Ширинский, альтист Борисовский, выступавший с талантливой арфисткой Дуловой. Запоминается блестящее исполнение Борисовским сонаты Хиндемита (альт соло).

Из вокальных вечеров по новизне программы интересен вечер песен народностей А. Доливо, по вокальскому мастерству — вечера Антаровой и Туровской. Выступали в своих вечерах песни упорно работающие и неизменно совершенствующиеся и обновляющие свой репертуар Духовская, Вебер, Бела Фальк.

В итоге сезон 1925—26 г. повысил значительно и количественно и качественно московскую концертную жизнь. Благодаря концертам Росфила, Москва стала в этом году мировым музыкальным центром и приобщилась к музыке современного Запада. В то же время

в этом году остро выразился стрыв музыки от масс, игнорирование концертными организациями задач музыкального просвещения, отсутствие плановости в их деятельности. В этом отношении предыдущие сезоны дали значительно больше. Будем надеяться, что уроки этого сезона научат наши концертные организации большей систематичности в работе, что погоня за име-

намп и сенсацией сменится спокойной организованной работой, в которую будет максимально втянуто все лучшее из наших музыкально-исполнительских сил. Будем надеяться, что и Росфил, и Персимфанс, и Консерватория построят свою концертную работу так, чтобы не терять из поля зрения рабочих, крестьян, беднейших совслужащих и пролетарскую учащуюся молодежь.

3. БАБЬЯ ДОЛЯ

А. Яковлев

Это одна из трагедий нашего времени: количественное неравенство мужчин и женщин. По всему СССР женщин на 4.000.000 больше, чем мужчин. А в селе Т. женщин больше на 296. Трудно проследить, как ведут себя 4 миллиона «непарных» женщин в СССР. А вот эти 296 у всех односельчан на виду, о них много говорят (вернее, они заставляют о себе говорить), за их жизнью напряженно следит село, возмущается, недоумевает, одобряет, оправдывает.

— Девка-то какая была. И скромница, и работяга. Куда что девалось? Вот что означает мужа не найти.

— Распустилась?

— Распуститься распустилась, это верно, да разве она виновата?

Из 296 «избыточных» женщин села — 179 вдов. Германская война, гражданская война и голод погубили массу мужчин... И вот этот трагический «непристроенный» остаток — вдовы — главным-то образом и вносят теперь некое разложение в деревенскую среду.

Вполне законно, твердо, по настоящему они желают получить частицу своего личного маленького счастья. Новая семья? Но где взять мужчин, если их для девушек не хватает?

Перед каждой из этих 179 вставал (и встает) роковой вопрос:

— Как быть?

Исходы для них разные:

— Живи смиренненько, тебя судьба обделила, покорись.

— Воспитывай своих детей, об остальном забудь.

— Воюй за свое новое счастье. Отбей мужа вот у этой жены...

И эти 179 решают вопрос по-разному, — кажется, в зависимости от того, у кого какой темперамент.

Вот под-ряд три избы с покосившимися заборами и крышами. На крышах растет трава. Окна перекошились, запали. Видать, давно никто хозяйственно не походил вокруг этих изб с топором и пилой в руках. Тлен дохнул на них.

— Кто живет?

— Вдовы. У этой муж пропал в таком-то году, у этой — в таком-то. Давно, и верное, и кости сгнили, а они все еще ждут, надеются на что-то.

— Смирно живут?

— Смирно. Колотятся кое-как. У одной мальчонка есть, а другие бездетные.

Я видел этих вдов. Вечерами они выходят на лавочку к средней избе, сидят долго, молча. О чем говорить? Не о чем. Обо всем давно переговорено...

Ну да, пусть теперь мировые войны, открытия, изобретения, достижения... Они, эти три, будут вечерами выходить на лавочку и ждать молча. Что им до всего? У них только печаль, надлом, тлен, — они за бортом.

А вот недалеко от них — изба вечерами шумная, с ярко освещенными окнами, — тут тоже вдова живет, о которой соседи говорят так:

— Распустилась совсем баба, удержку не знает.

Эта вдова устроила у себя притон для пьяных и разгульных. У ней постоянно песни, крики, порой драки, и в сель-

ском совете мужики уже много раз обсуждали вопрос: «Как усмирить Лазариху?». Но усмирить трудно, потому что Лазариха «в свей избе что хочет делает». И если ей кто-нибудь все-таки пытается «попенять», она так энергично и в таких выражениях отчитывает «пеняльщика», что «выходит один срам,— связываться никто не захочет».

Вот так, это два полюса—от трех печальных вдов, ждущих, на что-то надеющихся, до этой распутившейся бабы, давно потерявшей надежду на приход мужа, пережившей однажды острую горечь.

Большинство, конечно, примыкают к вдовам мирным, печальным... Странные есть теперь места на Руси. В Саратовской губернии я видел одну довольно большую деревню, которую крестьяне соседних сел называют теперь вдовой, потому что там «сплошь вдовы, во всех дворах. Мужиков, кроме подростков, совсем нет».

Встречаются теперь часто «вдовьи выселки», «вдовьи участки», есть даже «вдовья коммуна» (под с. Куриловкой Сар. губ.). Статистика уверяет, что в одной Донской области сейчас 40.000 вдов...

Но из этих вдовьих полчищ—смирных, примиренных, печальных—есть некая часть (и часть немалая), которая властно требует себе равной доли на пиру жизни. Часть, так сказать, бунтующая.

И не горечь ли утраты толкает их в бунт?

«Бунтуют» в различных местах по-разному

В селе Т. эта бунтующая часть ввела в обычай «посиделки с прижимками»,— явление до войны совершенно неслыханное и невиданное. Бывали посиделки, бывали вечеринки, но таких—вот с этими дичайшими прижимками—не было.

Вдовы начали, девушки поддержали. И теперь так: после летних работ (обычно с Успенского дня) девушки группами в 10—15 человек снимают «под посиделки» на всю зиму—до Пасхи—просторную избу у какой-нибудь вдовы или крестьянина за довольно высокую плату. Каждая девушка вносит хозяй-

ну или хозяйке избы 2 пуда муки, 2 пуда картофеля, 5 фунтов масла, сколько-то дров, керосину и т. д. И затем раза три в неделю (иногда и чаще) устраивают посиделки. Таких посиделочных изб в селе десятка полтора. Парни гурьбою с гармоникой ходят по улице от избы к избе. Иногда только заглянут, пошумят, солоно поострят, и идут прочь к другой избе,—ищут, где девушки «поинтереснее» и где встречают их ласковее. И какая обида и разочарование бывает у девушек, когда парни гурьбой повалят прочь от избы. И чу! уже запели, засвистали у ворот, улицей двинулись дальше: Кажется, что угодно сделали бы, чтобы удержать их!

И отсюда вот,—вероятно, из этой обиды,—выросли «прижимки»...

Сам председатель сельского совета говорил мне с горечью:

— Трудно узнать девушек. Откровенно зовут парней: «Приходите, у нас прижимки будут». Правда, не всех зовут, а только избранных, своих. До поздна поют, пляшут, потом вдруг кто-нибудь тушит огонь, и поднимается дикая возня, поцелуи, об'ятия. Иногда случается и нечто более серьезное.

— Четыре раза я поднимал на заседаниях сельского совета вопрос о борьбе с таким явлением. Мужики согласны, что бороться надо. Но как? Ходить и разгонять посиделки? Это значит, пойти против старого обычая. А разве уловишь момент, когда посиделки переходят в «прижимки»?

— Родители относятся довольно хладнокровно к этому. Вообще, родители махнули рукой на молодежь. «Не слушаешь нас? Ладно. Сами потом будете плакать». Если отец спрашивает дочь: «Где была?» Дочь откровенно, дерзко отвечает: «На прижимки ходила».

— Надо бы развлечений больше разумных, что ли? А главное, надо какие-то устои новые создать, мораль новую. Старое затрещало, разрушается. Нового пока нет.

— Последствия прижимок? Как же, бывают. Конечно, немного выплывает на свет, а все-таки—время от времени и дела об алиментах возникают, и дело об убийстве новорожденных. Впрочем,

здесь виной не одни только «прижимки». Главное, что ужасно, это легкое, совсем новое отношение к женщине у молодежи и у некоторых молодых мужиков. Что с ними церемониться, когда их так много? Вот здесь корень большого озорства.

...Об озорстве теперь говорят много. Озорники загуляли теперь по всем нашим просторам. Озорное отношение к женщине бьет в нос.

Оно рождает неустроенность и пугает прежде всего саму женщину. Что-то надо сделать, как-то надо выйти из этого тупика. А что сделать? Как выйти? Кто ответит?

Вот недавно в селе Т. молодая вдова — решительная и предприимчивая баба — съездила в город и привезла себе мужа... китайца. Чуть ли не месяц целый село каталось покатоком от хохота. А потом ничего, привыкли. У китайца имя было Сун-Мин-Ли. Мужики переделали, назвали просто Семеном, и стал китаец постоянным обитателем в глухом русском селе.

— К нашей работе он не приобьик, — говорили мне мужики, — торгует пока, красит бабам пряжу и холсты. Ничего, работает. Даже самогон научился пить.

А баба хвалится:

— Плох мой мужичишка, а завалюсь за него — не боюсь никого. Шут ли в них, в наших-то. Где их искать? А найдешь, не рада будешь. Вередуют нами, нос дерут. Ну, и пускай их. У меня теперь голова в доме есть. Да смиренный-то какой! Чего ни заставлю делать, все делает.

...Вот в городах, на фабриках и заводах обсуждается вопрос — каким должен быть брак: зарегистрированным или нет?

Деревня стоит за брак «законный».

— Хоть расписаться, и то жизнь крепче будет. А так что же? Ныне он (муж) здесь, а завтра ищи его, свищи. Тяни его в суд. Кому это желательно? В суду вон как иной раз измываются.

«Какие же алименты, ежели она жила со мной по согласию?»

Трудная крестьянская жизнь, идущая где-то на границе нищеты, требует крепких форм быта. Малейшее колебание уже совсем разрушает вконец устойчивость, так необходимую для трудной мужичьей работы. Приобретение самой ничтожной вещицы в крестьянском хозяйстве — уже событие, о котором помнят чуть ли не всю жизнь. А тут — союз на неопределенное время, и неизвестно, будет ли у такой семьи хозяйство или нет.

— Ну, вст сошлись они, — рассказывал мне мужик про одну такую семью, — добровольно сошлись, по любви. Деньжонки кое-какие у обоих были. Так что же? Заместо плуга али лошади, они накупали полсапожек, пиньжаков, кофт и платьев. А через полгода, глядь, она от него назад ушла. «Почему?» спрашиваю. — «У него состояния нет. Он хочет мою одежду продавать». Нет, надо брак иметь правильный, чтоб все по закону. Впряглись в семью, что в телегу, так тяни, как только сил хватит. Баловаться нельзя. Тут тебе не фабрика, а земля. Это на фабрике отзвонил восемь часов и ступай играй на гармонике или пляши. У нас труд до седьмого поту. У нас не балуйся. Кукушкой не проживешь...

Так говорят хозяйственные мужики.

И вот еще черточка любопытная: судебных дел по алиментам, связанных с зарегистрированным браком, по Самарской губ. в пять раз меньше, чем дел по браку незарегистрированному. Это уже показатель, что незарегистрированный («кукушкин», как говорят мужики) брак непрочен.

Главное, нужна твердая хозяйственная основа, — и за эту основу женщина, пожалуй, борется больше, чем молодой мужчина.

Наше время поставило женщину в исключительное положение, — перед ней открылись пути и широкие, и вместе труднейшие. Как-то она пройдет их?

4. Д И К И И С Т А Н

(В Дагестане)

Ник. Великов

Вода жадно облизывает мокрым своим языком воспаленный от зноя песок.

Каспий—с неровными своими берегами—похож на старое изглоданное корыто.

Стар и изможден седой, ворчливый Каспий. И дряхлость на всей этой древней стране.

От изглоданных неровных берегов моря до обветшалых и низкорослых гор во всем—неделанность рисунка. Будто кто наворотил каменных громад, но потом—махнул на все рукой. И горы развалились, рухнули и заброшенные остались тут—нелепейшей неразберихой—лежать века.

Хлестали тысячетлетние дожди, оседа сырьостью и туманами, сушило—прожигая камень—гневное, испепеляющее солнце. Пылью и мхом стерлась история веков.

С моря видно—там, за городом, где обвалившимися ступенями уходят в ущербленность горизонтов рыжие в закате горы—торчит, как чудовищный, но старый, из'еденный временем зуб,—древняя крепость. В вышине скал, над морем и городком, плывет она—грудой тяжелозадых башен, неподвижным овалом грузных стен—на фоне тускнеющего дня.

Нужно долго подниматься каменистой тропинкой, ныряя в горных кряжах,—хотя крепость вот-вот, перед глазами,—пока не стукнешься лбом в глухие ворота. Ворота эти огромны, в них без труда пролезет пароход. В них жутко и сиротливо входить одиночкой, эти гигантские ворота—для триумфальных шествий победоносных легионов.

Времена триумфов прошли, и ворота наглухо заложены. В них пробита маленькая дверца. Нужно сложиться вдвое, чтобы полуползти в нее.

Дверца из толстейшего и крепчайшего дуба. Такого добротного дуба, вероятно, уже не сохранилось на земле. От древности она даже уже не скри-

пит—бесшумно захлопывается за спиной. И сейчас же на спину оседают то склывым грузом камни тысячелетий.

И тишина. Тишина—не леса, не комнаты.—тишина такая, как бывает в нутре земли—в шахтах, в могиле, в погребке. Всплесков моря сюда не доносит, грохот тяжелой воды бессилён вскинуться в мертвые высоты. Всякие звуки умирают за воротами..

С тоскливым карканьем взмыла со стены, откуда-то из расщелины камней, из бойниц—черными трепыхающимися лохмотьями—стая ворон. Потянула через головокругительные провалы ущелий—в горы. Вспорхнувшие птицы подняли клубы пыли. Стая—черной тучей—уплывала, пыль осела опять на стены,—как пыльный дым прошедших тут веков.

С толстобокой стены, повисшей над пропастью, глаз упирается в дальнюю цепь оттороченных белой, снежной каймой, гор. Ущелья и скалы, понурые долины и опаленные солнцем холмы—окостеневшая страна: Дагестан.

— Дагестан это неверное название. По-персидски—Дивистан. Это значит—Дикий стан.

Это говорит учитель—облезлый какой-то весь, хромой, одноглазый, истрепанный, как древность. Его, как бездомную тень,—я встретил тут, в крепости. Он рылся, как крот, руками в земле, подрывая какую-то нору. Он уверял, что это—вход в подземелье, в катакомбы крепости, в капище этого сдохшего каменного чудовища.

Учитель водит меня по крепости. Рассказы его—как бред, и голос учителя глух. Потому что здесь всякий звук пропадает, теряясь в каменных складках стен, как камень, брошенный в люк. Люк у наших ног—разверзается громадный погреб—подземный бассейн для воды. Рядом—такой же погреб для провизии. Оттуда несет холодной пустотой и затхлостью.

Кроме этих пустых, как скорлупы выеденного ореха, подвалов учитель

уверяет, что есть, должен быть еще подвал. Там—клад, там—тяжелое, как древний камень, литое, бесценное золото.

— Это богатство принадлежит Дагестану. Тому, — что когда-то был прекрасной, цветущей страной, богатым и сильным народом. И он опять будет таким! Наш народ—достоин быть великим и сильным народом!..

Этот учитель—когда с ним разговариваешь даже,—не веришь, что он существует, так он невероятен. Он жуток. И жутки истории, рассказываемые им. Он говорит о диком становиче, о полосатых и пестрых днях сохшейся истории своего народа.

В золотистой пыли заката, окруженный диким камнем, он поднимает улетящую пыль столетий, вызывает дикие полчища своих предков, развеивает пестрых ковер дней давно минувших. И—объятый восторгом—он размахивает руками рваной черкески и кровью наливается его единственный глаз...

Этот полусумасшедший старик—мусульманский учитель—бездомной тенью бродит здесь в сухой траве, в расщелинах древнего камня, как крот—роется в дикой земле. Он ищет, он должен найти это тяжелое, спрятанное в погребках крепости золото! Это золото—нужно его народу,—нищему, которого вконец разорило царское правительство.

— Советская власть—это новый мурздин чьи огненные звонкие слова призывают к жизни,—говорит оп. Радостно говорит, что в горах—будут школы, больницы, цветущие поля, зеленые сады и буйные виноградники...

Хотя вечер душный, пышащий еще неостывшим зноем, здесь—зябкий холд.

И когда мы выползли из этого каменного колодца и в лицо нам ударила широкая, блистающая над морем заря и вырвавшийся из-под старой стены ручей—задорный и молодой—побежал под ногами, обгоняя нас,—вдохнулось легко, дикая древность за стеной почувствовалась, как кошмарный, давящий сон.

Внизу, на взморье,—как па веселой гулянке, пестрым хороводом разбежались домишки города. Домишки сбегают по береговым кругам, одиночками карабкаются на холмы, опять собираются в кучки.

Город, с зеленью садов и виноградников—единственное живое пятно на общем фоне—безбрежности желто-седых косматых вод и диких, опаленных солнцем скал.

Муромские древние леса перед этой каменной пустыней—знакомая дорога. До крепости Гимры (родина Шамиля) и дальше до Хунзаха—пути четыре дня. Нужно четыре дня куролесить по горным витым тропинкам, над головокружительными провалами пропастей, куда не залетает, кроме орла, ни одна птица.

Зимой в 21-м, во время чеченско-дагестанского восстания пришлось тут Красной армии повозиться. По обледенелым скатам, извилистым тропинкам, крутым скалам тащить горные пушки—на себе, ибо лошади срывались на льду и летели, увлекая за собой и людей и орудие в пропасть. Помню:

... забрались мы в самые горы, в Нагорный Дагестан. Стояли в недавно занятом нами ауле Ашильгы. Внизу, за речонкой—неприятельский аул. Когда высовываешь нос из сакли—тотчас же, как пчелы, начинают жужжать пули. Хлеб доставлялся с «плоскостей»—верст за 50—60—из Темир-Хан-Шуры на ишаках. Привозили его редко и часто ели мы—без соли и без хлеба—голую козлятину, вонючую и постную. Была у пас одна радость: яблоки. Ими и козлятину заедали. Яблок было много, в каждой сакле—горы.

Было тихо. Окостенели в тишине громады гор, мы—кучка забившихся сюда, в каменное сердце Дагестана, людей—жались по саклям, выползали греться на яркое и теплое уже солнце. Была передышка и, слоняясь в томлении по аулу, читали мы старую, трепаную «Ниву» за 1896 год, найденную случайно в сакле одного из местных «князей».

Вечеру—темнело тут, в глубокой котловине, рано—плотный сумрак,

сползая с гор, веял на нас жутью. Перед тем только—батальон, взявший Ашильты и после боя спокойно остановившийся на ночлег в ауле, был поголовно вырезан налетевшими в ночи тавлинами. Днями мы жили в ауле, валялись на постелях. Как только начинало темнеть, мы забирали оружие и лошадей и уходили из аула. Ночевали мы на открытой скале, в дырявых палатках. На скале была некоторая безопасность, в ауле же, пользуясь ночью, нас можно было взять голыми руками. Отсыпались мы днем, в ауле, после бессонной ночи на рассвете возвращаясь с гор продрогшими и злыми. Ночи были холодные, огней же мы не решались зажигать и даже курить нельзя было.

Первая ночь, когда мы рискнули почевать в ауле, была тревожна. Только что заснули, как раздалась тревога—условных два выстрела. Лихорадочно подтягивая штаны, мы бросились из аула, спросонку долго и бестолково тыкаясь и не находя в темноте выхода из узких и кривых аульских улиц.

Во всем затихшем, притаившемся ауле остались трое: телефонист и два «связиста». Телефонист упорно склонился над полевым аппаратом, в отчаянии и муке стараясь не оглядываться, чтобы не слышать, чтобы не видеть ничего вокруг.

Всю ночь мы дрогли, сжавшись в комок на голой скале, пялили глаза, стараясь увидеть, разгадать жуткую темноту, тревожно вслушиваясь в каждый шорох. Тревога, впрочем, была ложной. Белые уже не решались на вылазки, спешно «ликвидируясь».

Белых не удалось бы выкурить так быстро, если бы сами горцы—горская беднота—не ополчились на своих князей и, организовавшись в партизанские отряды, не оказали огромной помощи Красной армии.

Революция проникла в самое сердце гор...

От крепости вниз, неуклюже прыгая по склонам, поползли, как две огромных, брюхатых змей—каменные стены, образуя закрытый коридор от крепостных ворот до самого моря.

Местные знатоки уверяют, что эти стены помнят баснословные времена Кира, царя персидского. О несокрушимом могуществе тех жестоких веков рассказывают так:

«Во владычество Персии, когда шах Персии двинул свои полки на север, несметные его полчища покрыли весь Кавказ. Войска было так много, что первая колонна его, проходя стены этой крепости, вступила в ворота в ночь на Байрам-Тазыль¹⁾, а последний воин войска миновал их в ночь на следующий Байрам-Тазыль. Непрерывной лавиной, безостановочно, сотрясая землю, проходили—весь год, ночь и день—бесчисленные полчища»...

Минуют времена и проходят люди... От несокрушимого могущества остались несокрушимыми лишь стены, выстроенные людьми...

В городе, в татарской слободе, среди тесноты ветхих и мелких домишек, среди грязи и нищеты,—громоздкая и величественная мечеть. Прекрасная, затейливая мозаика ее купола, вытканый руками орнамент карнизов, грандиозность сводов—это кропотливые и изнурительные часы долгой работы. Огромный двор мечети—в нем без труда поместится тысяча десять людей—выложен саженными плитами камня и уставлен гигантскими колоннами, выточенными из сплошных громад,—каждая колонна с добрый утес.

Вокруг мечети, рядом с этими мертвым великолепием, в тесных и грязных улочках мусульманского города идет жизнь: крикливая, суматошливая, нищенская.

Горцы ленивы. Все хозяйство держится на женщине. Многие до сих пор пашут на женах—запрягают жену, двух, сколько есть... Женщины пашут—как лошади, такие же безгласные, безответные на плетку мужа.

Грузно и неповоротливо движется жизнь в темных, узких улочках слободок и аулов.

И все-таки: «она вертится»!

... В жаркий знойный полдень, когда земля задыхалась в духоте по каменистому, доселе бесплодному, предгорью

¹⁾ Байрам-Тазыль—Новый год.

побежала вода—канал им. Октябрьской революции в Дагестане... В течение двух лет тысячи человек—истомившихся по воде—лихорадочно, кто чем: лопатами, кирками, мотыгами, рыли землю, прокладывая путь воде.

Бешеным напором рванулась из шлюзов вода. Солнце кувыркалось в мутной воде канала. Вода, напевая, радостно звеня, растекалась в долины.

Пыльные, понурые лица горцев светились необычайным оживлением. Неказистая, узенькая канава с мутно-желтой водой дала жизнь не одной тысяче десятин сожженной солнцем, одичавшей земли.

Из Махач-Кала на открытие канала приехала в грузовиках толпа горянок—женская конференция. Окруженные непривычно любовным и предупредительным вниманием, горянки шли толпой—все скопом, вначале—пугливо оглядываясь, потом, несколько осмелев, весело затараторили меж собой.

В передних рядах шли старухи—в черных платьях и платках, с потемпелыми, сохшимися лицами. Шли молча, глядя перед собой, не оглядываясь и не отвечая на разговоры—очень торжественно и тихо.

Были они чужды болтливой пестрой долине—эти женщины сумрачных гор. И только, когда увидели они широкую пелену воды и убегающие от нее ручейки,—глаза их, глубоко запавшие от вечного горя, на покоробленных тяжелыми годами лицах загорелись жутко радостным черным пламенем и потом заслезились...

Певучая медь оркестра разносила скорбные звуки национального гимна гор—«молитвы Шамиля».

За городом, в мшистых лесных краях, в предгории,—стоит в дубовой роще дача.

Дача—старый деревянный нелепый дом, с итальянскими окнами и галлереями из цветных стекол.

Живут тут этой осенью—коммуной—и местные партработники, и приезжие—отдыхающие. Их девять всего человек, собранных с разных концов разных людей... Горсточка людей, бросаемых

по дорогам и бездорожью громыхающей телегой революции...

На террасе, за деревянными колоннами, на ступеньках обветшалой лестницы сидят рядом двое «коммунаров»: Караваев и Путьгин. Играют на балалайке и гитаре...

Из дома вышел коренастый и лохматый человек.

— Холодно в этом проклятом барском доме, как в погребе. Как и не люди будто, а крысы жили... На ночь вытопить надо будет!..

Человек постоял на террасе, взглянул па вечеряющие горы и пошел в сарай колоть дрова.

Ребята продолжали играть. Играют они сосредоточенно и молча. Караваев—балалаечник, он в просторной ситцевой рубашке, запрокинув широкое курносое лицо и полузакрыв глаза, яростно теребит струны. Балалайка у него в руках ходунум ходит, заливаясь звонкой трелью. Путьгин в кургузом, вытертом пиджаке, лениво перебирает струны, сидит сгорбившись и склонив на бок—к самой гитаре—голове. Вторит Караваеву глухо и меланхолично...

Слышно, как зазвенела перебираемая на столе посуда. Высунулась на террасу простоволосая голова Паши.

— Ну, айда, ребята, чай пить,—крикнула Паша.

Томящий запах смолы шел от свежесколоченного, некрашеного стола. Чай был с горьковатым запахом дубовых листьев. Холодком гор к вечеру тянуло в окна.

За окнами дачи—грядами в даль уходили холмы, поросшие огромными дубами, кленом, орехом,—отсюда все это казалось мелким кустарником. И дальше—мощным взлетом плыли в небе уже темнеющие громады. И кругом все—и роща, и дальние холмы горели, пронизанные солнцем. Багровые верхушки дерев были как бы об'ята беззвучным огромным пожаром.

— Ух, хорошо,—сказал новый, сегодня только приехавший парень.

Вяло оторвался от стакана лохматый человек—Васютин. Равнодушно глянув опять на горы, сказал:

— Нет. Это сначала только. А потом тоскливость нападает. Нелепость какая-то есть в этих горах!

Васютин жил в горах шесть лет, исколесил с Красной армией все горные трущобы и давно уже перестал глядеть на надсевшие, опротивевшие ему горы восхищенными глазами. Горы быстро надоедают, глазу негде разгуляться и глаз устает любоваться ими.

— Вот Паша!—говорил за чаем, подсмеиваясь, Путягин, гитарист.—Была Паша комиссаром. Кожаная куртка, все как полагается. Теперь, поди, и на лошади разучилась ездить? У ней все перемешалось. С горшками, да чайниками возится и кофточка у нее и прочая чепуха завелась. И не подумаешь, что у ней вместо ухвата наган был!—захохотал он.

— Ироды вы!—обозлилась вдруг Паша.—Посмотрела бы я, что вы лопать стали, как бы я с чугунами не возилась?

Паша, кроме коммунарской кухни, веда еще и большую партийную работу. На Путягина все замахали руками, заспорили с ним.

Паша ходила по аулам, собирала там женщин, о чем-то и как-то с ними разговаривала. Первый раз ее просто из аула выгнали. Но Паша и на второй день пошла. И так и стала ходить. Посмотрели, посмотрели горцы и рукой махнули—чорта ли с ней поделаешь? Старики и до сих пор косились, но Паша со смехом рассказывала, что при встречах она всегда им первая поясной поклон отвешивала. Старикам это нравилось и на поклоны Паши они хотя не отвечали, но и внимания на нее не обращали.

Но самой Паше работа эта не по сердцу была, хотя она и занималась ею—раз нужно было заниматься—с увлечением...

Больно уж особенные были они—эти горские бабы, да и говорить по-ихнему Паша не умела. А если бабам меж собой не разговориться по душам—работу трудно наладить.

Но работу вести было нужно и потому Паша, ходя в аул, стала сама учиться говорить по-горски.

Лилители горы и вырастали на фоне зари причудливыми громадами. Солнца висело над самыми их вершинами, наполняя рощу золотистой пылью лучей. Косые лучи шарили по роше и вдруг—ударившись в дерево—зажигали серый ствол ударом луча, как ослепительной молнией, обхватывая дуб от корня до листьев неудержимым пламенным пожаром.

— Товарищи, слушайте-ка... «Интернационал» в горах!—крикнул лохматый Васютин.

По громадным скалам, из долин и предгорий—в сумрак гор, в туманы ущелий—длинной цепью, растянувшись по изгибам тропок, ехали горцы.

— Это, должно, курсанты...

Горцы ехали в тени склонившихся скал, по-над горами. Уходящее за зубчатую кайму гор солнце иногда выхватывало отдельные фигуры. Всадник и круп лошади скрывались в тени и тогда вдруг на повороте, на ярко горящей скале, несколько секунд торчала, как литая из золота, огненная голова лошади.

Горцы пели «Интернационал». Слов нельзя было разобрать, но отчетливо по ущельям—уходя, казалось, за головокружительные выступы и гребни гор, поднимаясь и уплывая через горы в стеклянную высь, за уходящим рыжим хвостом солнца,—разливалась торжественная мелодия.

Гасли одна за другой вершины и глохла, рассеиваемая сумраком, мелодия.

В вышине лишь горела рыжим клоком дальняя скала. По уступам ее ехала, скрипя надрывно, арба. За арбой шел старик. Старик остановил лошаденку, она понурила, как бы щурясь от света, голову. Старик стоял, смотрел вниз, вслушиваясь в звуки незнакомой песни. В ветре гор развевались овчины его шубы. В пламенном свете, обтрепанный, косматый и величественный среди скал и лилового сумрака,—под ногами его из ущелий уже ползли лохматые пряди туманов,—старик стоял, древний, как скала, как жизнь гор, весь провианный солнечной пылью угасающих лучей...

Скала погасла. Заскрипела арба, старик поплелся за ней в туманы, в горы,—к себе в аул.

Снизу из ущелий, вместе с туманами, неслись еще, клубились и рвались в ветре ущелий мятежные звуки.

Но гасли уже одна за другой, как остывающие угли, верхушки гор и покрывались пеплом сумрака.

Скрипела где-то еще наверху арба, но ни ее, ни старика уже не было видно.

5. ЧАЙ-ХАНА ЯКУБА УМЕДОВА

(Из туркеставских впечатлений)

Адалис

Мы остановились в чай-хане на кишлачном базаре, против развалин Биби-Ханым. Вечером хозяин чай-ханы играет на дюторе и поет про все, что с ним случилось за день. Таков обычай.

В особенно удачных местах кружок гостей прерывает повесть гортанным воплем, и поощренный поэт мало-помалу начинает привирать.

В конце концов бедные приключения чай-ханщика вплетаются в огромный клубок перекати-преданий о завоевателе Искандере. Вот как поет Якуб:

1. «Я продал сегодня сорок чайников чая и тридцать одну лепешку. Бисмалля,—ир-рахман, ир-рахим!»

2. «Я зарабатываю мало, а ем много; я бедный человек и плохой торговец,— Бисмалля,—ир-рахман, ир-рахим!»

3. «Я поссорился со своим компаньоном, и он уезжает к себе в деревню— в старый кишлак на Зеравшане. Я не буду очень жалеть об этом».

4. «У меня остановился мулла из Оренбурга,—уважаемый и ученый. Он съел много плова и много мяса; он выпил много зеленого чая и выстирал в аршке рубаху».

5. «Муллы не платят обыкновенно; но этот дал мне довольно денег. Он сказал: «приходится жить иначе; новые люди умнее старых».— Бисмалля,—ир-рахман, ир-рахим!»

6. «Четверо русских постояльцев просили муллу рассказать легенду; он рассказал им очень любезно о Сулеймане, внуке Тимура».

7. «Русские спросили: «это правда?»— и мулла ответил: «наполовину;—надо видеть собственными глазами, чтоб

знать, где правда, а где неправда. Темный народ должен учиться».—Бисмалля,—ир-рахман, ир-рахим!»

8. «Русские кричали: «браво, браво, умный мулла из Оренбурга! Но разве ты видел своего Аллаха? Почему же ты все повторяешь:—Бисмалля,—ир-рахман, ир-рахим?»

9. «В это время ко мне вошел фининспектор, и мулла был рад, что избег ответа. А, впрочем быть может, я просто не помню, что он ответил; я испугался».

10. «Фининспектор спросил о моих доходах, я хотел соврать, но сказал правду, потому что вчера мой сосед сапожник, ничего не боясь, сказал правду. А чем я хуже своего соседа? Чем я хуже своего соседа?!»

11. «Ой, налоги, налоги, налоги! Ой, налоги! Ой, налоги! Скоро я буду ходить нищим! Мама будет ходить нищей! Соседи будут кричать—нищий!»

12. «Но за правду я получил награду; я нашел в аршке мешочек с двадцатью пятью золотыми. Я отправился в гости к Адб-Джеллалу—он живет на Серебряном базаре».

13. «По дороге я ел урюк и вишни, миндаль, фисташки и желтый сахар и вдруг увидел на Регистане страшное множество народа».

14. «Посреди толпы красовался всадник на белом коне и в цветной одежде. Дети бросали ему розы, женщины спорили и толкались, приподнимали с лица сетки, чтоб лучше видеть его губы, и продавцы ему подавали полные тарелочки рагаджану».

15. «Тут я сразу узнал Искандера, завоевателя полумира. Он покорил города и страны—Ташкент, Самарканд,

Андижан и Скобелев; Хиву, Бухару и Коканд, и Скобелев, и кишлак Тайлак, откуда я родом».

16. «Он достал уйму денег и мануфактуры, шелковичной грены и сушеных фруктов, и все это он подарил щедро союзу кошчи Узбекистана».

17. «Я крикнул: «да здравствует завоеватель!». И конь Искандера тряхнул гривой, тут Искандер натянул поводья и повернул ко мне, улыбаясь, черный глаз под высокой бровью».

18. «Здравствуй, товарищ Якуб Умедов!—сказал он на зависть всему народу:—Ты будешь со мной пировать весь вечер, и я достану тебе в жены девушку с розовыми щеками. Есть у меня друзья и братья—значит, я тебя познакомлю».

19. «Что тут было! Ой, что тут было! Целую ночь я кутил с ними! Девушку с розовыми щеками я взял 24 раза! Я ее брал и так и этак! Целых 24 раза! Это ни с кем не может случиться—только со мной по моим заслугам!»

Гортанные вопли гостей Якуба переходят в шутиливый вой. Якуб еще долго щиплет дотор и поет, закатив кроткие карие глаза; нежное лицо с распухшими по-детски губами кажется свирепым от вдохновенья.

Якуб не лучший певец и поэт в своем квартале,—больше его славится Джеллал.

На черном в рыжих узорах фоне лазурный щит; на щите темнокрасный чайник и скверного цвета листья—очень бледные; все заключено в коричнево-синюю раму. Это—вывеска.

Если когда-нибудь, о, путник, ты будешь отдыхать на кишмишном базаре против развалин Биби-Ханым, спроси о вывеске, нарисованной нами за долги.

Вывеску так и не повесили над чайханой: осталась стоять на одной из нар, под голубым насестом.

Чай-хана в сущности принадлежит караван-сараяу, а караван-сарай—старому баю Курбану. Старый бай Курбан перебил его на старгах, об'явленных комхозом, у двенадцати молодых баев. Двенадцать молодых баев обжаловали в исполкоме постановление ком-

хоза. Старый бай обжаловал в комхозе постановление исполкома. Сыновья старого бая уже третий день строчат «арзу», мудрую, слезную, витиеватую, адресованную царю Соломону—доброму Ахун Бабаеву, председателю ЦИК 'а УзССР.

Друзья и родственники караван-сарая заседают кучками на широком дворе. Якуб мрачен по мере сил:

— Сволочь! Чей виновата? Старый бай виновата! Дванадцать молодой бай виновата! Она богатый. Чай-хана бедный, моя бедный. Богатый бай дерутся—моя отвечай!

Меня впутали в библейскую волокиту. Каждый полдень я провожаю в комхоз плачущего старого бая; а комхоз на базаре, за Регистаном, в самой толчее. Шелковые халаты скрипят друг о дружку, падают с ног и уносятся течением туфли, мягко и деликатно пробивают себе путь ишаки.

Против входа в комхоз стоит продавец рагаджана—тертого льда с медовым бекмесом. На столике чудесная белая глыба, прикрытая грязной тряпкой; продавец соскабливает медной лопаточкой на медную тарелочку снег, поливает его бекмесом и дробно-дробно уграмбовывает шесть раз. Этот звонкий и мелкий, хлюпающий по талому снегу медный топот—профессиональная песенка рагаджана. И забить ее нельзя.

В комхозе прохладно. Свинцовый, мануфактурного запаха человек сам подходит к старому баю:

— Ничего нельзя сделать. Мы виноваты. Комхоз виноват. Ничего не поделаешь, отдавайте караван-сарай.

Старый бай садится на приступочку в сенях. Он будет сидеть так до конца занятий, широко расставив пухлые ноги, громко вздыхая и вертя в пальцах большую белую розу. О слезной «арзе» к Ахун Бабаеву он забыл.

Вечером, на паласе, под тутовым деревом, Якуб Умедов поет о кознях комхоза, закатив голубиные глаза на крестом лице.

Дзынь!—дотор летит на землю.

— Мать его... Сволочь, богатый бай! Бедный человек всегда виноват. Все пропадай. Мой пошла к моя мама в

гости плов кушал! Айда! Товарищи! Пошла к моя мама в гости! Ой, мама дорогой!

Он накидывает на одно плечо розовый ситцевый халат. За ухом пучок укропа и роза.

Когда вечерет в Самарканде, арыки начинают журчать полным голосом, и слышно, как тутовые ягоды падают с кляклым стуком на крытый паласом помост! В этой тишине маленький Ибот опрокидывает чайник и пиалу. Но Якуб не слышит; пока мы одеваемся, он кормит певчую перепелку и бранится именем Аллаха, вперемежку с русской матершиной.

Славный Афросиаб—Самаркандский Акрополь,—дикая насыпь, заросшая золотой с проседью щетиной, ухабистое городское кладбище с шакалами. Афросиаб усеян верблюжьими костями, разбитыми глиняными кувшинами, осколками расписной утвари от тимуровых до наших дней (на севере—помойная яма; на востоке—раскопки профессора Вяткина). Афросиаб велик.

Перепрыгивая через разрытые могилы, мы идем на уровне чудесных куполов Шах-Зинда; потом тропинка сворачивает к реке Сиабу и теряется в черных кустах. Под стенами Афросиаба река идет тяжело и мирно; в стенах вырублены пещеры, где спасаются испуганные «диваны»; я знаю одного из них, огромного афганца, с буйной, иссиня черной бородой, оглушительно-властным голосом и сильными пальцами в бирюзовых кольцах: он похож скорее на предводителя романтических разбойников, чем на «святого». Ах, да, впрочем!—Он из шайки басмачей...

Над Сиабом, в жиденьком фруктовом саду, живет мать Якуба, которая угостит нас пловом. В саду у Якуба растут чакхлы, незреющие абрикосы, мелкие вишни и польнь, а внизу, над рекой,—вольный ничей сад: здесь валяется под ногами сладкий урюк, гнилой, как мясо; здесь черешни в сливу величиной и розы—очень много роз,—и соловьи над розой—гафизовы со-

ловьи: все, как полагается! В саду у Якуба поют лягушки. Это тоже хорошо.

Посреди сада на полянке разостлана кошма, уставленная пиалами с кишмишной водкой—«муссаласом»; на кошме сидят восемь сапожников—родственников Якуба и совладельцев сада. Гостю—почет. Пиала с муссаласом, обходя круг, возвращается к новичку столько раз, сколько старых гостей в кругу. Потом ведут купаться: мужчину—на мужской половине воды, женщину—на женской. И пляшут перед иностранцем, если весело; древний танец,—смешную и наивную имитацию однополой любви, процветающей и сейчас среди праздных и богатых. А у бедняков есть юмор,—и танец хорош.

После купанья плов и разговоры, Восемь сапожников совсем не понимают русского языка: они могут только угощать и благожелательно смеяться. И, когда хочешь, чтобы они восторженно заливались, хлопая изо всей силы рукой по пыльной кошме, говоришь понятное им слово «товарищ», вместо мусульманского «ака»—брат.

На женской половине мать Якуба и соседские дети. У сартянок мягкие важные движения, очень покатые плечи и тонкие лица. Сартянки не играют на лютне, не дарят талисманов, не кушают в плечо, не делают почти ничего, принятого в поэмах. У них суровая старость, рваные ботинки—ичиги,—жесткая зима с колючим снегом, муж, дети и черный очаг для варки плова... Грязноватые ногти крашены хной, пальцы заскорузли от домашней работы.

Мать Якуба показала мне свое рукоделье для мужского пояса: по дешевому бархату вышивка неприятного красного цвета. В рабочей корзиночке ржавые длинные ножницы, как у всех бедных бабушек—русских, польских, еврейских.

Сартянки не дарят талисманов, и, честное слово, они скоро сбросят с лица свою черную, конского волоса, сетку!

Уже совсем темно, когда мы возвращаемся, взявшись за руки и распевая «Мама-джан». Афросиаб велик.

На низком туркестанском небе переливаются белые звезды, степные травы пахнут морем и перцем. Мимо нас, ша-

рахаясь и плача, пробежал шакал с поджатым хвостом и головой на бок— жест, перенятый у знакомых гиен. Якуб погнался за ним, потом сел на камень и принялся за обычное:

— Моя не виноват; моя бедный человек. Богатый бай дерется—моя отечай. Богатый бай хуже шугал. Поросята.

— Что?

— Поросята: на шея сидит, шея сосет. Голова чесать. Воша. Когда одна человек много от другой взять, сам ничего не делать, она воша.

— Эй, Якуб! А маленький Ибот? Он на тебя работает, что ты ему даешь?

— Ничего не даешь. Ибот должна. Я купила Ибот.

Звезды переливаются на низком небе.—Туркестан. Здесь есть рабы, как в древней Греции. Они не дарят талисманов, не играют на лютне, не подпиливают гвоздем железных решеток; но между бровями у них вытатуирована, по старой памяти, синяя звездочка. Покупать их можно только внутри страны, в затерянных кишлаках,—лучше всего у бедных родителей. Теперь это сложнее.

Мы продолжаем путь молча.—Афроу-сиаб велик. Вот медленно восходит на юге прекрасный силуэт развалин Биби-Ханым в черных облаках карагачей. Через полчаса—дóма. И всякий раз, когда дикая падучая звезда стремительно рассекает небо, Якуб вскрикивает: «ой, мой чай-хана!», а все мы пьяно торопимся пропеть:

Ой, я тебе, мама-джан,
Люблю уважаю!
Через тебе мама-джан.
В Ташкент уезжаю!

Я боюсь землетрясения и сплю под открытым небом; а днем совсем тяжело дышать. Желтое песчаное небо пересыпается низко над головой и кажется много тяжелее этого бледного лесса—призрачной почвы Туркестана. Вода резко пахнет плесенью; собаки грызутся по пустыкам. Есть в Самарканде городская железная дорога и конечная станция ее—у чай-ханы Якуба. Три

раза в ночь «кукушка» приходит с вокзала, дико громыхая, дребезжа и крича. Чай-ханчики просыпаются, поднимают на палках бамбуксовые навесы, припускают огня в висячих керосиновых лампах и ждут барыша. Самовар кипит всю ночь.

Чай-хана Якуба кончается. Сам он пьяный в доску спит, сбнявшись со своим компаньоном, дсбредушным рябым Мирхон-баем. Заслышав кукушку, они по привычке вскакивают, дико озираются, но валяются снова. А днем они тоже спят. Днем грохот кукушки меньше похож на подземный гул, и все-таки несомненно: землетрясение назначено на сегодня. Караван-сарай не принадлежит больше старому баю. На пустынном дворе поднимаются маленькие смерчи пыли и жалобно, выворачиваясь криком на изнанку, трубят ишаки. Впрочем, старый бай и сегодня сидит на приступочке в комхозе—может быть, поможет.

От жары мучительно пересохло в носу; я принимаю за первые подземные толчки удары пульса. С утра до шести пополудни мы томимся сегодня, полужелеза на паласе в одной из внутренних комнат. Сугулый, самолюбивый поэт разглядывает на свет свои руки; они сильно дрожат.

— Я не люблю стихийных бедствий,—говорит он.

Другой, партийный мальчик, с ясным лбом и широкими плечами, тяжело острит:

— Потому что не коммунист.

Тр-ах!..—это падает чайник. Коммунист конфузливо улыбается...

Стихийное бедствие начинается с огромного шороха и гортанного крика. Секунда затишья, и мы выбегаем на улицу под истошный треск. В пыли не видать даже контуров предметов. Еще секунда затишья,—и медленно обрушивается трехэтажный русский мат. Пыль рассеивается. Землетрясения нет и не будет.

Но чай-ханы Якуба Умедова тоже нет. Базарная детвора растаскивает последние доски помоста. Свистящая, клекочущая, каркающая, заливающаяся толпа не может удержать Мирхон-бая; он в крови и лохмотьях. И лохмотьями

висит бамбуковый навес над арыком. С крыши сыпятся камни. Страшное желтое небо клубится низко над развалинами. Еще раз гортанный вопль—и Мирхон подбегает к столбам, поддерживающим другой навес—над караван-сараем,—широкий и крепкий. Столбы не поддаются; тогда он взбирается по ним с непостижимой ловкостью и рвет навес зубами. В притихшей толпе три милиционера (свои, узбеки); они робко подталкивают друг друга вперед, потом уходят.

Якуб стоит в стороне, с мусульманской улыбкой покорности и презрения, прижимая к груди самовар; кредиторы Джеллал и Хабибулла уносят под мышкой свернутые ковры.

...— Мать твою...!— Мирхону не одолеть навесов; он скатывается по столбу и скрывается во дворе караван-сарая; через пару секунд кошащее лицо с обвисшими, как у китайского богдыхана на вазе, усами, оскалено с крыши.

— Р-раз! Навес пополам. Р-рраз! Р-рраз!

Он повисает лохмотьями над арыком.

Низкое небо из песчаного становится бледно-голубым: стихийное бедствие кончилось. Мирхон-бай, свернув в старый халат пожитки, уходит пешком в свой далекий зеленый кишлак над

Зеравшаном. Черные пугала чай-ханы торчат в ясной прожлуде; освобожденный от помоста арык журчит полным голосом, и негде сесть пить чай.

Мы толпимся внутри чай-ханы. Якуб спокойно об'ясняет:

— Мирхон—дывана, Мирхон—злой дурак мужчин. Гаварил—зачем чай-хана выгонять?—совсем не надо хай-хана. Богатый человек—сволочь человек; старый бай—сволочь бай. Так ему надо. Нет чай-хана.

— А ты что будешь делать?

— Моя хочет быть сапожник. Папа сапожник, дядя сапожник. Моя сапоги делать, налог не платить,—рабочий союз. Моя очень хочет быть сапожник! Торговать не надо—торговать плохой дела. Правда, таварих?

Вдруг взгляд его падает на вывеску, прислоненную к стене (черный фон в рыжих узорах, голубой шит, темнокрасный чайник... ту самую).

— Ой! А вывеска на улица выбросать? Не-ет! Будет строить Якуб Умедов новый чай-хана, ремонт делать, ковер покупать, твой вывеска вешать, денег нет? Будет Якуб заработать новый денег. К чорту сапожник! Фу! Мой хочет чай-хана. Мой без денег открывать чай-хана! Торговать!

И он лихо ударяет по двум струнам джатора.

6. ЛОНДОН В ДНИ ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКИ

(Письмо из Англии)

И. Звавич

Это тебе не Англия!
(Чехов)

I

Несмотря на то, что об'ективные причины неизбежно вели страну к неминуемому кризису, даже в последние дни апреля как-то не верилось, что компромисс между углекопами и углепромышленниками не будет найден. О всеобщей стачке нечего и говорить; самые проникательные в обычное время наблюдатели английской жизни еще 30 апреля, т. е. за 4 дня до начала стачки, готовы были утверждать, что ее не будет. А между тем 30 апреля Ге-

неральный Совет тред-юнионов уже отдал приказ о том, чтобы начать стачку в ночь с 3-го на 4-е мая, в случае, если об'явления о локауте в угольных шахтах не будут сняты.

У нас, иностранцев, которые связаны с Англией лишь несколькими месяцами или годами пребывания в стране, имеется какое-то подсознательное убеждение, какая-то необ'яснимая и иррациональная уверенность, что в Англии события движутся иначе, нежели в других странах. Подметив вблизи коренное и несомненное своеобразие английского характера, мы готовы пре-

увеличивать его значение и, читая, поэтому, книгу Л. Троцкого об Англии или выслушивая суждения русских товарищей, недавно или только что приехавших, мы обычно лишь хитро улыбаемся, и говорим: «Вот увидите: Англия — страна совершенно особенная, и ничего здесь не будет!» И в мелочах мы часто оказываемся правы; английская буржуазия до сих пор умела путем ряда ошибок выбиваться на правильный путь, «to muddle through», как говорят англичане.

Для самих англичан отсутствие политической дальновзоркости простительнее, чем для нас: как никак в Англии это был первый опыт всеобщей стачки. Однако, несмотря на уверенность рядовых англичан, что стачки не будет, и стороны придут к компромиссу («как всегда», заявил мне мой знакомый, довольно наблюдательный англичанин), они были бы разочарованы, если бы так-таки ничего не случилось. Газеты читались враскоряку, и в вагоне подземной железной дороги еще реже чем обычно можно было различить лица пассажиров, скрытые за огромными полотнищами двадцатипятистраничных газет-левиафанов.

В стране, где печать настолько развита, как в Англии, легко было почувствовать каждому огромное историческое значение происходящего. Каждый сознавал, что так или иначе участвует в массовом историческом «действии»; необычность положения была даже тогда, когда внешние формы законности и порядка были соблюдены.

Каждый хотел унести с собой какое-то воспоминание о «великой стачке». В понедельник, 3 мая, за несколько часов до начала всеобщей стачки, я проходил по центральной и западной части Лондона. На улице, перед зданием министерства иностранных дел, очередь людей в шляпках, таких людей, которых редко увидишь в какой бы то ни было очереди. Спортивные костюмы бросались в глаза, но в общем их было мало; преобладали «деловые» одежды Сити. Это шла запись в волонтеры и в особый, только что созданный, гражданский корпус полиции, который должен был пред-

отвращать возможные беспорядки. Волонтеры, которые были организованы еще задолго до начала всеобщей забастовки осенью 1925 года полупашистской, полуправительственной организацией О. М. С. (O. M. S.—Organisation for Maintenance of Supplies), должны были заменить бастующих рабочих в наиболее важных пунктах.

Рядом стояла довольно большая толпа, в которой, повидимому, преобладали рабочие. Толпа эта стояла в ожидании чего-то; жадно раскупались газеты, листки, все время бегали какие-то люди от здания министерства к зданию Палаты Общин и переносили какие-то слухи.

Полисмэн мирно стоял на своем посту, шли omnibusы, и перед памятником неизвестному солдату проходящие пешеходы снимали шляпы не реже, чем обычно. Ничто не указывало, что начинается «революция», а между тем толпа пришла посмотреть, как кто-то другой будет эту революцию делать. Было несомненно напряженное ожидание, как перед войной, но стремления участвовать пока не было. Не было споров о том, кто прав, кто виноват, а велись пари на тему: «будет или не будет».

Не надо жить в Англии, чтобы знать, что Англия является страной спорта. Спорт, однако, выражается в Англии не только в форме простых и сложных физических упражнений, игр и т. п.; спорт — это черта национального характера, превращающая англичанина в игрока, игрока честного, «спортсмена». В Англии запрещены лотереи, но закон обходится всевозможными путями «с благотворительной целью», и ни в одной стране так не распространены пари как в Англии, где налог на пари составляет важную и крайне непопулярную часть нового бюджета Черчилля.

Отношение англичан, как нации, к политическим событиям, к социальным фактам, к борьбе классов и партий, проникнуто этим своеобразным духом игры и спорта. Это отношение к событиям является, конечно, нездоровым, но для того, чтобы понять, что происходит в Англии, нам надо его учитывать.

Английские рабочие в массе ожидали, что «правила игры» будут соблюдены; лидеры рабочего класса в течение долгих лет твердили ему об этом, стремясь сохранить мирные и конституционные формы движения. В связи с этим рабочие, так дружно выступившие на защиту углекопов, не были в состоянии ничего предпринять для углубления всеобщей забастовки, не нарушая этих правил честной игры. При железной дисциплинированности английских рабочих масс эти иллюзии оказались чрезвычайно крепки и вредны. Нужно было провала всеобщей забастовки, чтобы их изжить.

В толпе у здания министерства иностранных дел оживленно обсуждали инцидент с «Дэйли Мэйль», которому суждено было сыграть историческую роль. Газета эта — одна из наиболее реакционных в Англии (была основана знаменитым Нортклиффом) — в понедельник 3 мая должна была выйти со статьей, написанной редактором, в которой рабочее движение об'являлось революционным посягательством на неотъемлемые права нации. Статья, которая должна была носить заглавие «За короля и отечество», не заключала в себе ничего необычного, если судить с точки зрения буржуазных публицистов, но нервы были настолько напряжены, что наборщики газеты решились на «прямое действие»: Представители рабочих, ознакомившись со статьей, которая называла угрозу забастовкой — изменой отечеству, явились к редактору с требованием изменить характер статьи, заявляя, что в противном случае тут же прекратят работу. После отказа редактора пойти навстречу требованиям наборщиков, набор газеты был оставлен, и «Дэйли Мэйль» в понедельник в Лондоне не вышла.

Инцидент с «Дэйли Мэйль» по существу был крайне мелким, незначительным эпизодом классовой борьбы. Однако уже этот эпизод разделил страну на два лагеря: сочувствующих и не сочувствующих поступку наборщиков. К вечеру исчезли из продажи вечерние газеты, которые попытались воспроизвести статью «Дэйли Мэйль». Казалось, борьба началась дружно.

И тогда же болезненным уколом показался манифест Генерального Совета Профсоюзов, в котором последний слагал с себя всякую ответственность за «необдуманный поступок нескольких членов союза наборщиков». На этот манифест, помнится, тогда никто не обратил внимания. Рабочим, которые шли за Генеральным Советом Профсоюзов, некогда было останавливаться на этом, а между тем эпизод с «Дэйли Мэйль» уже показывал, что у вождей движения не было желания выиграть в борьбе.

Однако, чем дальше шло движение, тем все более и более укреплялась в сознании мысль, что хотя победа рабочих возможна, ее не будет, ибо ее не хотят те, кто направляет движение. Поражало стремление Генерального Совета к контролю над действиями всех, кто мог так или иначе помочь делу стачки, и полное отсутствие контроля над теми, кто вел дело к ее проигрышу.

Правительству была предоставлена полная свобода действий. «Местная игра», которая по отношению к рабочему классу дошла до степени предательства, привела к тому, что уже после начала угольного конфликта (с 30 апреля) и до начала стачки (4 мая) железнодорожники работали сверхурочно по перевозке угля для правительства в наиболее важные пункты железнодорожной сети.

II

Радио оказалось могущественным орудием в руках правительства. Генеральный Совет, стремясь к «справедливости», наряду с буржуазными газетами, закрыл и рабочий «Дэйли Геральд». Это решение удивляло уже с самого начала своей нелепостью; население, и в первую очередь те же рабочие, не имея газеты, обратились к правительственным радио-сообщениям. По остроумному выражению Ллойд-Джорджа, правительство заразило ядом пропаганды самый воздух, которым дышала Англия, отправляя по беспроволочному телеграфу свои часто лживые с фактической стороны и всегда тенденциозные сообщения. Людей, ко-

торые шли пешком из окраин огромного города в центр и назад, правительство пыталось убедить, что они все с удобством поместились в поездах, управляемых волонтерами. В этом, конечно, убедить было трудно, но многое достигалось. Странно доверчив человек, особенно тот его вид, который населяет туманный Британский остров. Когда в 10 ч. утра радио сообщало, что «все нормально, и поезда идут, как всегда», рядовой городской обыватель Лондона лишь посмеивался, так как знал, что предстоит длиннейший путь при отвратительной лондонской погоде, а станции закрыты. Но в разных видах эти сообщения подавались по радио и в 11, и в час дня, и в четыре, и в шесть, и в семь, и когда лондонец возвращался домой, его участливо спрашивали, неужели же он не мог попасть в поезд, которым управлял какой-либо кембриджский или оксфордский студент. А к 12 часам ночи, когда радио сообщало то же самое в разных видах еще раза три-четыре, лондонец, наконец, сам убеждался, что он был неправ и, наверно, он не обошел всех станций своего района, и где-нибудь штрейк-брехеры и волонтеры работали как ни в чем не бывало.

Правительство поспешило занять все «идеологические высоты», чтобы привлечь на свою сторону обычное в такого рода столкновениях обывательское «болото». Была использована монархия, империя, патриотизм, религия, семья и спорт. По радио сообщили, что король вызван в Лондон и что наследник престола принц Уэльский прилетает назад в Англию из Биаррица. В остроумной карикатуре в «Правде» художник талантливо изобразил «соотношение сил» в классовой борьбе: огромный капиталист противостоит не менее значительному рабочему; между ними маленькой змейкой в горностаевой мантии — король. Но и в таком соотношении сил король оказался полезен. То влияние, которое еще имела королевская власть в рабочем классе, было использовано правительством полностью и до конца. Рабочие поплатились за то, что их вожди, по выражению Троцкого, были виновны в том, что,

«веря в медицину, шли заговаривать зубы к знахарю, так как это дешевле», т.-е. противостояли лозунгу республики, потому что король обходится дешевле.

Радио призывало и к защите империи. Слова Ленина о том, что «не может быть свободен народ, угнетающий другие народы», оправдались и на этот раз. Вот как использовались иллюзии имперские; мною было записано, по памяти, одно из обращений по радио.

«Каждый день,—кричал громкоговоритель,—мистер Баттерсби (рядовой англичанин. И. З.) отправлялся на службу в Сити с девятичасовым поездом. Каждый день мистер Баттерсби приходил на станцию за десять минут перед отходом поезда — почитать газету и поговорить с кондуктором—Симом—о погоде, о спорте, о политике. В понедельник, 3 мая, когда мистер Баттерсби по обыкновению подошел к Симу и протянул ему билет и готов был поделиться впечатлениями об успехах в крикете приехавших в Англию австралийских спортсменов, Сим сказал:—Вы, может быть, не застанете меня завтра, мистер Баттерсби: профсоюз зовет меня прекратить работу, чтобы помочь углекопам. Мистер Баттерсби читал газету и знал о готовящейся стачке, но как-то не думал, чтобы политические события так близко коснулись его лично, и внесли разруху в его налаженную жизнь. На удивленный вопрос мистера Баттерсби Сим отвечал:—Ведь я член профсоюза, и я должен идти вместе с товарищами; ведь и вы, мистер Баттерсби, если бы были членом союза, поступили бы точно так же,—не правда ли?

И мистер Баттерсби не знал, что отвечать железнодорожнику; его выручил лишь поезд, подходивший в эту минуту к станции. Но теперь мистер Баттерсби подумал, и он знает, что ему надлежало бы ответить. Он хотел бы теперь сказать:—Я тоже состою членом союза, в который входите и вы, Сим. Наш союз состоит из 40 с лишним миллионов членов и трехсот миллионов членов за океаном. Этот союз называется Британской империей. Мы все обя-

заны подчиняться исполкому союза — правительству; и если мой союз при- кажется мне занять ваше место, я так и поступлю».

Перед нами характерная картинка английской жизни и мышления английского мещанства. Стоит ли приводить другие агитационные выпады правительства; оно было в борьбе с профсоюзами несравненно сильнейшими, ибо знало, чего оно хотело. Скольких таких «мистеров Баттерсби» поддалось на увещания правительства во время забастовки!

Лондон по существу не является промышленным центром: это город клерков, конторских служащих, банковских писцов и т. п. Вся эта армия «сюртучников» состоит из подобных Баттерсби. Банки и страховые общества, судоходные компании и торговые предприятия Сити мобилизовали своих служащих «на защиту отечества». Им растолковали, что всеобщая забастовка является нападением на семью. «Если бы не правительство, — говорило радио, — ваши бэби остались бы без молока, и вот распорядительные власти повзбавились закрыть Гайд-парк, где организован центральный распределитель молока, и его хватает для всех; цены будут повышены лишь на 2 пенса на квартиру».

Пропаганда радио преуспевала тем лучше, что в напряженной атмосфере стачки всех охватила жажда новостей. Это было время слухов, самых нелепых и самых разнообразных. Это было также время несметных листовок, которые издавались всеми, кто только обладал какими бы то ни было средствами к печатанию. Генеральный Совет признал нелепость закрытия «Дэйли Геральд», и так как правительство начало издавать при поддержке штрейк-брехеров, в редакции реакционнейшей «Морнинг Пост», правительственную «Британскую Газету», Генеральный Совет начал выпускать газету под названием «Британский Рабочий». Остальные газеты выходили в незначительном количестве экземпляров на небольших листках, со следами неумелой работы новоявленных наборщиков. Книжные магазины, аптеки и другие фирмы,

случайные обладатели гектографа, про- давали напечатанные правительствен- ные сообщения по радио. У больших универсальных магазинов толпы на- рода ожидали того, чтобы какие-либо новости, свежее напечатанные на пишу- щей машинке, появились в окнах, а у одного из наиболее крупных мага- зинов световая реклама передавала новые сведения о положении. Но ми- тингов в центре было незаметно; ка- ждый думал про себя. Обеспечив бэби молоко, правительство попутно закры- ло большие парки Лондона — Гайд-парк и Риджент-парк — и тем предупредило массовые митинги в центре города.

Между тем толпы в рабочих районах были опаснее, нежели те, что собира- лись в ожидании новостей у больших универсальных магазинов. Уже на гра- нице мелкобуржуазного Гэмпстэда на площади Кэмден-тоуна толпа была на- строена весьма враждебно по отноше- нию к немногим добровольцам, которые управляли несколькими омнибусами. Пассажиры часто покидали омнибус, не решаясь следовать через площадь, и случалось, что лишь один-двое оста- вались в омнибусе, защищенном полис- мэном и новым констэблем, взятом в полицию на время стачки. Правда, потом привыкли, как привыкают ко всему, и пассажиры ездили даже в омнибусах, где окна были разбиты кирпичом или камнем, и забиты дере- вянными досками, а открытое обычно сидение вагонногожатога скрыто прово-лочной сеткой. Передают, что некото- рым из волонтеров это не прошло да- ром; хотя убийства были, повидимому, редки, и лишь одно зарегистрировано после стачки (то, что произошло во время стачки, пока неизвестно, и вряд ли когда-либо будет известно), но мно-гие из студентов и добровольцев помо- ложе стали «жертвами шуток». Двоих студентов, например, толпа рабочих высекла и выкупала в городском пруду; в другом случае толпа рабочих влезла на омнибус и заставила себя «катать» в течение половины дня.

Много омнибусов было разбито, мно- го автомобилей перевернуто. Усилиями Генерального Совета профсоюзов вни- мание рабочих отвлекалось всевозмож-

ными способами от «беспорядочных выстулений», и недовольство направлялось преимущественно не на людей, а на вещи.

Характерным был призыв Генерального Совета заниматься спортом. Опять на ум приходит книга Троцкого. В начале года, вскоре после того, как книга появилась в английском переводе, мне случилось присутствовать в одном радикальном кружке молодежи, на котором читался доклад об этой книге. Докладчик соглашался тогда с неумолимой логикой книги, но признавался, что не может понять того, как Троцкий может говорить о том, что энергия рабочих отвлекается спортом.

Всю Англию обошло между тем такое «спортивное» известие: «В Плимусе футбольная команда стачечников обыграла футбольную команду полиции. Результат: 2 гола против 1. Жена полицмейстера бросала мяч». Спрашивается, кому помогла такая идиллия?

В то же время те, кто занимался спортом обычно, т. е. буржуазная молодежь, спорт бросили и пошли на защиту своего класса. В университетах и других высших учебных заведениях университетские власти обращались к студентам с призывами вступить в число волонтеров, помочь государству спасти Англию от анархии. Были и обещания не забыть услуг студентов на экзаменах.

III

Для того, чтобы понять, насколько необычны были картины уличной жизни времени забастовки, следует учитывать, что Лондон, вообще говоря, не похож на другие большие города мира. Лондон обычно поражает посетителя своим провинциальным видом, людей на улицах мало, кроме как от 8 до 9.30 утра и от 4 до 6.30 вечера, во время приезда в центр и обратного возвращения на окраины. Вечером центр города пустеет, а окраины даже в рабочих районах, востока Лондона, где население живет скученно, кажутся безлюдными. Англичане не любят улицы, и только очереди у кинематографов, да детские коляски у пивных, где отцы и матери проводят вечера, напоминают о жизни большого города. Так

как обычно движение сосредоточено под землей, в вагонах метрополитэна и подземных железных дорог («гьюбов»), то уличное движение уступает, например, парижскому, хотя население Парижа и много меньше лондонского.

Во время забастовки все те, кто обычно ездил под землей, шли или ехали по улицам. Невиданные толпы пешеходов заполняли собою тротуары. Главная масса пешеходов направлялась в Сити; много было и тех, кто в обычное время сидел дома или был на работе, которую во время стачки покинул. Закрылись некоторые школы, и школьников на улице было больше, чем обычно. Первыми жертвами стачки были пешеходы, раздавленные автомобилями, мотоциклетами, шарабанами, подводами, колясками и т. п. Но больше всего было велосипедов; велосипеды самых различных систем, видов и формы, от детских трехколесных до особых двухместных «семейных». Наладилась взаимопомощь, не всегда бескорыстная, и иногда оказываемая не без задней мысли «воздействовать на психологию». Использовались лакейские чувства, прочно засевшие в глубине души английского — и не одного только английского — обывателя. Когда открывался великолепный Роллс-Ройс и какой-нибудь «лорд» подвозил мистера Джонса на службу, где последний в течение девяти часов, несмотря на стачку, сидел за бухгалтерскими книгами, не было ли это событием, которое останется навсегда в памяти не только мистера Джонса, но и его семьи. Разве забудет миссис Смит, что в четверг и пятницу первой недели мая она получила молоко от сына консервативного члена парламента. Что из того, что, может быть, ее же брат уволен со службы после забастовки, так как ввиду отсутствия работы проведено сокращение штатов? Не надо было бастовать, скажет миссис Смит брату! Зато в доках, в районах Поплара, Вест Гэма и Ист Гэма, Каннинг-тоуна и Гаммерсписа подобных «трогательных» инцидентов не было. Там тоже все на улице, ибо рабочим нечего делать и город приобретает полупраздничный вид. Там владельцы Роллс-

Ройсов не решаются отворять дверцы автомобиля, чтобы провезти кого бы то ни было; они там и не появляются, а если и проезжают, то стремятся пройти без инцидентов. Кабаки и пивные закрыты, и пьяных почти нет. Толпы вели себя в этих районах с достоинством, хотя в иных случаях и поддавались полицейской провокации. В этих случаях полиция с дубинками нападала на толпу, оставляя в иных случаях нескольких раненых.

Чрезвычайное положение предоставило правительству такие полномочия, которые фактически приостановили все конституционные гарантии. Для тех, кто помнит царские преследования за «покушение на распространение нелегальной литературы», небезынтересно будет узнать о том, что в современной Англии во время стачки люди приговаривались к нескольким месяцам тяжелых работ за «хранение документов, которые, если бы они были напечатаны, могли бы вызвать волнения».

Производили аресты рабочих, принимавших участие в пикетах, которые пытались отговорить штрейкбрехеров от возвращения или пребывания на работе. Английское законодательство разрешает «мирные пикеты» во время стачек, но правительство Болдуина, ставшее на защиту «закона и порядка», по радио «разъяснило» закон, и важнейшее завоевание английских профсоюзов находится теперь под вопросом. После конца забастовки рабочие, входившие в состав пикетов, часто под предлогом сокращения штатов не принимаются назад.

Репрессии по отношению к рабочим, проявившим себя более или менее сознательно во время забастовки, часты и отличаются жестокостью. Вновь им места не найти, и, кто знает, не восстановлены ли черные списки. Число безработных в середине дня достигло 1.670.000 человек.

Большое значение для Лондона, как мирового города, имело то, что Англия была фактически отрезана от внешнего мира. В городе застряло довольно большое количество иностранцев, которые в другое время покинули бы страну. Эти люди чувствовали себя пойманными

как в мешке. Никаких известий с родины, лишь случайные и редкие письма в течение 9 дней. Начало мая было важным моментом в международных отношениях; однако события в стране подавили собою и революцию в Польше, и смену правительства в Германии, и министерскую чехарду в Бельгии.

Забыты были даже обычные нападки на Советскую Россию, если бы не все та же «Дэйли Мэйль», которая в своем парижском издании, привозившемся воздушной почтой в Лондон, требовала высылки всех работников Советских учреждений в Лондоне.

Впрочем, так было лишь в первые дни. Лишь только пришли первые деньги, собранные в Советском Союзе в пользу английских стачечников, немногие листки, печатавшиеся штрейкбрехерами, возобновили кампанию против нас. Между тем Генеральный Совет счел нужным отказаться от «русского золота». Этот лакейский поступок Генерального Совета не помешал, однако, правительству вслед затем наложить запрет на все суммы, «которые поступят из-за границы для поддержки стачки». Присылка денег из Советского Союза и, еще более, вторичное их асигнование в пользу углекопов произвели среди английских рабочих самое благоприятное впечатление. Уже после забастовки мне приходилось слышать, что этот поступок наших профсоюзов сделал больше для «единого фронта», нежели сотня конференций. Всем английским рабочим, как участвовавшим в забастовке, так и не принимавшим в ней участие, стало ясно, что Советский Союз является единственным их союзником в борьбе, таким союзником, которого не запугаешь. * С присылкой средств, собранных рабочими Сов. Союза хочется сопоставить сбор, который производился в другом стане после забастовки. Газета «Таймс» учредила тотчас же после окончания забастовки «Национальный фонд полиции», и за две недели в пользу полиции, на долю которой вышла такая «почетная» роль во время забастовки, было собрано 215 тыс. ф. ст. В списках жертвователей мы находим наиболее видных представителей английского

политического и делового мира, банки, судоходные общества, членов парламента, князей церкви, промышленников и т. п. Они поспешили внести свою лепту на охрану самих себя от возможных посягательств.

IV

В такой же мере, в какой Англия является страной спорта, ее можно назвать и страной обществ. Общества в Англии организуются всевозможные, и нет, быть может, ничего любопытнее в английской жизни, как деятельность этих обществ. Не говоря уже об обществах религиозного характера, вроде общества для спасения гаремных женщин или общества обращения в христианство евреев Востока, мы встречаем общество упрощения правописания, общество защиты природы от рекламы, общество помощи иностранцам, находящимся в затруднительных обстоятельствах, союз защиты лондонских пустырей от застройки и т. д., и т. п. Перечисленные мною общества составляют лишь примеры характерных «гоб-би» (причуд) английского среднего класса; число их может быть увеличено до бесконечности, особенно если принять во внимание местные общества и союзы, ставящие себе иногда такие нелепые цели, что только приходится развести руками и удивляться.

Все эти общества живут своею жизнью, устраивают собрания и обычно раз в год с'езды. На с'ездах выступают иногда политические деятели, артисты, литераторы. Еще популярнее ежегодные «обеда», вроде «Обеда Инспекторов Лондонских средних школ», на котором не так давно выступал Ллойд-Джордж.

В мае—июне, в разгар лондонского «сезона», этих с'ездов, собраний и обедов особенно много. Заранее составляются проспекты, приглашения, берутся помещения и т. п.

Забастовка жестоко нарушила этот вековой уклад общественной жизни Лондона. Число обществ, которые принуждены были отложить свои собрания, было поистине огромно. Сколько пропало готовых послеобеденных и иных речей, сколько мистеров Баттерсби

было огорчено тем, что забастовка помешала им отправиться в общество охраны яиц диких птиц или на с'езд обществ по распространению библий среди других народов! На первый или второй день забастовки стало известно, что угрожает опасность голубям, живущим на крыше собора Св. Павла, и лошадям лондонской мэрии, так как никто не подумал в это время о голубях, а в мэрии никого нет, и лошади остаются без корма. Защитой голубей и лошадей занялось королевское общество защиты животных, председателем которого состоит лорд Банбюри. Этот лорд долгое время был представителем Сити в парламенте, и знаменит своим поистине собачьим отношением к людям наряду с заботой о собаках. В парламент Банбюри ежегодно вносил «собачий билль», который представлял собою своего рода недостижимую «хартию вольностей» английских собак; зато Банбюри жестоко сопротивлялся новому радикальному законодательству по рабочему вопросу.

Забастовка была слишком непродолжительна, чтобы отозваться на питании населения; только угольщики, которые ранее бросили работу в силу объявленного локаута, уже во вторую неделю мая в некоторых районах оказались в тяжелом положении. Но недостатка продовольствия в силу отсутствия подвоза не было. Страна жила старыми запасами, которых могло хватить, без импорта, недели на три—на четыре. Лондон не перешел даже к потреблению консервов в сколько-нибудь значительной мере. Правительство установило максимальные цены на продовольствие в размере, господствовавшем 30 апреля. К концу первой недели появилась тенденция к созданию запасов; свечи нельзя было достать, хотя электрическое освещение в домах горело. «Предусмотрительные хозяйки» при всем своем английском хладнокровии поспешили обеспечить себя свечами.

Важнейшими источниками импорта продовольствия в течение девяти дней всеобщей забастовки были Голландия и Дания, но и в том и в другом случае угрожала приостановка отправки каких бы то ни было грузов в страну.

Внутри самой Англии продовольствие развозилось на грузовиках и в меньшей степени на поездах, управляемых добровольцами. Так как первые два дня Генеральный Совет профсоюзов выдавал специальные разрешения на отправку продовольственных грузов и медицинских препаратов, на улицах можно было встретить грузовики с надписями: «Продовольствие», «Красный Крест»; «Медицинский персонал» и т. д. «Британский Рабочий» отметил забавный случай «канибализма»: в автомобиле с наклейкой «Исключительно продовольствие» ехало шесть плотных, откормленных мужчин и женщин. В другом случае в грузовике, с наклейкой «Продовольствие», нашли колючую проволоку. Этот случай был одной из причин, побудивших Генеральный Совет прекратить выдачу разрешений. Тогда для того, чтобы произвести сильное впечатление в массах, правительство вызвало войска для охраны мясных грузов, перевозившихся из доков в центральный мясной рынок (Смисфильд), который был загражден баррикадами. За «мясным» конвоем последовал на другой день «молочный»; войска и грузовики растянулись почти на полторы версты.

Однако использовать войска у правительства явно не было охоты; трудно было на них положиться. Войска были двинуты в важнейшие угольные районы еще до начала всеобщей забастовки, но дальше дело не пошло. По городу ходили слухи об отказе войск стрелять в рабочих, но есть все основания полагать, что эти слухи были неверными,

так как правительство решилось бы на вооруженное выступление только в случае самой крайней необходимости, хотя оно было не прочь оказать войсками «моральное воздействие».

.....

«Моральное воздействие» было оказано, но с несколько другими последствиями, нежели те, которых добивалось правительство. Иллюзии, которые были у английских рабочих до стачки, рассеяны, заученные фразы о «честной игре» забыты. И если провал всеобщей стачки и повлечет за собою некоторую деморализацию в среде английского рабочего класса, то наряду с этой деморализацией не может не последовать укрепление подлинно-революционных настроений. Трудно, конечно, думать, чтобы все вековые традиции были сметены, но «спорту» стачечников нанесен жестокий удар, и в этом смысле стачка 1926 года должна стать поворотным пунктом в истории английского рабочего движения.

Локаут в угольной промышленности продолжается, когда я заканчиваю эту краткую сводку впечатлений за время стачки в Лондоне. Невольно возникает вопрос, можно ли считать, что всеобщая стачка, как яркий эпизод в промышленной истории Англии, кончилась и может рассматриваться отдельно от других событий. Этот вопрос приходится пока оставить без ответа, так как события, о которых мы говорим, еще не закончились.

Лондон, май 1926 г.

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ

Л. Сейфуллина. — «Встреча». Собр. соч., т. IV. Госиздат. 1926 г. 215 стр. Ц. 1 р.

Большие полотна не удаются Сейфуллиной. Не удался ей и роман «Путники», так и оставшийся незаконченным, не удалась и «Встреча». История Виктора Кандырина, крестьянского сына, издерганного и озлобленного дореволюционным бесправием, рассчитавшимся со старым миром убийством и дезертирством, и под чужим паспортом доктора Гребнева ушедшего с головой в революционную работу в рядах коммунистической партии, чтобы в конце концов пасть жертвой своего самозванства и ловкой клеветы партийной авантюристки — вся эта история производит какое-то фальшивое впечатление. Автору не удается убедить читателя в правдивости своего повествования, а без иллюзии правды — нет искусства.

Виктор Кандырин, он же доктор Гребнев, не производит впечатления живого лица. Все, что происходит с героем повести, могло быть, может быть даже и было в действительности. Но автор не сумел показать, как все это было, не сумел раскрыть закономерности и необходимости происходящего. Все, что в искусстве не воспринимается, как необходимое, всегда кажется сомнительной действительностью, потому что все действительное необходимо и только необходимое действительно.

Необходимость и закономерность жизненного пути Виктора Кандырина не раскрыты в повести Сейфуллиной. Чрезвычайно показательно, что все

поворотные моменты этого жизненного пути автор обходит глубоким молчанием. В глубокой тени остаются важнейшие отрезки этого пути между деревней и городом, между городом и окопами, между окопами и здравотделом. Кандырин в деревне совсем не то, что Кандырин в доме Лучининых; но как «сын Балакаря» стал чем-то вроде наперсника барина Лучинина — остается неясным. Не более ясно бытие Кандырина после изгнания его из Лучининского дома. Процесса превращения дезертира Кандырина в доктора Гребнева мы не видим, и должны верить на слово автору, что такое превращение было. Вообще весь образ героя плохо мотивирован и даже внутренне противоречив. У Лучининых он рисуется «самородком», «развитым», «много читал» и очень недурно владеет речью. А в роли доктора Гребнева, еще больше развившись, стал почему-то косноязычен и беспомощен в выражении своих мыслей. Вокруг плохо оформленного героя расположились второстепенные лица, совсем лишённые плоти и крови. Исключение представляют лишь две первые главы, где рисуется мальчик Виктошка Кандырин в деревенской обстановке. Отец Виктошки Фрол Балакарь и его односельцы, весь деревенский быт нарисованы кистью умелого мастера. Эти страницы читаются с тем же интересом, с каким читаются все рассказы и повести Сейфуллиной из быта деревни. Ради этих художественно исполненных частей можно не без интереса прочитать в целом неудачную «Встречу» Сейфуллиной.

В. Переврзев.

Артем Веселый.—«Страна родная». Роман. Изд-во «Новая Москва». 1926 г. Стр. 198. Ц. 1 р. 40 к. 5.000 экз.

Конечно, определить эту книгу подзаголовком «роман» было поэтической вольностью. Может быть, поэтому автор на следующей странице внес поправку, обозначив свою пеструю и красочную повесть словом «фрагменты». Получился «роман в фрагментах», где главное и единственное действующее лицо «страна родная». Широкая тема является основной, сюжет едва сдерживает эту тему, только придает ей самые необходимые очертания. Вот-вот он готов «умырнуть» и разлиться в дикой песне, где останутся только пляшущие вприсядку слова.

Гражданская война, партизаны, комиссары и советские барышни, деревня, восставшие мужики, дремучие леса, голод, изобилие и прежде всего — деревня, деревня, деревня. В целом «страна родная» прочувствована глубоко лирически, со звериной любовью. В этой стране чудеса на каждом шагу. Вот мужицкий пир: «На столе блинов кошна. Щербы блюдо с лоханку. Рыбы куча — без порток — не перепрыгнешь. Пирожки по лаптю. Курники по решете. Ватрушки по колесу. Пшенички, лашенники в масле тонут. Сметаной и медом залейся. Пар в потолок». В теории словесности или, как нынче говорят, в поэтике такой стилистический прием называется гиперболой. Но Артему, конечно, наплевать на то, как учитель словесности раз'яснит его «приемы» скучающим ученикам. Немышленно писал, видел собственными глазами — ведь это о современниках Ильи Муромца! Честное слово, остались такими же, и у каждого палицы «по девяносто пуд». Не беда, что рядом «уже было вывезено по двадцати пяти вместо шестнадцати пудов с тридцатки; там давно люди ели дубовую кору, скотины оставалось по голове на двенадцать дворов, да и та от бескормицы подвешивалась на веревки и дохла». Здесь ничему не удивляйтесь — нелепицы и безобразия на каждом шагу: «Сегодня открытие народного театра. Спектакль в пользу русских военно-

пленных. Небывалая программа: 1. В погоне за свободой. Трагедия в 2-х действиях. Соч. тов. Ефима Гречихина. 2. Восточные танцы. Исполнит любимица публики т. Л. М. Дарьялова-Заволжская. 3. Фокусы и акробатика с разбиванием кирпичей о свою голову, гражданин Вакуленко-Стодольский».

Тут же через страницу: «Из лохмотьев выпирали голые куски тела, култышки, разбитая обувь. Страшно глянули черные лица и вялые обмороженные уши. Павел, когда говорил, как-то не замечал их. Литературу растащили на раскурку, на подтопку костров, на подвертыванье на ноги — у немцев выучились. За вокзалом Павел перегнал обоз ломовиков; широкие сани были в накат полны трупами тифозных и мороженных солдат». А вот — читаете и не страшно. На следующей странице будет уже совсем другое — веселое или забавное, какая-то местная нелепость, к которой все привычны и без которой немыслима Россия. Что это такое — чорт его знает! Правдоподобно до последней степени, умопомрачительно и немыслимо, а на самом деле — так и было. Орда, хоровод, скифы, новый небывалый мир, восставшие мужики, атаман коих произносит такую речь: «В Саратове восстанье! На лодке вода и под лодкой вода! Из Москвы нам везут тридцать тысяч винтовок! Смерть коммунистам! Да здравствуют большевики и весь простой народ! Ура-а-а!»

Орудовал в ней, в «Стране родной», по Артему, озорник Васька Буслаев, и в конце концов повесть об его дивных делах вышла не страшная, — молодая, здоровая, веселая. Как и в какой степени она «верно отражает действительность» — разговор ничемный и бесполезный. Какая уж там «действительность», ежели «ватрушки по колесу». Наврал, нафантазировал, перемешал с точными наблюдениями (умеет сказать о них сухо и точно) — вышла правда, потому что в корне огромное звериное чутье, связь кровная с народом, его дичью, плодотворной, как нераспаханная целина. Да, бывали и ужасы, ужасов много, но Артем легко о них забывает, заставляет забыть и читателей.

Оставив истину историкам, а ужасы — психопатам, он, что называется, «погулял» по России, пьяный ветром, дичью, полями; хотите — верьте, хотите — нет. Правда, тема стихийной России давно уже всем надоела. Надоела она надоела, а все-таки осталась, и Артем с этой темой справился лучше других. Ну, можно ли требовать от такой книги уставной композиции или правильно «развертывающегося сюжета»? Люди тонут на каждой странице, намечается какая-то как-будто длительная биография, тут же она забьга, орет и беснуется толпа, опять биография, опять толпа. Какая-то связь между тем налицо и при этом крепкая, нерастрепанная. События чередуются умело, по силе впечатления и по контрасту. А что нет биографической связи, — пожалуй, это даже и правильно. Попробуй он заострить свою повесть на сюжетной биографии — все сразу бы провалилось, потому что психология не его дело и вышла бы скучной. Герои стали бы героями, начали рассуждать, управлять событиями, и «страна родная» сразу бы потускнела среди книжных, вычитанных фраз. Такая опасность кое-где чуть-чуть проглядывает, но спасает юмор и любовь к бестолковщине. Спасают еще и богатые словесные средства. Синтаксис весь построен на короткой, стремительной фразе, на избрательных свойствах богатейшего русского глагола: «с севера из рукавов лесных дорог с п а л и с ь обозы со штабами, ранеными. С далеких уральских гор за д и р а л а сиверка. О с т р о п е л жгучий, как крапива, ветер. Х м у р ь т у ш и л а день, с а д и л о с ь солнце на корень». «С л е с н ы х болот за д у м ч и в о б р е л и кисельные туманы. М ы ч а л гудок в депо, о т к л и к а л с я жиденский и дребезжащий с лесопилки, дружно п о д х в а т ы в а л и мельничные и мощным ревом в с п у г и в а л и дрему утра». В тех случаях, когда глагол сам по себе недостаточно изобразителен, к нему удачно найден эпитет, сразу сообщающий нужный оттенок (наприм., «остро пел»). Умелое пользование глаголом — одно из самых лучших стилистических достоинств у Ар-

тема.—«Лоб в лоб с тюрьмой. Бельма заколоченных фанерой окон. Оба этажа в набой. По скамейкам, по асфальтовому полу, в коридорах, по бельевым ящикам, всюду лапти, чапаны, пестрядина». Самое опасное во всем этом была возможность утратить правильное соотношение народного языка и традиционно-литературного (большое место современной русской прозы). За немногими исключениями Артем справился и с этой трудной задачей.

К. Локс.

А. Караваева. — «Медвежатное». Изд. «Земля и Фабрика». М.—Л. 1926. Стр. 84. 60 коп.

В «Медвежатном» со стороны содержания нас ничто не поражает. Все то, что служит темой этой повести, давно знакомо по ряду других литературных произведений: деревенская глушь, самогон, произвол властей и, наконец, светлый образ одинокого парня, б. красноармейца на темном (и, можно сказать, литературно-традиционном) фоне отсталой деревни. Повесть напоминает произведения т. н. «селькоровского» жанра, хотя Сергей и не селькор. Но социально он играет роль последнего (заступничество за бедняков при дележе делянок, агитация против бога и пр.), и, кроме того, разделяет судьбу селькоров—погибает от кулаков.

Вот как Сергей формулирует цель своего приезда в родную зауральскую деревню: «Сиволлапы, Медвежатное—далища, глушь... а надо в ногу, как в песне. И Медвежатное и Москва—вместе, рядышком. Я в ногу попривык ходить—буду медвежатников подучивать» (15). Его травят, отбивают у него невесту, соблазняют самогоном и Марькой—деревенской Клеопатрой. Парня опутывают сетями, он бьется. Гольгѣба деревенская верит в его заступничество, но не помогает. Только девка Глафира после убийства Сергея мстит кулакам—поджигает их добро.

Конечно, такой способ борьбы еще более оттеняет мрачную окраску повести. Чеховские «Мужики» по своему колориту очень близки к ней. Едва ли это входило в замысел Караваевой, но что же поделаешь?

Написана повесть недурно. Автор хорошо владеет сложным искусством развития фабулы и очень удачно разбивает композицию на ряд маленьких главок. Язык крепкий, но тяжеловатый, требует от читателя максимального внимания. Заметно у автора излишнее стремление разукрасить стиль, наприм.: «Затаенным воем томится круглая в мелкой дрожи спина» (73)... Самое характерное в книге — какая-то грубость красок, мягкие тона почти отсутствуют. Исключения редки: «Напоминала Наталья землю, где так редок чернозем, где все улыбається неярко, уголком рта, чуть-чуть» (35). Да и персонажи недостаточно выпуклы, особенно Сергей. А ведь на нем все держится... Например, безволие его в отношениях с невестой трудно объяснить.

Все же повесть обещающая — для автора: А. Караваева может сделаться незаурядной писательницей с очень своеобразной физиономией — в ней много черт «мужского» таланта. Кроме того: автор *хорошо* знает изображаемую обстановку и свободно дышит воздухом зауральских деревень... Это качество присуще далеко не всем «деревенским» писателям, вошедшим в последние годы в литературу.

Н. Замошкин.

Яков Коробов. — «Катя Долга». Хроника современной деревни. Изд. «Прибой». Ленинград 1926 г. Стр. 152. Ц. 1 р.

Автор называет свою книгу «хроникой современной деревни». Такой подзаголовок содержит в себе двойкий смысл. Поскольку книга названа хроникой, — ей предопределяется своеобразная, присущая хронике, композиция, украшенная и насыщенная материалом. Поскольку же книга названа хроникой современной деревни — она претендует на изображение подлинного лица сегодняшнего мужика и той обстановки, которая влияет на это лицо, делая его именно сегодняшним, не похожим на вчерашнее и на завтрашнее. Ни то, ни другое к рецензируемой книге не имеет отношения: по своему построению «Катя Долга» легче всего определяется как повесть, а содержа-

ние ее настолько схематично, невыразительно и бедно оригинальным материалом, что судить по нему о современной деревне нельзя.

Возможно, конечно, и иное понимание подзаголовка. Возможно, что Яков Коробов, называя свою повесть хроникой, попросту хотел снять с себя известную долю ответственности за художественное состояние повести, как бы вынося ее за пределы художественной литературы, в тесном смысле этого слова. Но и тут следует сказать, что и хроника обязывает. Достаточно припомнить тоже хронике и тоже деревенскую Ив. Вольнова, чтобы почувствовать, к каким достижениям может прийти здесь настоящий писатель-художник.

Читая «Катю Долгу», убеждаешься, что Коробова художником не назовешь. Он на редкость беден изобразительными средствами. Ни красок, ни звуков, ни запахов нет на его скучных страницах. Нет пейзажа, даже плохенького, нет человеческой внешности, которая приближает книжных героев к читателю и делает их реальными, — но это еще полбеда: нет и показанного действия. Сильных моментов своей фабулы, ее наиболее выразительных мест Коробов явно пугается. Даже центральная в фабуле сцена убийства местными кулаками комсомольца-активиста, к которой автор долго и утомительно готовит читателя, не описана, — о ней только упоминается. Так же выглядят и самые ответственные места, рисующие перемены в характерах героев или аттестующие их со стороны, непредвиденной по предыдущему повествованию. Вяло, расплывчато и неубедительно «описываются» они в двух-трех строках. Вот как, например, говорится о выступлении Кати Долгой на первом майском собрании перед женщинами, до сих пор относившимися к ней недоверчиво, насмешливо, чуть ли не с ненавистью:

«Не помнит Катя, как доклад читала, не помнит, как домой вернулась: уж после рассказывали, что, когда она говорила, многие плакали (!), и бабы тут же (!) начали президиум просить открыть бабью организацию».

Это все... Доказательно, не правда ли? И объясняется это именно беспомощностью автора перед задачей убедить читателя не мимоходным, голословным упоминанием (чем никого не удивишь), а реальным показом. Коробов бездоказателен в такой степени, что не стоит даже и возражать против его несомненного намерения в образе Кати создать «вторую Виринею» — новую женщину, новой, советской деревни.

Коробов не только не создает новых человеческих образов, но и старыми не умеет пользоваться. [Почти все его персонажи живут не как люди, а как имена. Состряпаны они по давно знакомому и нетрудному рецепту тенденциозной фармакопеи. Если коммунист хорош, то уж хорош на все 100%, если плох — то уж отъявленный негодяй и вскоре оказывается, что его «сами большевики к стенке приставили». Вся молодежь, участвующая в повести, революционна, самоотверженна, валом валит в комсомол. Мужики однотипно-пассивны, враждебны к начинающей молодежи. Беззастенчивый графарет царствует во всем. Особенно же шаблонны — мельник, поп и женотделка Анна Васильевна.

Сама жизнь Коробовской деревни неправдоподобна. Нет спора, что Коробов знает деревню. Но он не художник и он не способен отобразить из своих знаний типичное, нужное для изображения развития деревни во всей сложности ее классового расслоения. Описывает Коробов, конечно, и хорошие и плохие явления. Но этот мнимый «объективизм» никуда не годен. Плохое или очень поспешно сглаживается (к стенке приставили, арестовали, выгнали из партии) или преподносится таким образом, что выглядит неоправданным. А хорошее идилично-слащаво, сусально и слишком легко достигается героями повести, чтобы можно было ему поверить.

В Коробовской хронике можно найти внешнюю обстановку современности, но в ней нет настоящей деревни. Есть — в конечном счете — идиллия. И те попытки быть объективным, о которых сказано выше, вовсе погублены кон-

цом — мело-драматическим и столь сладенько-жалостным, что противно его читать. Когда Коробов описывает похороны убитого комсомольца и говорит, что после речи пионера о смене — «На всем кладбище народ как на волнах заколыхался, бабы навзрыд плакать начали, мужики мозолистыми кулаками глаза трут, а музыка Интернационал заиграла», — это звучит фальшиво и совсем не похоже на ту действительную жизнь, которую мы понимаем хотя бы из газетных отчетов о сельхозпроцессах. Помимо верхоглядства, здесь много неуважения к трудному и сложному пути, по которому идет общественность современной деревни, — современной безо всяких коробовских ковычек.

Борис Губер.

Борис Лавренев. — «Крушение республики Итль». Роман. Госиздат. М.—Л. 1926 г. 224 стр.

Эпиграф из Анатоля Франса: «Почередно он защищал и сражался со всеми нациями Европы и три раза спас свое отечество... но последний бросок костей не был для героя удачным» предопределяет содержание романа и подсказывает его стиль. Лорд Чарльз Орпингтон послан великой морской державой Наутилией в республику Итль, представляющую собою осколок некогда могущественной империи Ассора, завладеть ее нефтяными богатствами. В распоряжении генерала денежные суммы для раздачи взяток, мощный флот, десантная пехота и острый клинок дипломатической хитрости. Всеми этими средствами мистер Чарльз зажимает в кулак маленькую республику, и вот-вот он у цели... Но неожиданно нагрянули красные войска Ассора, народ перешел на их сторону, и огорченный генерал должен отплыть домой, не выполнив возложенной на него миссии. Сквозь легкую ткань символики наименований нетрудно разглядеть реальные формы современности: Россию, Англию и бакинскую нефть. Прием этот — быть одновременно и одетым и раздетым — понадобился автору, очевидно, для того, чтобы свободнее рас-

полагать историческим материалом и показать *типические* черты эпохи в период интервенции и всякого рода политико-финансовых авантюр на юге России. Хорош целый ряд частностей. Надменный лорд, лицемерным доброжелательством к республике Итль прикрывающий хищные замыслы Наутилии, президент республики Аткин, больше лакей империализма, чем социал-демократ, легкомысленная добровольческая армия, состоящая из одних офицеров, и жалкий парламент, избирающий в короли дегенерата царской фамилии, принца Максимилиана,—все это убедительно сделано и запоминается. Занимательны отдельные эпизоды. Красочны некоторые зарисовки ландшафта. В целом же роман неудачен. Дело в том, что учиться у Франса похвально, а подражать ему бесполезно. Лавренев же занимается тем и другим, и отсюда печальные последствия. Нельзя автору отказать в умении иронически строить фразу, но даром иронического сюжетостроения он в полной мере не владеет. Вместо философического холодка мэтра в трактовке темы у Лавренева эстетская манерность дэнди. Там, где Франс пленяет *беседным* стилем, Лавренев утомляет многословием. Основной же недостаток романа в том, что он чрезмерно растянут, что вторая его половина как-будто наспех и небрежно написана. Там возникает ряд недоразумений. Без всяких мотивировок выброшены, как балласт, из сюжетного плана фигуры баронета Осборна и дочери президента Лолы, игравших в первой половине романа довольно заметную роль; непонятно, почему сделались вдруг такими яркими поклонниками красного Ассора проходимцы Атанас и Коста, больше похожие на Пата и Паташона, чем на революционных деятелей; по оперному абсурдно превращение *английской* танцовщицы в соучастницу революционного переворота в республике Итль. Подменен почему-то во второй половине романа лорд Орпингтон вместо умного, властного и коварного врага Ассора мы видим жалкого и смешного старика из убогой провинциальной труппы с отставшим на лбу париком. Попытка *идеоло-*

гической концовки Борису Лавреневу совершенно не удалась. Буффонада вышла из берегов, намеченных автором, и затопила не только белогвардейскую колонию республики Итль, но и представителей Ассора, которых автор бережно поставил на пригорке.

Федор Жму.

Джозеф Конрад.—Собрание сочинений. т. 5. «Лорд Джим». Роман. Перевод с английского В. А. Кривцовой. «Земля и Фабрика». Москва — Ленинград 1926 г. Стр. 576. Ц.

Недавно скончавшемуся американскому писателю Джозефу Конраду у нас в последнее время повезло. Несколько лет тому назад изд-во «Всемирной литературы» предприняло собрание его сочинений. Теперь перед нами, если не ошибаемся, второе собрание его романов в русском переводе. «Лорд Джим» — произведение, написанное лет двадцать пять назад, очень большое по своему объему и несомненно интересное по приемам письма. Это не роман (в смысле выбора темы и ее разработки), а повесть об особом типе моряка, встречающемся, по уверению автора, в обстановке восточных рейдов. Литературно этот образ сильно напоминает героев-скитальцев у Гамсуна. Центральное место повести — описание катастрофы, постигшей паломническое судно «Патна». Рассказана эта история весьма затейливо, со вставками, затягивающими темп изложения, с одновременным развертыванием различных ее эпизодов и внезапным перемещением временной проекции. С точки зрения литературной техники многое в этом романе сделано превосходно. Эпизод за эпизодом, как вереница призраков, сменяют друг друга, быстро перенося нас из одной экзотической страны в другую (роман развертывается на побережья Тихого океана). Во всем этом много выдумки, но нет настоящей спайки. Контуры «романа» неясны и туманны. Читатель несетя по воле авторского воображения, как парусное судно по волнам. Поэтому передать в кратких чертах капризное содержание романа — невозможно. Социальный фон интерес-

нейших колониальных областей, затрагиваемых в изложении, не обрисован никак. Все внимание Д. Конрада сосредоточено на тончайших психологических сплетениях, но для современного читателя они скучны. Он привык к иной, более реальной литературной пище и едва ли он увлечется утонченной чувствительностью лорда Джима. Перевод В. А. Кривцовой в общем хорош.

Евг. Браудо.

Леон Верт.—«Клавель солдат». Роман. Пер. с французск. под ред. Е. Левина. «З. и Ф.». М.—Л. 1926. Стр. 240. Тир. 4.000. Цена 1 р. 30 к.

Написанная как дневник, лишенная сюжетного стержня и почти лишенная персонажей (постоянных, а не эпизодических),— книга Л. Верта имеет в художественной литературе о войне 1914 г. своих предшественников— и прежде всего—«В огне» Барбюса («Дневник взвода»). При показе войны Верт прибегает к той же испытанной, безосновочно действующей на читателя, манере, от которой не свободны лучшие батальные произведения, писанные после Стендаля и Л. Толстого: подчеркивается не парадное, а будничное в войне. Это будничное придвигается вплотную, показывается в упор,— через детали, которые подаются *первым планом*, выпирают,— и должны, в общем, создать впечатление от войны, как от тяжелой, томительной работы, как от бесцельного, нелепого, жестокого «маскарада, созданного ложью». Вещь Верта, построенная на голом приеме показа через мелочи, состоящая из отрывков, в которых зафиксированы отдельные моменты жизни фронта и тыла и которые свя-

заны пропитывающим их духом протеста,— производит впечатление подлинного дневника и может быть поставлена в ряд с наиболее правдивыми книгами об империалистской войне.

Нужно только прибавить, что пафос, которым заряжена книга,— не революционный, а пафос пацифизма. Каковы бы ни были убеждения автора,—должных выводов он не делает; протест центрального персонажа— Андрэ Клавеля— протест только против войны— недостаточно глубок.

Клавель— чиновник, средний интеллигент, которого друзья называют «идеалистическим социалистом»,— человек, неспособный к решительным действиям. Он— противник войны; но после приказа о мобилизации— пацифизм его оказывается платоническим: повиноваться проще, чем сопротивляться. На фронте он вновь убеждается в том, что весь механизм войны держится только на лжи, что солдаты— «чернорабочие обеих сторон»— ближе друг к другу, чем к своим командирам; но никакого выхода он не видит. «Жалкое время, когда истинно храбрым людям, имеющим смелость отрицать войну в ее целом, остается только бессмысленная смерть или бегство». Повинуясь своему темпераменту резонера, Клавель заранее не расположен верить в возможность революции; он возмущается, тоскует и... «исполняет долг».

О том, что перевод недостаточно проработан, свидетельствует следующее: «движения его напоминают кошку» (54 стр.); «она под'едает остатки мяса» (96 стр.); «отрицать войну в ее целом», «снаряд ударился ночью в сарай» (124 стр.).

А. Фрид.

Н О В Ы Й М И Р

под редакцией А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, В. П. ПОЛОНСКОГО и И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА.

СОДЕРЖАНИЕ ВЫШЕДШИХ КНИГ:

Я Н В А Р Ь

С. ЕСЕНИН—Черный человек (поэма). Вс. ИВАНОВ—Яицкие притчи (расск.). С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ—Море (из ром. «Преображенье»). Н. АСЕЕВ—Курские края (стих). С. КЛЫЧКОВ—Чертухинский Балакирь (отрывки из романа). Вл. МАЯКОВСКИЙ—100% (стихотв.). А. СОВОЛЬ—Мемуары веснушчатого человека (рассказ). В. НАСЕДКИН—Три стихотворения. П. ОРЕШИН—Стихотворение. В. ДАНИЛОВ—Художественный образ в языке Ленина. В. ВЕРЕСАЕВ—Воспоминания о Короленко и Анненском. Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ—М. Е. Салтыков-Щедрин. А. АРОСЕВ—Памятники революционного Парижа. Г. ЛЕЛЕВИЧ—Поэт мужицкой стихии (С. Клычков). Вяч. ПОЛОНСКИЙ—Памяти Есенина. В чужих краях. П. ШУБИН—Чего добилась и чего не добилась буржуазия в Локарно. Земля советская. Р. АКУЛЬШИН—«Калитура» и культура (из деревенского блокнота). Н. СМИРНОВ—Заметки о журналах. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: В. Красильникова, Г. Якубовского, Ф. Жиг, Я. Фрида, С. Паентрейгера, Ю. Данилина.

Ф Е В Р А Л Ь

С. ЕСЕНИН—Четыре стихотворения. М. ПРИШВИН—Юность Аллатова (роман). Бор. ПАСТЕРНАК—Потемкин (из поэмы 1905 г.). С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ—Жестокость (повесть). Ник. ЗАРУДИН—Два стихотворения. Дм. СТОНОВ—Хрущев (рассказ). В. НАСЕДКИН—Стихотворение. Мих. ГЕРАСИМОВ—Стихотворение. Паант. РОМАНОВ—Огоньки (рассказ). В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ—Стихотворение. В. ШИШКОВ—Комар (рассказ). М. ГОЛОДНЫЙ—Два стихотворения. Из неизданной переписки Л. Н. ТОЛСТОГО (10 писем к Н. Н. Страхову). С. ГОРОДЕЦКИЙ—Воспоминание о Есенине. А. ЛЕЖНЕВ—О современной критике. Ник. СМИРНОВ—Заметки о современных писателях (М. Пришвин). В чужих краях. Вл. МАЯКОВСКИЙ—Нью-Йорк. Земля советская. Д. ФИВИХ—Черное и красное. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Л. Войтоловского, Д. Горбова, Дм. Фурманова, Г. Якубовского, Н. Асеева, Е. Браудо.

М А Р Т

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ—Жестокость (повесть). Ник. АСЕЕВ—Декабристам (три стихотворения). Вл. МАЯКОВСКИЙ—Порядочный гражданин (стихи). Мих. ПРИШВИН—Юность Аллатова (роман). Петр ОРЕШИН—Три стихотворения. Вл. БАХМЕТЬЕВ—Железная трава (рассказ). И. ДОРОНИН—В степи (стих). С. КЛЫЧКОВ—Чертухинский Балакирь (роман). В. ИНБЕР—Сыну, которого нет (стих.). И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ—Два рассказа. А. ЯСНЫЙ—Стихотворение. Мих. ГЕРАСИМОВ—Песенка (стихотв.). Дм. СЕМЕНОВСКИЙ—Два стихотворения. Ал. БЕЛОЗЕРОВ—Из молодых лет Максима Горького (по новым материалам). В. НЕЧАЕВА—Из литературы о Достоевском (повесть в Даровое). Ник. СМИРНОВ—Памяти Ларисы Рейснер. А. ЛУНАЧАРСКИЙ—«Искусство в опасности». Юр. СОВОЛЕВ—Театральная жизнь Москвы. Б. ГУБЕР—Два романа. А. ЯКОВЛЕВ—Деревня. А. СТАРЧАКОВ—Ленин в песнях советск. Востока. Вл. ВЛАДИМИРСКИЙ—Город Та-Чен (в Западном Китае). ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Л. Войтоловского, Ф. Жиг, К. Локав, Г. Борезко, Е. Браудо, Н. Писанова, В. Гольцева, Б. Козмина, С. Борисова.

Продолжение см. на 4-й стр. обложки.

Н О В Ы Й М И Р

под редакцией А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, В. П. ПОЛОНСКОГО и И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА.

СОДЕРЖАНИЕ ВЫШЕДШИХ КНИГ:

А П Р Е Л ь

А. ТОЛСТОЙ—Московские ночи (рассказ). С. ЕСЕНИН—Стихотворение. Л. СЕЙФУЛЛИНА—Кани-каба (повесть). А. БЕЗЫМБЕНСКИЙ—Картошка (стихотв.). М. ПРИШВИН—Юность Алпатова (роман). Ник. ЗАРУДИН—Вальдшнепы (стихотв.). В. ЭРКИН—Мейран (стихотв.). Пант. РОМАНОВ—Первая любовь (рассказ). С. КЛЫЧКОВ—Чертухинский Балакирь (роман). П. ДРУЖИНИН—Стихи о стихах. Н. ДЕМЕНТЬЕВ—Два стихотворения. Ал. БЕЛОЗЕРОВ—Из молодых лет Максима Горького (по новым материалам). А. СМИРНОВ-КУТАЧЕСКИЙ—Страдальная частушка советской деревни. Вяч. ПОЛОНСКИЙ—Памяти Фурманова. Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ—Новые вещи Горького. Я. ТУГЕНДХОЛЬД—Дела художественные. Е. БРАУДО—Художественная проблема радио. С. ВУГОСЛАВСКИЙ—Музыкальная жизнь Москвы. А. ЛИТВИНОВА—Два английских писателя. А. ЯКОВЛЕВ—Деревенские очерки. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Бор. Губера, Ф. Жиц, А. Барковой, Г. Якубовского, Ю. Данилина, И. Сергиевского, Ю. Соболева, Н. Ашукина, И. Брагинского.

М А Й

Алекс. СЫТИН.—Стада Аллаха (рассказ). Петр ОРЕШИН.—Три стихотворения. В. ВЕРЕСАЕВ.—Три (Из отроческих воспоминаний). Дм. СЕМЕНОВСКИЙ.—Два стихотворения. Мих. ПРИШВИН.—Юность Алпатова (роман). Ал. МАКАРОВ.—Счастливая земля (рассказ). Мих. ЮРИН.—В горах (стихотворение). М. ТЕРЕНТЬЕВА.—Тайга (стихотворение). Анна БАРКОВА.—Табачная плантация (стихотворение). Серг. КЛЫЧКОВ.—Чертухинский Балакирь (роман). Вл. МАЯКОВСКИЙ.—Сергею Есенину (стихотворение). А. ЛУНАЧАРСКИЙ.—«Игра любви и смерти» (новая пьеса Ромен Ролана). Три письма И. С. ТУРГЕНЕВА к А. П. ЕФРЕМОВУ (с предисловием С. Орловского). Н. ЗАМОШКИН.—Литературные проселки. Б. РЕЙХ.—Современные немецкие драматурги. Я. ТУГЕНДХОЛЬД.—Наша скульптура. Ник. СМИРНОВ.—О «Шеревале». Р. АКУЛЬШИН.—Разговоры. П. ШУВИН.—Пасхальный стол II Интернационала. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Л. Войтоловского, Бор. Губера, Н. Замошкина, Виктора Яверина, И. Сергиевского, Арк. Глаголева, Ю. Соболева, Ю. Данилина, Н. Эйшишкиной.

И Ю Н ь

Н. НИКАНДРОВ.—Ночь (повесть). И. ВАСИЛЬЧЕНКОВ.—Стихотворение. Г. САННИКОВ.—Два стихотворения. Л. СЕЙФУЛЛИНА—Кани-каба (повесть). Мих. ГОЛОДНЫЙ.—Два стихотворения. Антон ПРИШЕЛЕЦ.—Утро (стихотв.). Сергей БУДАНЦЕВ.—Сын (расск.). Петр ШАМОВ.—Отгу (стихотв.). П. РАДИМОВ.—Журавли (стихотв.). Сергей КЛЫЧКОВ.—Чертухинский Балакирь (роман). Вл. МАЯКОВСКИЙ.—Вогомольное (стихотворение). А. Н. ВОЗНЕСЕНСКИЙ.—Поиски объекта. Из архива ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА (с предисловием Н. Ашукина). П. К. КОЗЛОВ.—Монголо-Тибетская научная экспедиция. Ник. СМИРНОВ.—На том берегу. Н. ЗАМОШКИН.—По альманахам и сборникам. Б. АНИБАЛ.—Около Есенина. Р. КУЛЛЭ.—О современной немецкой литературе. Я. ТУГЕНДХОЛЬД.—О современной живописи. С. ВЕТЛУГИН.—Казачья Лопань. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Бор. Губера, Анны Барковой, Ф. Жица, К. Локса, Н. Эйшишкиной, П. Маркова, В. Брагина, Арк. Глаголева.